

8

EX ORIENTE LUX



ISSN 2010-930X



5-6 2008

ЛИТЕРАТУРА ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИЯ КРИТИКА
ПУБЛИЦИСТИКА АРХИВЫ

ЗВЕЗДА ВОСТОКА



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1932 года

**№ 5-6
2008**



Республика Узбекистан
Ташкент

А. Навоий nomidagi
O'z R D kutubxonasi
Milliy bibliografiya bo'limi

Главный редактор
АЛЕКСЕЙ УСТИМЕНКО

Редакционная коллегия
АБДУЛЛА АЗАМОВ
АБДУЛЛА АРИПОВ
СУХБАТ АФЛАТУНИ
ХУРШИД ДОСТМУХАММАД
ТУЛЕПБЕРГЕН КАИПБЕРГЕНОВ
ИРОДА РАХИМОВА
РАЙХАТ САДЫКОВ
ЗОЯ ТУМАНОВА
ФАРХАД ХАМРАЕВ
МУХАББАТ ШАРАФУТДИНОВА

Общественный совет журнала
АЛЕКСАНДР ФАЙНБЕРГ
(председатель)
БАХОДЫР АХМЕДОВ
БОБУР АЛИМОВ
СВЕТЛАНА ГЕРАСИМОВА
НИКОЛАЙ ИЛЬИН
БАХТИЕР КУБЕЕВ
НАСРЕТДИН МУХАММАДИЕВ
КУВОНДИК САНАКУЛОВ
КУДРАТ ЭРНАЗАРОВ

Дизайн, верстка, оригинал-макет
АЛЕКСАНДРА АНОСОВА
АННА ЛАДИНА

На обложке
Самарканд. Фотография АННЫ ЛАДИНОЙ

Учредители
СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ УЗБЕКИСТАНА
АК «МАТБУОТ ТАРКАТУВЧИ»

Выпуск журнала осуществлен при финансовом обеспечении
Общественного фонда по поддержке ННО
и других институтов гражданского общества
при Олий Мажлисе Республики Узбекистан

с о д е р ж а н и е

публицистика

- Алишер ФАЙЗ.
Дух и скрытые коды восточного Ташкента (Очерк) 4

поэзия

- Елена ПАГИЕВА.
Над пустынею, гладкой, как шит (Стихи) 10
- ДАВРОНА.
Мне много не надо... (Стихи) 39
- Вика ОСАДЧЕНКО.
Слова собирать – мое ремесло (Стихи) 40
- Владимир БАГРАМОВ.
Тень от лампы на пороге... (Стихи) 142

проза

- Баходыр АХМЕДОВ.
Утренние заметки (Эссе) 13
- Ариадна ВАСИЛЬЕВА.
Возвращение в эмиграцию (Роман. Окончание) 99

духовное наследие востока

- Ахмад ДОНИШ.
Редкостные события (Рассказы в назидание) 45

литературные беседы

- Маниах – уроженец Самарканда
(Писатель Дмитрий КОСЫРЕВ в беседе
с журналистом Татьяной КОРОТКОВОЙ) 74

архивы и воспоминания

- Анна-Карлотта ДЕФЛАЕР, герцогиня ди-КАЙЯНЕЛЛО.
Душа из пламени и дум
(Софья Ковалевская. Что я пережила с ней,
и что она рассказывала мне о себе) 77

караван истории

- Владимир ШУМКОВ.
«Via est vita»
(Жизнь, труды и странствия Николая КАРАЗИНА,
писателя, художника, путешественника) 146

публицистика

Алишер ФАЙЗ

Дух и скрытые коды восточного Ташкента¹

Город, как живой организм, имеет свой ритм, жизненные циклы, время активности и отдыха. У него есть дыхание, энергетика, сознание, идентичность, облик, нравы, способы празднования или поминовения каких-то событий и реагирования на чрезвычайные происшествия. Словом, каждый город имеет свое тело, свою личность и свой дух. Порой тело вполне западное, а дух – восточный. Именно к таким относится мой город – Ташкент, отмечающий в этом году свое 2200-летие...

Хотя в этом трехмиллионном городе и есть довольно много мечетей и других памятников исламской архитектуры, а также восточных базаров, подавляющее большинство его зданий имеет характерные для западных городов очертания. Это прежде всего относится к офисным и жилым зданиям. Тем не менее, Ташкент – абсолютно восточный город. Не так давно он даже получил международное признание как город исламской культуры.

Что же делает Ташкент восточным?

Люди, конечно. Не индивиды, а социум.

Индивиды по отдельности могут быть совершенно разными, представлять разнообразные культурные, религиозные, идеоло-

гические и иные начала, но все они вместе приобретают определенное интегральное качество – общую культуру.

Ташкент традиционно является многонациональным городом, и люди, которые приезжают сюда, нередко обращают внимание на большое антропологическое разнообразие лиц жителей этого города. Но каждое сообщество людей, в том числе ташкентское, имеет свою специфическую культуру, отличную от культуры других сообществ. Мы можем говорить о некой общей культуре, Gestalt, качестве жителей одной улицы, одного поселка, одного района, одного города, одной страны, одного региона, одного континента и, наверное, одной планеты. Общая культура местности и ее жителей имеет свои как открытые, так и скрытые коды. Последние трудно эксплицировать не только извне, но и изнутри. Целое, как известно, не сводится к сумме своих элементов.

Однажды я ехал на такси и заметил, что таксист не остановился на знак руками человека, стоящего на автобусной остановке.

– А может, он по пути и стоило забрать его? – спросил я у таксиста.

– Нет, он из другого района, думаю с Чиланзара, – уверенно заметил тот, хотя лишь

Об авторе. Алишер Амануллаевич Файзуллаев. Доктор политических и кандидат психологических наук. Директор лаборатории переговоров и профессор кафедры практической дипломатии Университета мировой экономики и дипломатии. Чрезвычайный и Полномочный посол. Писатель. Живет в Ташкенте.

¹ 29-30 мая 2008 г. в южнокорейском городе Похонг состоялся Форум азиатских писателей, на котором приняли участие 70 писателей из 20 стран мира. На форум был приглашен и ташкентский писатель А.Файз. В основу данного очерка лег текст выступления А.Файза на этом форуме.



Материал публикуется в рамках грантового проекта Общественного фонда поддержки и развития независимых печатных средств массовой информации и информационных агентств Узбекистана.

мельком посмотрел на голосующего.

Я удивился и заинтересовался, как же он это определил? Тем более, как мне показалось, человек на улице был одет примерно так же, как и я, т.е. внешне ничем не отличался от меня.

— Ну, видите ли, и это трудно объяснить, но я двадцать лет за рулем и научился разбираться в пассажирах, — ответил таксист.

Каким-то образом таксист увидел в том потенциальном пассажире проявление какой-то особой культуры определенной местности, культуры, отличной от характерной культуры места моего проживания. Правда, он сам не мог рассказать, в чем же это отличие, но, по его твердому мнению, человек на автобусной остановке и я жили в разных частях города.

Я тогда подумал, что окажись мы вместе с тем чиланзарцем где-нибудь в другом городе на какой-то вечеринке, нас, наверное, многое объединяло бы и тем самым отличало бы от иных остальных.

Вспоминается другой случай... Как-то я зашел в один из букинистических магазинов Ташкента со своим другом из Москвы, русским по национальности. Продавщица, заговорив с нами, сразу заметила, что он не местный, а приехал, скорее всего, из России.

Я спросил у нее, как же она догадалась об этом, ведь в Ташкенте тоже много русских.

— Не знаю, но ваш друг отличается от наших ташкентских русских, — развела руками продавщица.

Конечно, люди, проживающие в разных местах, могут отличаться друг от друга формой или стилем одежды, языком или диалектом, цветом кожи или волос, ростом, телосложением, повадками, кухней, характером занятий, развлечений или другими этническими, социальными, политическими, экономическими и культурными признаками.

Но город накладывает и определенный отпечаток на психологию людей, на их личность и идентичность, создавая паттерны поведения, общую культуру, как некий единый дух.

Каждый город имеет свое Psyche, и люди, проживающие в нем, так или иначе приобщаются к нему.

Это Psyche или Spirit становится частью социальной идентичности городского жителя, влияет на его облик и поведение. Дух города проникает и сквозь призмы разных религиозных, этнических, социальных и профессиональных групп.

Вернувшись из других мест в Ташкент, я сразу ощущаю особый дух своего города.

Его трудно описать словами, его можно лишь почувствовать.

Полагаю, что подобное чувство испытывает каждый индивид, возвращающийся в свой родной город после поездок в другие страны и города. Да что говорить о странах и городах! Можно лишь немного выехать за пределы своего города и тут же почувствовать изменение духа местности, хотя физическое окружение может особо и не меняться.

Люди с давних времен обращали внимание на особую ауру различных местностей. Не зря во всем мире есть места, которые считаются святыми. Бывают места и опасные или проклятые. Говоря о духе лесов, гор, морей, рек, пустынь и других местностей, можно иметь в виду определенный религиозный или мистический смысл. Для меня дух моего города представляет собой прежде всего культурный феномен. Это очень сложное и многослойное явление, оно имеет свои нюансы применительно к разным его частям.

Да, каждый город обладает своими психологическими зонами, где люди чувствуют себя по-разному. Эти зоны создаются определенным сочетанием физических и социо-культурных факторов, и для разных лиц они могут не совпадать, а то и быть прямо противоположными. Особое чувство связывает человека с улицей или районом его рождения: где бы ни жил он впоследствии, его всегда будет тянуть туда. Бывают и случаи, когда человек испытывает резко негативные чувства к местности, где он появился на свет и вырос.

Но это скорее исключение, которое вызывается чрезвычайными обстоятельствами.

Есть, конечно, много общего между всеми без исключения городами. На то они и города, урбанистические образования. Свои особые проблемы имеют мегаполисы, крупные, средние и малые города. Существуют ли сейчас большие города, которые не озабочены проблемами, связанными с урбанизацией, неконтролируемым притоком сельского населения и порой иностранных мигрантов, загрязнением окружающей среды, транспортом, безопасностью, соседством богатства и бедности? Нет, конечно. Вместе с тем культура, дух города по-своему влияют на то, как он относится к своим проблемам и справляется с ними. Ведь город — это не только место обитания и живой организм, все тело которого остро реа-

гирует, скажем, на автомобильную пробку на какой-то его улице, как реагировал бы человеческий организм на закупоривание определенного кровеносного сосуда в теле индивида.

Дух города, будучи культурным феноменом, не существует сам по себе, он тесно связан с архитектурой, дорогами, парками, коммунальной системой и другими материальными и социальными аспектами городского быта.

Дух города не сводится к функционированию его тела. Город — это и история, нарратив, определенный миф, который мы создаем и несем в себе. Истории, анекдоты, мифы, легенды являются существенной частью его живой атмосферы, духа. Даже правдивые истории, став частью фольклора и обыденного сознания, приобретают мифологические элементы или очертания. Тем самым мифология превращается в часть городской реальности.

Мифологическую функцию несут и городские памятники, старинные и новые архитектурные сооружения, фотографические образы, исторические события, слухи, названия улиц, песни и стихи о городе, фестивали и другие культурные мероприятия, спортивные состязания, рекламные щиты, местные блюда, традиции, обряды, церемонии, метафоры, слоганы, уменьшительные имена, официальный логотип и многое другое. Чем эффективнее образ, создаваемый подобными вещами и явлениями, тем более сильным получается миф, поскольку могущественные образы вполне могут существовать сами по себе, без той реальности, которая их породила. Несомненно, Париж и Эйфелева башня неразделимы, но сейчас, рискну сказать, Париж больше нуждается в Эйфелевой башне, чем это знаменитое сооружение — в столице Франции.

Такие знаменитые национальные кухни, как китайская, японская, корейская, греческая, тайская, индийская, турецкая, французская, итальянская и т.п. давно превратились в элементы мифотворчества многих городов мира. Человек, попав в афганский ресторан в Лондоне, может неожиданным образом расширить свои познания не только об афганской культуре, но и о самой столице Великобритании. Подобное познание во многом может оказаться придуманным, мифологизированным.

Город является постоянным объектом мифотворчества, в этом процессе в той или иной степени участвуют все его жители, а также посетители. Некоторые городские мифы создаются или поддерживаются со-

знательно, потому что они несут очарование и нравятся людям, особенно туристам, другие возникают стихийно и не поддаются контролю. Особое место в формировании мифологии городов занимают писатели и другие деятели культуры. Мифы, создаваемые писателями и поэтами, могут внести такую же лепту в городскую среду и идентичность, как формируемый архитекторами облик зданий.

Мировая литература богата городскими мифами и мифопоэтическими образами, созданными вокруг реальных или вымышленных городов. После того, как город и литература открыли друг друга, они стали неразлучны. Литература оказала настолько большое влияние на восприятие многих известных городов, что их облик сейчас трудно представить вне литературного контекста или авторского описания. Где правда и где ложь в Атлантиде Платона, Древнем Риме Апулея, Багдаде, Дамаске и Каире Сказок 1001 ночи, Париже Бальзака, Гюго или Золя, Лондоне Диккенса, Буэнос-Айресе Борхеса?

Можно ли представить Копенгаген без Ганса Христиана Андерсена?

Мифический древнерусский город Китеж, город Джефферсон Уильяма Фолкнера, Изумрудный город Лаймена Баума, Город грехов Френка Миллера, Цветочный город Николая Носова и другие вымышленные города — разве они не превратились в реалии общественного сознания? Разве тема порока Содомы и Гоморры не стала одной из главных в современной литературе?

Перечисляя упомянутые реальные и вымышленные города, я подумал о том, что современные азиатские писатели еще в долгу перед своими городами. По крайней мере, я затрудняюсь назвать какие-либо известные города в Азии, имена которых невозможно было бы оторвать от имени какого-то автора или произведения. Конечно, все это связано и с проблемами перевода, распространения и официального признания произведений многих талантливых, но пока малоизвестных или безвестных азиатских писателей, часть из которых пишет на относительно нераспространенных в мире языках.

Мифы и реальность одинаково сильно оказывают влияние друг на друга, участвуют в создании друг друга. В тридцатые годы прошлого века, когда в стране был голод, многие люди старались приехать в Ташкент, который прославился как «город хлебный». Конечно, в Ташкенте ситуация была не намного лучше, чем в других частях страны,

но многие люди, уверовав в «город хлебный», действительно находили здесь спасение, ибо вера и установки обладают могущественной силой.

Сейчас многие города мира активно занимаются своим брендингом и ребрендингом, поскольку это необходимо для создания позитивного имиджа, привлечения туристов и инвестиций. Считается, что в брендинге стран и городов истории и мифы имеют более важное значение, чем создание лишь зрительных образов. Миф – один из самых привлекательных элементов современного города, город без мифов не может быть интересным местом. Мифы, нарративы, могут выполнять и политическую функцию: они бывают разными, даже противоположными у тех, кто претендует на один и тот же город, считают его своим.

В современную мифологию Ташкента вносят свой вклад не только его нынешние жители, но и выехавшие за границу после распада Советского Союза писатели и представители других творческих профессий.

За последнее время появились несколько романов, посвященных Ташкенту.

Очевидно, что попытка понимания и описания родного города – это попытка понимания и описания самого себя, своей идентичности, социума, который создал вокруг писателя определенную культурную среду. Как правило, подобная попытка содержит в себе элементы романтики, ибо обращение к своей молодости, даже если она была нелегкой, очищает дух и романтизирует прошлое.

Пытаюсь понять Ташкент и его, как мне кажется, восточный дух, я прихожу к выводу, что его культурная аура, Psyche и Spirit складывались веками. Думаю, это справедливо и по отношению ко многим другим городам. Я уже говорил, что скоро будет отмечаться 2200-летие моего родного города, и, думая о Ташкенте, чувствую жизненные и культурные импульсы своих далеких предков, всех тех, кто раньше здесь жил.

Здесь проходил Великий Шелковый путь, это был важнейший пункт пересечения культур, взаимообогащения народов Востока и Запада. Наши предки веками общались с торговцами, путешественниками и странствующими учеными, поэтами и мыслителями из различных стран, выработали в себе предприимчивость, разговаривали на нескольких языках.

Под влиянием исламской культуры в социальной жизни особое значение приобрело искусство учтивого общения и поведения – *tuomala* и *odob*.

Появились многие тонкие коды общения, для овладения которыми требовалось соответствующее воспитание, обучение и среда.

Выработанные веками мировоззрение и социальные навыки стали важной частью культуры и современного поколения.

Очевидно, не все элементы культуры могут быть заметны с первого взгляда, многие из них присутствуют на подсознательном уровне и люди не всегда могут легко заметить их. Культура народов, также как и дух городов, создается не сразу и не исчезает сразу. Но современная жизнь вносит много нового в городскую культуру, социальное поведение жителей городов.

Большой шумный город своеобразно действует не только на поведение людей, но на поведение животных и даже автомобилей. Ученые выяснили, что в городских условиях животные вырабатывают ранее невиданные формы социального поведения, которое впоследствии передается по наследству генетическим путем. Мне кажется, что в городе даже автомобили вступают в скрытые социальные интеракции, опираясь на престиж своего бренда. Этому способствует и свойственные для восточной культуры иерархичность социальных отношений.

Современный город, несомненно, развивает и культуру анонимности, чувство одиночества в толпе.

Но на Востоке, в том числе в городах, люди все еще в значительной степени остаются ориентированными на социальные и межличностные отношения, порой даже в ущерб своим деловым возможностям. Именно крепкие социальные связи тянут многих людей, выехавших на работу за границу, обратно в родные края.

В Ташкенте довольно часто можно видеть непосредственное общение и улыбку людей на улице, а на базарах тут принято торговаться.

Разговорись вы с продавцом по душам, так тот может и неимоверно снизить цену на свой товар.

Своеобразие социо-культурного облика Ташкента складывается из большого количества деталей, многие из которых относятся именно к особенностям взаимодействия и общения людей.

Здесь, например, в общественном транспорте молодые продолжают добровольно уступать место старшим, человек на улице, как правило, здоровается с незнакомцем, прежде чем попросит подсказать, как пройти куда-то.

Несмотря на возрастающий темп жизни,

многим горожанам удается заниматься неторопливыми беседами за чашкой чая даже и на улице. Тут люди сразу не приступают к деловым разговорам, а начинают беседу издали, например, с подробного расспроса о семье, делах, здоровье собеседника. Это своего рода психологическое прощупывание состояния партнера по общению, его готовности начать серьезный разговор.

Словом, восточный стиль кодирования и декодирования сигналов в общении.

По случаю семейных торжеств или памяти умерших в Ташкенте принято организовывать угощение близких и друзей национальным блюдом — osh, или пловом, как его еще называют.

В большинстве случаев на утренний osh приходит несколько сот человек.

Что заставляет этих людей вставать ранним утром, еще до работы, едва ли не сразу после рассвета, и идти на это мероприятие? Не еда, как может показаться неискушенному наблюдателю, а социальные отношения.

Утренний плов — это целая система кодированных взаимодействий, оценки, утверждения или закрепления социальных связей. Здесь имеет значение все: кто приходит и кто встречает, кто с кем приходит и кого как встречают, кого куда сажают и кому какие знаки внимания оказывают. Целый театр символической интеракции.

Ташкент, особенно его старая часть, поддерживает тесные социальные отношения между людьми не в последнюю очередь благодаря общинной организации мест компактного проживания людей — mahalla.

Плотная социализация, выстраивание тесных отношений с соседями и жителями общины начинается с раннего детства.

Одно из главных отличий Ташкента от многих западных городов заключается в том, что на его улицах можно видеть много детей. Совместные игры и общение на улице, летнее купание мальчишек в городских прудах или речушках — знакомые многим атрибуты ташкентского детства.

Частая интеракция детей способствует выработке своеобразного кода общения, понятного в своем кругу и мало понятного чужим людям.

Вместе с тем и урбанизация, являясь одной из реальностей нашей жизни, вносит свои коррективы в городскую культуру и дух, социальные отношения между горожанами. Очевидно, что урбанизация содержит в себе и позитивные, и негативные аспекты.

Увы, многие негативные стороны урбанизации особо ощутимы в развивающемся

мире, в том числе в странах Азии. К сожалению, эта тенденция будет лишь нарастать. Новые современные вызовы, такие, как изменение климата, ограниченность энергетических и водных ресурсов, резкое повышение цен на продовольствие, распространение наркотиков и некоторых болезней, рост экстремизма, а также бедность и неустойчивое развитие во многих странах усиливают негативный эффект урбанизации.

Следует отметить, что мир в целом становится чрезвычайно сложным, будущее характеризуется все большей неопределенностью.

В этих условиях важно ценить то хорошее, что пока сохраняется в общественном сознании многих восточных народов, прежде всего значимость семьи, чувство взаимной поддержки людей, учет интересов общества. Эти ценности и культурные факторы, хотя и менее заметны, чем это было раньше, будут немаловажными в решении будущих проблем цивилизации, связанных с вызовами и угрозами урбанизации.

Принято считать, что для Востока характерен коллективизм, а для Запада — индивидуализм. С точки зрения доминирования в общественном сознании групповых или индивидуальных ценностей это вполне соответствует действительности. Но ошибочно считать, что на Востоке вовсе нет или мало индивидуализма. Дело в том, что восточный индивидуализм проявляется в своеобразной, нередко скрытой форме, так же, как и западный коллективизм представлен в менее приметном виде. Подобные неявные формы коллективизма и индивидуализма люди предпочитают открыто не демонстрировать, или проявлять в той мере, в какой это может сочетаться с доминирующими общественными установками.

Во многих азиатских странах, например, открыто провозглашается примат интересов общества, и люди в своем социальном поведении стараются не выделяться от окружения, быть лояльными к группам, к которым принадлежат, не выпячивать свои личные особенности и интересы. Вместе с тем на Востоке много ярких индивидов, люди ставят личные цели и достигают их, а молодежь, особенно городская, любит одеваться разнобразно, проявлять индивидуальность в прическе, стиле жизни.

Внешние формы восточного индивидуализма часто проявляются в деталях одежды и украшений. Одежда женщины может в целом мало отличаться от одежды других женщин, но отдельные детали ее наря-

да, особенно украшения, могут сигнализировать о ее статусе, возможностях и индивидуальном вкусе. Женщины тут любят одеваться в яркие цвета, что в большей мере способствует, а не препятствует раскрытию их индивидуальности. В одежде городских женщин сейчас реже можно видеть национальные узоры, но они еще весьма распространены.

Город вообще оказывает огромное влияние на образ мышления и поведения людей. Городская жизнь заставляет людей быть более конкурентоспособными во всем: в учебе, социальной жизни, профессиональной деятельности. Человек, не продемонстрировав индивидуальные способности и умения, рискует оказаться на обочине жизни. Порой человек даже не может попасть в переполненный общественный транспорт, если не проявит силу и настойчивость и не опередит других. Надо обладать личной эффективностью и для того, чтобы устроить ребенка в хорошую школу, продвигаться по служебной лестнице и даже найти стоянку для своей машины. Все это заставляет людей быть большими индивидуалистами.

Индивидуализм человека проявляется и в использовании предметов престижа: дорогих часов, статусных автомобилей, эксклюзивных ручек и т.п. Сейчас многие азиатские страны обладают уже большим и динамично растущим рынком товаров роскоши, а новое поколение состоятельных людей или азиатов среднего класса пытается более открыто проявить свой индивидуализм посредством обладания дорогостоящими штучными вещами.

Но Восток, как известно, дело тонкое, и восточный индивидуализм все же проявля-

ется в целом не так открыто, как западный.

А поэзия тут традиционно богата символикой, иносказаниями.

Житель восточного города не перестает демонстрировать свою приверженность к коллективным ценностям, добиваясь при этом и своих личных целей, проявляя индивидуализм. Поэтому его слова и действия нередко кажутся многозначными, а многозначность позволяет окружающим людям интерпретировать информацию по-своему, в соответствии со своими ожиданиями.

Культура большинства народов Азии, дух Востока содержат в себе очень многие скрытые коды. Чтобы писать об азиатском городе, в том числе и о моем Ташкенте, требуется повышенное знание контекстуальных факторов. Здесь нередко молчание, взгляд, интонация голоса или легкий жест руками говорят больше, чем слова, межличностная информация чрезвычайно нюансирована. Те, кто говорит об отсутствии индивидуализма на Востоке, просто не замечают многого. Это обстоятельство парадоксальным образом открывает перед писателем большие возможности для описания личности и характера своих героев, проживающих в восточном городе.

В Ташкенте, как и во многих азиатских городах, смешалось все: восточная поэзия и западная музыка, монголоидные лица и европейская одежда, нации и религии, культуры и стили, коллективизм и индивидуализм.

Но это не хаотическая смесь, а определенная целостность, которая имеет свое общее качество, цельный дух, обладающий своими скрытыми кодами, сотканными тонкими, но могучими нитями социальных отношений.

ПОЭЗИЯ

Елена ПАГИЕВА

**Над пустынею,
гладкой, как шит**

САМАРКАНД-ДАРБАЗА

Проезжаю ворота «Самарканд-Дарбаза»...
И послышалось, кто-то ниоткуда сказал
«Оживая ночами, мимо взгляда людей
Здесь клубится начало караванных путей».

Я давно это знаю, но сумела забыть.
След пески замечает и оборвана нить.
Только длинною тенью время тянет с собой
В ноги жребий мне стелет, тот, что соткан судьбой.

Память давит на плечи, дышит в спину мою,
Здравым смыслом перечит и всему, что люблю.
Бредят дело и слово в давний час суеты
Оглушающим рёвом многоликой толпы.

Час ушедшего люда необузданных дней
И печальных верблюдов, верных жвачке своей...
За рукав меня держит ветер жизни не наш,
Как пророчащий дервиш, как орущий торгаш.

Мне хватает сегодня и тревог, и забот.
Ни к чему мне зевота древних, павших ворот.
Час вперед – час назад, время знает предел...
«Дарбаза-Самарканд» – новострой, новодел.

Но крутым поворотом, закрывая глаза,
Я въезжаю в ворота «Самарканд-Дарбаза»...

САКСАУЛА

Как призрак,
без тени,
свидетель пустыни,
как странник последний,
забытый своими,
в песках раскалённых к воде не приучен,
прозрачная крона и ствол перекручен,
и ломкие сучья – безлистные ветви –
порывом
летучим
мотает
по ветру.
Незримо – покорные черпают долю
глубинные корни,
привычные к соли.
От едкой воды, от палящего света
твердеют стволы цвета белого пепла.
Но лишь вдруг под сильным пустыни дыханьем
шипеньем змеиным потянет барханы
песчаной жары,
иссушающей разум,
к домам Бухары или к стенам Хоразма, –
встают на пути векового разгула,
как воинский щит – деревца саксаула,
встречая собой
вихри пыли и грязи,
надежной грядой
окружая
оазис.
Сквозь радуги взлёт,
не заметив угрозы,
беспечно цветёт им спасенная роза...
.....
Всё стихло до срока...
И птица уснула
в совсем невысоких
ветвях
саксаула,
хоть близко, хоть рядом,
познавшая вечность,
пустыня
кроваво
глядит
в бесконечность.

СТРЕЛА МАССАГЕТА (Песня стрелы)

Когда небо над нами качало
и покой, и рассвет, и весну –
как змея, затаившая жало,
я молчала в колчане, в плену.
Когда вестники, пеший и конный,
отголоски грядущей беды
приносили на траурных копьях, –
всё ждала я свободы от тьмы.
И от долгих предчувствий недобрых
заострялась я, словно игла...
Дочь песков, одряхлевшая кобра,
мне шептала пророчества зла.
Когда жизни у неба просили,
преклоняясь у святого огня, –
тетиву натянувшая сила
на врага направляла меня.
И оставивших страх и бежавших
опрокинув в кровавый песок, –
я, шутя, отворяла всем настежь
мир, который не минул никто.
И нанизав убитых прозванья
на себя ожерельем обид,
я им пела судьбу на прощанье
над пустынею, гладкой, как шит.



проза

Баходыр АХМЕДОВ¹

Утренние заметки

МЫШЬ В СЕБЕ

Собственно говоря, все началось с того, что пустое пространство моей квартиры обрело нерв и ожило. Этим нервом стала обычная серая мышка. Она поселилась в неведомых глубинах встроенного шкафа лоджии и выходила по ночам на прогулку, очевидно, в целях освоения новых пространств. К этому ее ночным вылазкам я относился с пониманием: скучно сидеть целыми днями в тесном шкафу, и жажда новых впечатлений, а может, обычный голод, заставляли мою мышку преодолевать страх и пускаться в рискованное путешествие. Правда, в первые дни ночной шорох будил меня, заставляя вздрагивать в испуге, но очень скоро я привык к нему и впустил его в мозаику своих сновидений, как один из звуков, которыми сопровождаются причудливые картинки снов, плавно перетекая от восторга к ужасу и обратно.

Через несколько дней после появления моей Мауси я понял, что мне попалась на редкость сообразительная и хитрая мышка.

Ради приличия, чтобы она не думала, что я совсем уж ее игнорирую, я поставил пару мышеловок, начинив их отборными кусочками рокфора. Хотя, признаться, в глубине души я не хотел, чтобы она в них попалась. Ведь тогда мне пришлось бы отпустить ее на волю, а это уже было бы слишком похоже на издевательство, унижительное, согласитесь, даже для мыши. И поэтому, когда нетронутый сыр в мышеловках засох, а я понял, что моя новая гостья имеет неплохой жизненный опыт в вопросах получения бесплатного сыра, я с плохо скрываемой радостью убрал бесполезные приборы до лучших, или точнее, до худших времен.

Через два месяца мы вполне подружились и я начал потихоньку подкармливать Мауси, а она благосклонно принимала мои скромные дары и с завидной методичностью съедала кусочки сыра и колбасы, а иногда даже остатки моего ужина, которыми я наполнял маленькую картонную тарелочку.

Интересно отметить, что за эти два месяца я видел ее всего один раз – мышка явно старалась обрести статус виртуальной подруги, предпочитая звуковую коммуникацию визуальной. Увидел же я ее совершенно случайно, когда вернулся с работы

¹ Об авторе. Баходыр Ахмедов. Родился в Ташкенте в 1967 году. Поэт. Прозаик. Окончил физический факультет и аспирантуру Московского Государственного университета. Кандидат физико-математических наук. Долгое время работал в Великобритании. Публиковал циклы стихов в альманахах «Малый Шеаковский путь», «ARK» № 3 (2007, Ташкент), журналах «Звезда Востока» № 4 2007 («А мы приносим ей чай на подносе...»), «Восток Свыше» № XIV («Галактики встретились в небе ночном...») и других изданиях Республики Узбекистан и России. Лауреат Международной литературной премии имени Александра Пушкина (Англия. 2007). Живет в Ташкенте.

раньше времени и, – уж не знаю, как у меня это получилось, – открыл бесшумно входную дверь. Моя умница настолько была увлечена обследованием стопки книг, лежащих на полу, что в сумерках осеннего вечера даже не заметила моего появления в комнате. Положив передние лапки на пыльный том «Теории поля», мышка жадно обнюхивала старое издание. Когда я включил свет, она на мгновение застыла, словно ее застали на месте преступления, и мне даже показалось, что она внимательно на меня смотрит, словно проверяя мою реакцию. Но через секунду, видимо решив не искушать судьбу, она метнулась к шкафу и скрылась в его темных недрах.

В самом начале, когда я еще не успел привыкнуть к присутствию постороннего живого существа в моей квартире, у меня мелькнула мысль о кошке, но я от нее почти сразу отказался. Отказался из соображений скорее философского характера, поскольку старался, слегка подправив принцип Оккама, не умножать банальности без крайней на то необходимости. А что есть кошка как не воплощенные банальность и самодовольство? К тому же сам факт приобретения одного живого существа исключительно ради цели съедения им другого живого существа показался мне не просто абсурдным, но почти даже кошунственным по отношению к тому хрупкому равновесию, которое только-только начало восстанавливаться в моих сложных отношениях с миром, который не просто меня окружал, но все плотнее сжимал вокруг меня свое стальное кольцо. Помню, что в тот вечер я записал в своей тетради:

«В этом мире за многие века существования человека накоплено столько жестокости, что от ее тяжести порвались уже все нити кроме, наверное, последней, которая невероятным чудом удерживает его от падения. И мы давно уже висим на волоске. Поэтому никогда не знаешь заранее – не станет ли сделанная тобой жесткость той последней каплей, от которой порвется эта нить и мир ринется в бездну... И эта капля может быть совсем крошечной, а потому, по метафизическим соображениям высшего характера, я отказываюсь приносить кошку для съедения мышки».

Впрочем, чуть позже я перечитал эти строки и понял, насколько нелепа их глупая высокопарность и выпренность. Зато в тот вечер мне показалось, что мышка как-то особенно радостно шуршит в шкафу, словно она прочитала мои записи и празднует свое спасение. Я же долго смотрел на книжные полки, лежа на продавленном диване и выбирая взглядом книгу на ночь, пока, наконец, не почувствовал ясно, что этот вечер мне хочется увенчать Платином.

Все, о чем я рассказал выше, было в самом начале появления мышки в квартире. А спустя три месяца, под самый Новый год, произошло удивительное событие. У меня на стене висела картонная репродукция, которую я приобрел пару лет тому назад в Британском музее: старинная картина неизвестного японского художника с изображением кошки, занятой ритуалом умывания. Наверное, всем, кто видел японскую средневековую живопись, излишне говорить, что кошка казалась почти живой. Приклеенная скотчем репродукция висела у меня над столом, но за неделю до Нового года я ее снял, чтобы повесить что-нибудь другое. На меня иногда находит охота к переменам в квартире, столь же необъяснимая, сколь и непреодолимая.

Открытку с кошкой я положил на старое кресло на балконе до тех пор, пока я не придумаю, куда ее определить.

Каково же было мое удивление, когда на следующее утро я обнаружил, что моя открытка наполовину съедена, причем как раз на ту половину, на которой была нарисована кошка. Края оставшейся половинки были неровными и обгрызенными. Мне не составило особого труда догадаться, что виновником сего варварства была моя мышка, но меня поразило то обстоятельство, что она выгрызла именно фигуру кошки, не тронув все остальное.

«Мышка съела кошку», – невольно мелькнуло в голове, и я усмехнулся.

Остатки открытки пришлось выбросить, а на мышку я не на шутку рассердился и громко объявил, что сегодня она наказана и останется без обеда, не говоря уже об ужине.

Если бы я знал, что это только начало! Вечером, когда я вернулся после работы домой, меня ждал новый сюрприз. У меня большая библиотека и книги уже не помещаются в шкафу. Часть книг лежит на столе, на кресле, а многие и просто на полу. Так вот, включив свет в комнате, я вдруг увидел, что одна из стопок, мирно простоявшая у стенки не один месяц, развалилась, и книги лежат в беспорядке на полу.

«Уж не мстит ли мне моя Мауси?», — подумал я и сам засмеялся абсурдности своего предположения. Но когда я стал складывать книги обратно, мне стало уже не до смеха. Одна из книг была сильно изгрызена. Почти ничего не осталось от корешка, и книжка буквально развалилась у меня в руках.

Это был Гофман, «Житейские воззрения кота Мурра».

И тут у меня зародились нехорошие подозрения. Слишком маловероятно было совпадение. Сначала кошка на картине, затем — книга с кошачьим названием...

Весь вечер я сидел на кухне и прислушивался к шороху в кладовке, дописывая отчет, который мне пришлось взять домой с работы. Мауси вела себя на удивление тихо и ожидаемого мной голодного бунта не случилось.

«Ну, разумеется, — сказал я, — ты наелась вкусной книжки, да еще какой! Но учти, ты еще об этом пожалеешь».

Последние мои слова прозвучали не то с угрозой, не то с сочувствием, а скорее всего в них было и то, и другое.

Отправляясь спать, я решил провести эксперимент. Я вытащил из шкафа сборник сказок Шарля Пьеро и оставил его на полу.

«Ну, посмотрим, как тебе понравится кот в сапогах», — подумал я.

И утром я увидел, что и кот в сапогах был прогрызен насквозь.

«Кажется, эта мышка читала старика Канта, — подумал я, — и решила изничтожить не просто всех кошек, а кошку как идею, кошку как вещь в себе». Конечно, как я и думал, «Кот в сапогах» ушел на «ура» — мышка не оставила даже сапог. Потом стала очередь «Записок о кошачьем городе», — наутро я обнаружил, что от города остались одни руины...

...А когда все книжки с живущими в них кошками, даже те, в которых кошка промелькнула лишь по двум или трем страничкам, были погрызены моей мышкой, я задумался.

И тут мне вдруг пришла в голову замечательная идея. Я сел за стол и, не отрываясь, написал небольшой рассказ о кошке. Особого, сюжета там не было, ведь нужен был не сюжет, а описание кошки. Но оказалось, что даже такой незамысловатый текст написать было не так просто. Я потратил почти два часа на написание трех страничек текста. Потом положил рассказ на пол, заранее радуясь за мышку, и с чувством глубокого удовлетворения пошел спать.

«То-то она удивится, увидев не книгу, а мою рукопись...» — подумал я засыпая.

Каково же было мое разочарование, когда утром я обнаружил, что мой текст лежит абсолютно нетронутым.

«Ну уж это слишком!» — подумал я обиженно.

«Ты что, игнорируешь меня как автора?!» — крикнул я в черные бездны шкафа. Ответа не последовало. И тут меня взяла злость. Я взял рукопись и переписал рассказ от начала до конца. Мне показалось, что он стал чуть-чуть лучше. Впрочем, мышка покажет, усмехнулся я, засыпая.

Но, увы, мои надежды и в этот раз не оправдались — мой строгий критик снова проигнорировал мое творение, хотя я все-таки заметил, что уголок одного листа был отгрызен. Разумеется, я воспринял это как знак. «Кажется, на этот раз теплее», — подумал я и вечером снова засел за капитальную переделку.

Не буду вас утомлять подробностями выяснения моих отношений с мышкой, скажу только, что после восьмого переписывания, когда от первого варианта осталось разве что название и пара первых фраз, критик, наконец-то, благосклонно принял рукопись и погрыз ее со всех сторон, оставив мне только золотую середину. Хоро-

шо, что я догадался писать ее под копирку, и у меня сохранилась копия. Через несколько дней я набрал рассказ у себя на работе на компьютере и разослал его в несколько журналов, не надеясь, впрочем, ни на что, скорее забавы ради...

...Прошло несколько недель, и я уже почти забыл про свой текст, когда вдруг пришел положительный ответ из журнала «Буссоль».

В тот вечер я устроил пир и, конечно, пригласил на него свою маленькую и строгую Мауси. Но она лишь выглянула на минутку из своего укрытия, подмигнула мне весело и снова юркнула в шкаф.

Уходя спать, я оставил для нее на тарелочке целую гору всяческих деликатесов, включая два сорта настоящего швейцарского сыра.

Утром я с удовлетворением отметил, что сыр благодарно поглощен, а вечером засел за новое произведение.

Теперь мне пришлось всерьез попотеть. Рассказ намечался большой и основательный: «...а может, это будет даже повесть», – думал я.

Писал я его частями и оставлял их на полу.

Мышка выполняла свою работу безупречно. Кроме того, она уже не поедала все листы до середины, а лишь отгрызала уголок, если текст казался ей подходящим по качеству, или наоборот оставляла нетронутым, если что-то надо было поменять и улучшить.

Разумеется, уже на пятой странице моего нового рассказа появилась и медленно потянулось красивая персидская кошка... Она бродила по тексту, заглядывая в разные его уголки и вынюхивая особо вкусные словосочетания, но мне почти не мешала и я очень старался сделать так, чтобы она не мешала и читателю. Что меня обрадовало в процессе моей работы, так это то, что мышка оценивала не только те страницы, где была кошка, но и все остальные тоже. Таким образом, я мог не волноваться, и был уверен, что весь текст будет тщательно проверяться. После пятой редакции мышка сделала всего одно замечание, и я отправил рассказ в «Буссоль», который поместил его в одном из ближайших номеров, что вдохновило меня на новые подвиги.

Не стану утомлять читателя подробным изложением того, как я после восьмого рассказа засел за повесть и как скрупулезно выполняла моя мышка свою сложную редакторскую работу. Скажу лишь, что теперь по прошествии пятнадцати лет с того замечательного дня, как у меня поселилась моя мышка, и после того, как книги мои выходят уже вполне приличными тиражами, меня забавляет, что никто из читателей и никто из критиков не заметили в моих текстах их тайной, но главной метки: моей скрытой подписи, что никто так и не обратил внимания на то, что во всех книгах, в каждом рассказе и в каждой повести, живут кошки, хотя по сути, это всего лишь одна кошка, которая перевоплощается, обретая разные облики и породы. Она кочует из одного текста в другой, появляясь иногда лишь на нескольких страницах, а иногда проходя хозяйской походкой от первой страницы до последней.

И хотя давно уже нет моей славной мышки, и я давно сменил квартиру, я продолжаю основанную нами традицию. В тишине моих текстов всегда звучит мягкое кошачье мурлыканье, и мне пишется легче, и мне кажется, что где-то возле стола притаилась моя мышка и следит за каждым моим движением, за каждой строкой, за каждым словом... И сейчас я уже думаю, что правильнее было бы назвать этот текст не «Мышь в себе», а «Мышь во мне», хотя для меня она так и осталась навсегда таинственной и непостижимой мышью в себе.

ПРИТЧА О ПОРЯДКЕ И БЕСПОРЯДКЕ

Она любила порядок, а он – беспорядок.

В беспорядке он ощущал дыхание жизни, ее изменчивость, ее скрытые порывы и причастность к неведомому. А в холодном и точном порядке его пугал бессмыслен-

ный покой, минимум энтропии и замкнутость пространства на себя. Он ощущал в этом замороженность быта и бытия в целом. Он избегал порядка, как черновика смерти, он создавал беспорядок и погружался в него как в реку жизни, полноводную, бурную и непредсказуемую.

А его жене в беспорядке виделся хаос и разрушение, полное отсутствие направления и ложный пафос вещей, не желающих знать свое место. Она боролась с беспорядком ежедневно и методично, и это было похоже на Сизифов труд, потому что беспорядок воссоздавал себя каждый день, почти без усилий, пользуясь одним лишь присутствием ее мужа. Она упорно раскладывала вещи по местам и эта борьба с безликой сущностью мира утомляла ее, как утомляет нас порой ощущение бессмысленности происходящего, когда мы не в силах его изменить.

Так они и жили, между порядком и беспорядком, каждый день разрушая и возрождая свои миры, каждый день проводя границу между ними, возводя стену, закрывая ворота и защищаясь друг от друга своим усталым одиночеством...

Однажды наступил день, счастливый и несчастливый день, когда они наконец-то разошлись и стали жить отдельно, устав от бесконечной войны порядка и беспорядка.

И в его квартире теперь был идеальный порядок, которого он раньше так боялся и которого так жаждал теперь. А в ее доме беспорядок поселился навсегда, потому что теперь, когда она осталась одна, и необходимость бороться с беспорядком исчезла, порядок потерял для нее всякий смысл.

Он смотрел на порядок, и каждая вещь была намертво приклеена к своему месту острой болью разрыва. А она отрешенно рассматривала хаос в комнате и ей виделась в этом насмешка судьбы, которая обманула их обоих, переставив их местами как кубики в детской игре в слова. Беспорядок полностью растворял в себе ее волю, и чем больше хаоса было вокруг, тем сильнее она ощущала огромную пустоту внутри.

Так порядок и беспорядок поменялись местами и перестали бороться друг с другом. И только часы там и там шли по-прежнему правильно, равнодушные и к порядку, и к беспорядку...

ВИРУС СОМНЕНИЯ

Весь день он просидел у реки забвения, пытаясь услышать звук, пытаясь поймать точное слово на крючок своей непонятной и острой тоски. Слово, которое потянет за собой другие слова, связанные с ним невидимой нитью ассоциации.

Но натянутая леска неподвижно застыла в горячем воздухе и немота становилась все плотнее, все невыносимее и тяжелее... Он смотрел на непроницаемую поверхность воды и думал о том, что, быть может, немота есть не столько наказание, сколько подарок свыше. Как шанс услышать тишину внутри себя и вокруг, как возможность научиться смирению и молчанию. Как тот путь, который приведет к единственному и самому точному звуку, после которого настанет абсолютная музыка. Или как хрупкий мостик, через который так страшно переходить, потому что он ведет к тишине запредельного, качаясь над пропастью абсурда.

Чем была вызвана немота дня? Чем было вызвано это томительное бесплодие и пустота, от которого больно было душе?.. Попыткой забвения? Сомнением? Другой болью, источник которой он не мог определить?.. Он не знал и не пытался понять причину.. Он просто молил о том, чтобы пришел звук, чтобы это бесконечное напряжение ожидания разрешилось, наконец, каким-то результатом, пусть даже самым смешным результатом.. Только бы не это давящее молчание, когда ты не можешь открыть двери тому, что так мучительно просится в тебе на свободу... Что кричит внутри и хочет быть услышанным...

Он вспоминал ее глаза, ее голос, прикосновение ее рук... Но разве это просилось на волю? Нет... Было что-то другое, что-то более тонкое и неуловимое, да...

чему он сам боялся прикоснуться, потому что думал, что прикосновение это может стать разрушительным...

Он знал, что в нем живет вирус сомнения, который постепенно разрушает основу его веры. И он тихо сказал себе: «Мне просто не хватает веры»... И через несколько минут повторил снова: «Да, мне просто не хватает веры». В этот момент леска дернулась, поплавок запрыгал, и он понял, что поймал, наконец, то, что хотел, то, чего ждал весь день...

И тогда он вытащил то слово, которое искал. Серебристой рыбкой оно билось у него в руке, но вместо того, чтобы положить его осторожно на чистый лист бумаги, он тихонько бросил его обратно в реку. И в этот момент он ощутил внутри себя такую свободу, такой простор и свет, и тишину, что поразился тому, что все это возможно, что бывают и такие состояния...

На небе загорелись первые звезды, а он все сидел у реки, смотрел на воду и глядел по спине время, которое, как верная собака, легло возле него.

И когда в тишине прозвучал ее голос, он не удивился, потому что ждал его.

Она присела рядом, и они вместе молчали и смотрели на реку и на небо, которое так бескорыстно дарило им свою любовь, свою тишину и свой легкий и прозрачный сон о вечности.

ПО КОЛЬЦУ

Всегда бредивший точностью, он вдруг ощутил непонятную и острую тоску по неточности и неуловимости. Вечерами он бродил по городу, собирая обрывки своих воспоминаний, и перемешивал их как карты. И тогда в зыбком свете фонарей он начинал видеть тех, с кем был знаком или дружен много лет назад. Их лица, бледные и усталые, казались ему лицами пришельцев, их слова не достигали его потухающего сознания, но их глаза, полные то боли, то радости, тревожили его. Он все понимал по взгляду, протягивал руку, здороваясь с призраками, и хрипловато смеялся.

А потом, в пустом трамвае, старик долго ехал до конечной остановки, которой все не было. Ему было невдомек, что трамвай едет по кольцу, и будет кружиться день и ночь, пока Неточность, которой старик так страстно жаждал, не войдет в вагон и сядет рядом с ним. И тогда он, быть может, поймет, наконец, что на самом деле, подсознательно, он хотел не этого неуверенного прикосновения к прохладной руке Неточности, но только обретения ее облика, чтобы его душа наполнилась ее светом и чистотой перед последним путешествием в область Невыразимого.

Старик ждал, рисуя на окне забытые знаки. Ждал последней остановки, которой все не было. Он то проваливался в сон, то вновь просыпался, так что скоро уже перестал отличать сон от яви. И когда Неточность, которой он так страстно искал, села рядом с ним, старик вспомнил ее настоящее имя, простое и точное. Он засмеялся, потому что вдруг подумал о том, что в мире ее называют совсем по-другому. И когда она улыбнулась ему и прикоснулась к его руке, он вдруг заплакал от острого ощущения счастья.

ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ

Вспоминаю один интересный и, на мой взгляд, весьма символический сон, который приснился мне еще в мой аспирантский период. В то время, собираясь компанией в Москве или в Дубне, мы почти всегда начинали бурно спорить на философские и религиозные темы. И видимо после одной из таких дискуссий я и увидел этот сон.

Мне снится: мы с Ахмедом стоим в пустом коридоре, у окна. Кажется, это была какая-то школа, впрочем место действия особого значения не имеет. Мы спорим с

ним (в который раз) на тему какая религия более «истинная». (Понимаю, что звучит это смешно и нелепо, но спор был именно об этом). Ахмед отстаивал ислам, а я – христианство. Дискуссия наша продолжалась уже довольно долго (по крайней мере, так мне казалось во сне), когда вдруг, во время своего очередного горячего и возбужденного монолога, Ахмед, стоящий напротив меня, вдруг осекся на полуслове и застыл с открытым ртом, с незаконченной фразой на губах. Я смотрю на него с удивлением и вижу, как его глаза медленно наполняются невыразимым, диким ужасом, словно он увидел за моей спиной нечто настолько жуткое и страшное, что бы потрясло и перепугало его до смерти. Лицо его становится белым, а сам он становится неподвижен, как камень. Кажется, этот миг длится бесконечно долго, и этот нечеловеческий ужас, застывший в его глазах, передается и мне. Я знаю, чувствую кожей, что за моей спиной находится некто или нечто страшное и не могу оглянуться, потому что боюсь увидеть это. Мне кажется даже, что я ошущаю на затылке дыхание этого неведомого существа или его прикосновение. Ахмед еле заметным движением головы показывает делает мне знак: посмотри назад. Я все-таки набираю смелости и начинаю медленно оглядываться. И это мое оглядывание длится бесконечно долго, а страх растет с каждой секундой и становится все больше и больше, растет вместе с качающейся бесформенной тенью, которую я вижу перед собой на полу, а я все еще медленно поворачиваю голову и, наконец, в последний миг, когда краем глаза уже начинаю видеть это, я просыпаюсь. Разумеется, в холодном поту.

О МОЛЧАНИИ

Вы спросили меня за обедом, почему я молчу? Когда человек молчит, причины могут быть самыми разными. Но, возможно, важнее не почему человек, а зачем молчит.

Молчание – это разговор, направленный во внутрь, разговор с самим собой, состоящий чаще из вопросов, чем из ответов. Молчание рождается, когда наступает усталость от слов, которые слишком много говорят за нас, но именно за нас, а не от нас.

Слова, живущие без нашего участия, лежат на скользкой поверхности нашего сознания, так что стоит лишь наклонить его в сторону болтовни, и они покатаются как мелкие горошинки, не связанные между собой нитью смысла, бесплодные и пустые. Мы не ценим такие слова и правильно делаем, потому они не стоят ни копейки. Мы забываем их через пять минут после произнесения и они не заслуживают иной участи. Их недаром называют сиюминутными, потому что живут они только в минуту, когда мы бросаем их в гущу общей болтовни ни о чем, где они смешиваются с такими же мелкими горошинками и теряются среди них, так что уже и не понятно, мы ли их произнесли или кто-то другой. И поэтому, и тоже недаром, их еще называют *общими*. Они общие, потому что их может произнести любой человек, потому что у них общий автор – общество.

Но есть другие слова, их немного и лежат они на такой глубине, на которую мы редко отваживаемся нырять. Слишком неудобно это для нас, привыкших жить общим временем и пространством, привыкших принимать и отдавать монетки *общих* слов, стертые иногда до того, что ничего кроме пошлости уже на них и не видно. А те, редкие, но живые слова, лежащие на глубине, они ждут, когда мы созреем, чтобы услышать и увидеть их в себе. Они живут в потаенных уголках нашей души, в лучшей ее части, и терпеливо и немо, как рыбы, ждут, когда мы к ним обратимся, чтобы узнать, наконец, что-то и о себе. Они живут в нашем молчании, в нашем созерцании, в нашей отрешенности, которые так редко к нам приходят.

Но тогда, когда наступает молчание и созерцание, тогда у нас есть шанс услышать эти тихие и немногие слова, которые имеют *реальную ценность* и правдивость.

Поэтому молчание – это *при-слушивание* к себе, поиск себя и попытка уединиться в толпе. Это стремление уйти от общего к частному, от фальшивости к подлинности, от дешевых проходных истин к единственной Истине.

И недаром был (и, наверное, существует и сейчас) в старину у монахов обет безмолвия, как один из путей богопознания и достижения святости. Молчание среди общего гула, как маленький островок частного среди бурного потока общего, как небольшая лодочка с веслами, на которой мы можем попытаться плыть против течения, плыть туда, где мы найдем несколько грустных и радостных слов, где нас ждет наша душа и наша вера...

Молчание – это только начало пути, это только возможность сделать маленький шаг вперед. Но может, главное, начать?

ИЗ ОБЗОРА ВЫСТАВКИ ХУДОЖНИКА С.

«Среди оригинальных и умных картин С. одна показалась мне особенно примечательной, несмотря на ее несколько кошунственное название: «Распятие». На картине изображена семейная ссора. Дело происходит в осеннем парке. Муж и жена идут в противоположные стороны, повернувшись спиной к друг другу, а между ними, в центре полотна стоит ребенок лет пяти. Он раскинул руки, одна рука в сторону отца, другая в сторону мамы. Мальчик смотрит на мать, но сама поза его, растерянное и недоуменное выражение лица говорят о том, что он все время вертит головой то в одну, то в другую сторону и не может решить, за кем бежать. На глазах его слезы, рот полуоткрыт...

Картина достаточна проста по исполнению и использованной технике, но именно эта простота делает ее намного интереснее и глубже других полотен выставки. Впечатление от нее можно сравнить с легким ударом тока, от которого просыпается уснувшая боль и такие воспоминания, о которых, наверное, почти каждый зритель картины хотел бы забыть».

БЕГЛЕЦ

Весь вечер я бродил по шумному центру Лондона. Я проходил сквозь праздничную толпу и, закованный в железную броню своего отчуждения, почти не замечал яркой пестроты лиц, плывущих мне навстречу в переливающихся огнях рекламы. Я подолгу стоял у освещенных витрин магазинов, не видя того, что в них выставлено. Во мне не было в тот момент ни мыслей, ни чувств – одна пустота. Но как ни странно, она совсем не была мне в тягость, скорее я ощущал необычайную легкость, когда все происходящее вокруг кажется нереальным как сон. Я заходил в кофейни и сидел в них подолгу, листая газеты и рассматривая с безразличием других посетителей, которые были погружены в свои разговоры, мысли и заботы.

Снова и снова я думал о том, что роль наблюдателя, спокойного и равнодушного ко всему и ко всем, подходит мне больше всего. Однако в глубине души я знал, что это не так, и что я в очередной раз пытаюсь себя обмануть.

Иногда некоторые женские лица вызвали во мне томительное любопытство и грусть оттого, что я знал, что эта девушка через несколько минут навсегда исчезнет из моей жизни и я никогда ничего о ней не узнаю. Но в то же время я думал, что, возможно, в этом и заключается спасение для моего воображения, которое может работать без всяких преград. Ведь любой реальный факт – это всегда выстрел по воображению, порой смертельный.

В одной из кофеев не было свободных столиков, и я присел рядом с худощавым стариком в плаще, надетом прямо поверх рубашки. Он курил крепкие сигареты и

задумчиво смотрел на улицу. В ответ на мое приветствие старик скользнул по мне усталым и безразличным взглядом и вежливо поздоровался. Перед ним на столе стояла почти пустая чашка кофе и недоеденное печенье. В пепельнице лежали окурки докуренных по половины сигарет.

Довольно долго мы оба молчали, не испытывая никакой неловкости. Каждый думал о своем, и мы не мешали друг другу. Старик заказал еще одну чашку кофе и вдруг сказал, не глядя на меня: «Этот город всегда будет городом вечной осени».

Англичане всегда начинают знакомство с разговора о погоде, даже когда хотят сказать совсем другое. Вот и сейчас я понял, что старик хочет поговорить о жизни, и ответил ему, что, скорее можно было бы назвать этот город городом вечного дождя.

Старик усмехнулся: «Я вижу, что Вы, молодой человек, не чуждаетесь высокой литературы. Что ж, весьма похвально. Я тоже в молодости проводил дни и ночи напролет за книгами. Да и сам был не чужд некоторых опытов в прозе, кое-что даже было опубликовано... Да!».

Старик потушил сигарету, тут же закурил еще одну, закашлялся, и выругался. В какой-то момент мне показалось, что я вижу себя самого в старости.

– Вы были писателем? – спросил я.

– Что-то? Как Вы сказали? Писателем? – старик вдруг рассмеялся и смех его был таким неожиданным и неприятным, что мне стало не по себе.

– Нет, конечно, никогда я писателем не был... Еще чего. Уж мне ли не знать эту братию...

«Может, очередной Сальери? – мелькнуло у меня в голове, – Какой-нибудь неудачник, который всю жизнь завидовал своему более талантливому другу».

– Нет, нет, Вы ошибаетесь, – сердито сказал старик, – никакой зависти к ним у меня нет и быть не может... Вы никогда не угадаете, кто я. Но по секрету, так и быть, я Вам скажу, потому что вижу, что Вам можно доверять, – старик отхлебнул холодный кофе и добавил: – Впрочем, если Вам, конечно, это интересно.

– Мне интересно, – сказал я, внутренне злясь на старика, который явно набивал себе цену.

Старик наклонился ко мне и почти шепотом проговорил:

– Я один из тех, кто сбежал из книги. Я литературный герой! Что Вы на меня так смотрите? Я знаю, Вы, конечно, думаете, что я сумасшедший. Ну что ж, это Ваше право... Только не просите меня сказать, из какой именно книжки – я вам все равно этого не скажу!.. Но мой создатель – гений, его книги продаются везде, да вот хотя в том книжном магазине через дорогу.

«Во всяком случае, – подумал я, – ему нельзя отказать в некоторой оригинальности, ведь этот вид безумия, кажется, встречается довольно редко». А вслух сказал: «Ну что ж, это действительно весьма занимательно. Ну и как Вам живется в нашем мире?»

– В вашем мире?... Вы думаете, я в нем живу?... Посмотрите вокруг и не смешите меня. Разве это живые люди? Ведь это все тени... Тени тех, кто живет в книгах.

– Тогда зачем Вы сбежали из своего романа, если там Вам жилось лучше?..

– Хороший вопрос! – рассмеялся старик, – Я не думаю, что могу на него ответить. Возможно, это был мой бунт против моего создателя. И я оказался низвергнутым в ад реального мира.

– Уж не хотите ли Вы сказать, что там, в книге, был рай?... – иронично спросил я.

– Вы ничего не понимаете, молодой человек. Вы так ничего и не поняли. Вы стоите на примитивном уровне понимая рая и ада.... Рай – это, прежде всего, цельность и вписанность в общий рисунок мироздания. Каждый листочек на дереве, каждый камешек в речке уже находятся в раю. Да что я вам говорю, ведь Вы должны бы знать это без меня, а не знаете.

– Мне знакома эта мысль, – уклончиво сказал я.

– Я не был главным персонажем знаменитого романа, но я был создан и оживлен гением его создателя. И каждое мое слово, каждый мой жест и поступок были на-

полнены той жизненной силой и достоверностью, какие я не нахожу ни одного из живущих в этом мире, который с такой идиотской самоуверенностью называете реальным. Рай – это подлинность, ад – это вторичность и невозможность увидеть себя частью целого. Впрочем, вам этого все равно не понять... Ведь вы не живете, вы просто марионетки...

Старик еще долго рассуждал о книгах, о жизни и смерти, о Боге и писателе, который создал много гениальных книг, но главного так и не понял... Я слушал старика, не перебивая. Но в какой-то момент он внезапно остановился, словно машина, которую отключили от источника тока. Он как-то сразу обмяк и сдулся. В глазах его читался непередаваемый ужас и тоска. Я понял, что он увидел кого-то у меня за спиной и оглянулся. У входа в кофейню стояла представительная пара: мужчина в черной шляпе и женщина в длинном платье до пят. Они были очень странно одеты, словно попали сюда из девятнадцатого века. Мужчина подошел к старику и сердито произнес: «Ты опять сбежал из дома, Гарри?!.. Ну, гляди, в этот раз придется запереть тебя надолго!» Затем он взял старика под руку и поднял его резким рывком. Старик в его руках был похож на тряпичную куклу. Они пошли к выходу. Женщина в лиловом платье отрешенно наблюдала за всей этой безобразной сценой. Через несколько минут все трое растворились в вечерней толпе.

Я был настолько поражен тем, что увидел, что решил еще немного посидеть в кофейне, и пошел за еще одной чашкой кофе. Девушка в очках приняла заказ и улыбнулась мне. Она все видела. Я воспользовался тем, что у стойки было пусто и спросил: «Вы знаете этого старика?»

– Конечно, знаю. Он приходит сюда очень часто...

– Он сказал, что сбежал из книги...

– Да, он всем это говорит. Он действительно сбегает, только не из книги, а из дома. Они держат его взаперти, иногда привязывают как собаку, но он все равно умудряется убежать от них и бродит потом целыми днями по городу...

– Он сумасшедший?

Девушка подала мне мой кофе, грустно посмотрела на меня и пожала плечами, показывая, что не знает ответа на этот вопрос.

Я вернулся за свой столик. На нем лежала забытая пачка сигарет и вырезка газеты «Таймс». Мне в глаза бросился заголовок статьи: «Новый мост через Темзу». Я взял газету и прочитал первую строчку: «Вчера, 10 июня 1868 года в Лондоне был открыт новый мост через Темзу. В церемонии открытия принимали участие...».

Я отложил вырезку и посмотрел вокруг. Кофейня почти опустела, лишь за дальним столиком у окна сидела уже второй час парочка влюбленных. А на улице продолжалось победное шествие толпы в поисках вечного праздника, в поисках вечно-го забытия.

КНИГА

«Здравствуй, дорогая Настасья Федоровна!

Получила я твое письмо и очень рада, что ты пошла на поправку. В наши-то годы такой подарок нечасто случается. Дай Бог, чтоб и дальше дело шло так же хорошо, как сейчас.

У меня же и новостей почти нет, скриплю помаленьку. Нога моя снова болеть начала, хотя вроде бы весеннее обострение уже прошло. Мой внучатый племянник переехал ко мне окончательно – раньше-то он по полнедели у себя в общежитии проводил, а теперь, видно, надоело ему мыкаться по комнатам, вот и осел у меня. В субботу мы с ним ездили на дачу в Опалиху, он мне накопал грядок, а я посадила морковку и топинамбур. Весна в этом году в Подмоскowie выдалась ранняя и теплая, теперь главное, чтоб заморозков не было.

А на прошлой неделе разбудил нас рано утром, часу в седьмом, жуткий собачий вой – у нас ведь собака жила в подъезде. Я проснулась и мне не по себе стало, словно умер кто. К несчастью, так и оказалось. Но расскажу по порядку. В подъезде нашем, в конурке под лестницей, поселился в конце зимы бомж. Да не один, а с собакой. Породу-то не знаю, но похожа на простую дворнягу. Ну мы, то есть жильцы, ясное дело, не очень обрадовались такому соседству. Но Филимонова из двести первой квартира (прямо подо мной живет, я тебе писала про нее, одна с двумя детьми) уговорила нас, сказала, что он безобидный, пусть, мол, поживет пока не потеплеет, а там видно будет. Еще сказала она, что разговаривала с ним и по всему видно, что бывший интеллигент, потому как поразил он ее знанием какого-то художника, уж не помню какого, у меня на имена-то всегда память плохая была, сама знаешь, хоть и работала в прокуратуре. Ну в общем, уговорила она нас и мы на это дело глаза закрыли. Да и новый сосед наш вроде приличным человеком оказался, не дебошир, тихий, спокойный. Ну пил, конечно, так они же все почти пьющие, бомжик-то. А что им еще делать при их жизни такой. Но наш никогда не кричал, матом не ругался почти никогда. Приходил незаметно и спать ложился в своей конуре и не слышно, и не видно его. Мы все привыкли к нему, а некоторые даже подружились с ним, причем довольно скоро. Но вид у него был и впрямь жалкий, даже для бомжа. Весь обросший, лохматый, ходил всегда в какой-то выцветшей телогрейке и в шапочке лыжной, но вот ботинки почему-то всегда хорошо чистил, вот это удивительно было. Хоть и старые они совсем были и даже худые, наверное, но всегда он ухаживал за ними так, как будто в театр собрался или на прием к министру. Как ни странно, мы все в подъезде нашем очень быстро привыкли и к нему, и к собаке его, которая, кстати, как водится, очень на хозяйина была похожа: такая же тихая, спокойная, но осторожная очень, никого к себе не подпускала, ни в какую. Сразу клыки наружу и рычит. Мы ее, конечно, подкармливали, чем могли. Ну и «интеллигента» нашего тоже (кстати, потом уже выяснилось, что он бывший художник), кто чаще, кто реже. Филимонова, так та почти каждый вечер носила ему что-то. Да она вообще как с другой планеты – последнее готова отдать. Не даром соседи ее прозвали «блаженной». Да не только едой кормила, но и книжки ему носила «духовные», ну религиозные то есть. Не хлебом мол единым. Художник-то, правда, не особо книги ее читал, видимо не верил он или просто читать не хотел ничего – уж не знаю.

Разговорчивым он не был, все молчал больше. Но и угрюмым не назвала бы его, скорее смиренный или смирившийся (уж не знаю как точнее) какой-то. Словно он уже ничего не хотел в этой жизни и не ждал ничего. Вот на что я сразу обратила внимание, так это глаза его. Грустные очень. Даже когда он улыбался, что впрочем, редко случалось, глаза у него всегда грустными оставались. Ну знаешь, как в книжках часто пишут про какого-нибудь там Байрона или еще кого, что глаза мол у него никогда не смеялись. Я раньше думала, что такое только в романах и бывает. Но вот оказалось, что не только. Вот и в тот вечер, когда я его позвала к себе, чтоб блинами угостить, у него глаза очень грустные были. Мы в лифте на восьмой этаж поднимались и я спросила, как, мол, поживаешь, Валя, не нашел еще работы постоянной. А он только головой покачал молча, нет мол, не нашел, и улыбнулся чуть ли не виновато, словно я его начальник какой. Я пригласила его в квартиру и пошла на кухню сразу, чтоб блинов ему положить. А он остался в прихожей стоять. Племянник мой из комнаты вышел, поздоровался с ним. Я возвращаюсь и вдруг вижу, что с Валентином что-то произошло. Лицо у него совсем другое стало, совершенно изменилось, словно увидел он что-то небывалое и страшное. И застыл весь, как изваяние, а глазами так и впился в тумбочку. Я ничего не поняла, на тумбочку смотрю – ничего особенного: телефон, блокнотик, книга, ручка. А художник спрашивает: «Простите, Светлана Матвеевна, это ваша книга?» «Да, говорю, хочешь взять почитать?» «А где Вы ее купили?» – снова спрашивает он и по голосу видно, что волнуется страшно. Я удивилась – что за допрос с пристрастием, но ответила ему честно, что – в «Букини-

сте» каком-то, в центре, точно не помню, поскольку давно, мол, это было, где-то. А в чем дело-то, спрашиваю. «Это книга.... Вы не дадите мне ее буквально на одну ночь? Завтра в десять я верну ее, обещаю». «Пожалуйста, но только ее, кажется, сейчас мой племянник читает. Да, Володя?» «Да нет, ничего, у меня сейчас все равно нет времени, так что я могу уступить», – ответил Володя. Я взяла книгу, – это была «Повесть о двух городах» Диккенса, – и протянула ее Вале. «Спасибо Вам огромное» – пробормотал «художник» и почему-то быстро отвернулся и вышел за дверь. Мы с Володей переглянулись, удивленно так, а чуть позже, за ужином, он сказал мне, что определенно видел слезы в глазах Валентина. Да и мне тоже так показалось. Я говорю Володе: наверное, когда-то это был его любимый роман. Володя помолчал, в окно посмотрел и говорит: или любимый роман того, кого он любил...

Ну а утром, около семи, зашли к Валентину дружки его, машину с продуктами они собирались разгружать, зовут его, а он не отзывается. Хотели зайти в каморку, да Чарли его лаем заходит, никого близко не подпускает... Как мне потом Филимонова рассказала, когда книгу заносила, полная тарелка окурков возле него лежала и Диккенс значит, в раскрытом виде. И лампа включенной осталась – читал, наверное, до последней минуты. Ну друзя его сразу, конечно, милицию, врачей вызвали, все что полагается в таких случаях. Диагноз поставили, оказалась острая сердечная недостаточность. Кто бы мог подумать... И так всем нам жалко его было, ведь привыкли к нему уже и полюбить даже в каком-то смысле успели.

А Филимонова у меня посидела немного, мы с ней чаю попили, поговорили о случившемся. Она книжку взяла, открыла обложку и говорит: «Почитай, что написано» И тут до меня вдруг дошло! Книжка-то с дарственной надписью была. «Милому Вале с пожеланием творческих успехов и с надеждой на новые встречи». И подпись: Катя. Вот Надежда Николаевна мне и говорит, что, мол, может это его книжка и была. Может, когда он спиваться-то начал, продал он ее кому-нибудь за пол литру или в магазин отнес. А вчера увидел у меня и вспомнил жизнь свою прежнюю, человеческую и не выдержало сердце. Да мало ли на свете Валентинов, говорю я Филимоновой. И с чего вы взяли, что это именно его книжка была? Она помолчала и говорит: да, конечно, Валентинов много, а только чувствую я, что его эта книга, просто чувствую и всё тут, а объяснить не могу.

И еще она мне рассказала немного про Валентина – она ведь много общалась с ним, особенно в последние недели. Так вот, сказала, что много ему в жизни пережить пришлось, и что жена у него была когда-то, и ценили его как художника. А потом вроде что-то у них случилось и ушел он от нее к другой вроде. А через годика два понял, что ошибся и назад захотел вернуться. Да только поздно уже оказалось – жена его умерла от рака, причем быстро так, что он даже и не знал, что она больна была, хотя не видел ее всего 3-4 месяца, пока на даче под Москвой где-то жил со своей кралей молоденькой. Вот с тех пор он и запил и вниз покатился, все простить себе не мог и себя винил в смерти ее. Вот такие дела, Настасья... Чего только не случается в жизни.

Я спросила у Филимоновой, так это жену его что ли Катей звали? Не знаю, говорит, не называл он имени ее, да и рассказывал очень немного, не хотел или не мог, а скорее и то, и другое. Да, в конце концов, не в том дело, как ее звали. И даже не в том, его ли книга была. А в том, что с книги его жизнь настоящая началась и этой же книгой и кончилась. Вот что интересно. Так мне Филимонова объяснила и я с ней, в общем-то, согласна. Она все-таки много понимает и человек очень светлый, хотя многие и считают ее не от мира сего. А по мне, такие люди глубже нашего жизнь видят и нам у них учиться бы надо. «А Вы сами-то читали роман этот?» – спросила я Надежду Николаевну, когда она уже в дверях стояла. «Да, но давно это было, в молодости еще. Очень хороший роман, очень добрый. И знаете, главный герой, кстати, чем-то на Валентина похож».

Вот на этом и заканчиваю свое затянувшееся послание, дорогая моя Настасья

Федоровна. Привет передавай от меня старику своему и держись, не болей. Мы еще с тобой поживем!

Целую тебя, твоя Светлана.

P.S. А собаку его, Чарли, с того дня не видел никто. Как Валентина увезли, убежала она и в подъезд больше не возвращалась. К собачатникам попала или бродит где-то, никто не знает. Москва – город большой...

БЕСФОРМЕННЫЙ ЗАМОК

Поэт построил себе бесформенный замок из своих стихов и поселился в нем на долгие годы. Замок давал ему иллюзию безопасности, а пробелы между строчками служили ему для наблюдения за тем, что происходит в его выдуманном мире. Однажды он так увлеченно и вдохновенно писал стихи о любви, что не услышал, как она звонит в его дверь. А может, услышал, но не хотел открывать, чтобы не прерываться. Вечером соседи сказали ему, что к нему приходила любовь, а он не открыл дверь. Он был в шоке и не мог поверить, что это случилось.

Пытаясь оправдаться, он всем показывал листок со стихами. И все говорили, что стихи получились очень красиво. И только одна девочка-подросток, жившая на самом верхнем этаже, сказала, что он ошибся роковым образом, возмнив себя поэтом.

Он вопросительно посмотрел на нее. «Просто мне кажется, – сказала девочка, – что если бы Вы были настоящим поэтом, Вы бы никогда не пропустили прихода любви». «Но ведь я творил!» – закричал поэт в отчаянии, ощущая в сердце такую острую боль, словно в него всадили нож. Но девочка ничего больше не сказала и уткнулась в книгу.

Поэт вернулся к себе в квартиру и лег на диван. Он думал о том, что пропустил любовь, которой ждал столько лет. И еще понял, что умрет сейчас, если не напишет об этом стихи. Он сел за стол, взял чистый лист бумаги и написал стихи. И только потом успокоился и лег спать почти счастливым. «Когда-нибудь она придет снова, я уверен», – думал поэт засыпая. Но он снова ошибся. Она больше не пришла никогда, потому что она никогда не приходит два раза по одному адресу.

СПЯЩАЯ БАБОЧКА

Доктор Собов, пожилой мужчина с густыми седыми волосами и аккуратно подстриженной бородкой, снял очки в тонкой серебряной оправе и посмотрел усталым взглядом на посетителя, который закончил, наконец, свой долгий и бессвязный рассказ. Это был высокий худой человек, чисто выбритый и сильно надушенный, с тревожно бегающими глазами. Волосы его были гладко зачесаны назад, а длинные руки не находили себе места и, пока их обладатель подробно рассказывал о странном поведении своего брата, жили как бы отдельной жизнью, то теребя лежашую на коленях шляпу, то громко хрустя пальцами, отчего Собов невольно морщился и с трудом скрывал свое раздражение.

Он давно уже приучил себя абстрагироваться от личностного восприятия своих клиентов, прекрасно зная, что как врач-психоналитик он не имеет право на симпатии или антипатии, и обязан относиться к каждому своему пациенту беспристрастно. Но сегодня он словно забыл об этом краеугольном принципе и даже не пытался скрыть от себя, что испытывает к сидящему напротив человеку острую неприязнь.

«Наверное, какой-нибудь бухгалтер или менеджер среднего звена», – думал Собов, внимательно разглядывая невыразительное осунувшееся лицо и тени под глаза-

ми. Он слушал молча, не перебивая, изредка переводя взгляд с одного предмета своего уютного кабинета на другой, а его собеседник говорил почти без остановки в течение часа с лишним. Когда он, наконец, закончил, Собов помолчал несколько секунд, а потом вздохнул и сказал:

– Ну что ж, Евгений Павлович, то, что вы рассказали о своем брате, конечно, очень интересно, точнее, я бы сказал, весьма тревожно. И тем не менее, я не могу сейчас сказать вам ничего определенного, потому что должен сам увидеть и побеседовать с вашим братом. Возможно, вы правы в своих опасениях, но возможно и то, что вы просто преувеличиваете некоторые детали, которые, скажем так, могут иметь временный характер.

– Но ведь я изложил вам факты, а не личное мнение, – возразил посетитель и хрустнул пальцами.

– Да-да, конечно, я понимаю и не ставлю под сомнение ваш рассказ, но и вы должны понимать, что врач не может ставить точный диагноз с чужих слов. Вам надо прийти ко мне со своим братом.

Евгений Павлович заерзал на стуле, наклонился вперед к Собову и тихо, как бы доверительно сказал, словно боялся, что его могут услышать, хотя в кабинете кроме них двоих никого не было:

– Но поймите, доктор, это невозможно!.. Он никогда не придет сюда...

– Почему же?..

– Если бы вы прочитали его дневник, вы бы поняли... Или его странные рассказы...

– Вот как? Он пишет рассказы? Надеюсь, вы принесли их с собой?

– Нет, доктор, к сожалению, не принес... Он запирает их в ящике своего стола и никогда никому не дает ключ, ни мне, ни моей жене, ни тем более, моим детям.

– Как же в таком случае вам их удалось прочитать? – спросил Собов и откинулся в кресле назад. Разговор с этим Евгением Павловичем стал определенно выводить его из состояния равновесия, которое ему удавалось сохранять даже в самых сложных ситуациях.

– Однажды он забыл закрыть ящик на ключ, и я это заметил. А ночью, когда он спал, я вытащил его наброски и дневники и прочитал... И вы знаете, вот тут-то мне и стало в первый раз по-настоящему страшно за брата. Именно после чтения его странных рассказов.

– Поймите, Евгений Павлович. Во-первых, почему вы их называете странными? Вы можете рассказать хотя бы приблизительно, о чем пишет ваш брат?

– Не могу... В том-то и дело, что пересказать это невозможно. Все, что я читал в бумагах Саши, можно назвать классическим бредом сумасшедшего. Никакого смысла, никакого сюжета, какие-то незаконченные фразы, отдельные слова выделены жирно и написаны огромными буквами, а другие, наоборот так мелко, что без лупы не разглядишь. То он пишет о жизни на других планетах, то от имени средневекового монаха, то вообще от имени женщины... В некоторых рассказах он описывает такую жуть, что я даже не могу это передать...

Евгений Павлович говорил все быстрее, лицо его покрывало красными пятнами от возбуждения, а пальцы снова стали нервно тереть шляпу.

– Ну-ну, не надо так волноваться, – ласково сказал Собов и внимательно посмотрел на своего собеседника. Собову вдруг пришла в голову странная, почти дикая мысль, что никакого брата не существует, точнее, что сидит перед ним пациент с классическим случаем раздвоения личности.

Евгений Павлович вдруг как бы осекся и сник. Он сжал руками виски и закрыл глаза.

– Это безумие больше невыносимо, мы не можем жить рядом с сумасшедшим. Поймите, у меня жена, двое детей...

Собов побарабанил костяшками пальцев по столу и спросил:

– Почему ваш брат живет с вами? У него нет своей семьи, дома?

– Несколько лет назад от него ушла жена и он жил один, а в прошлом году я взял его к себе, потому что хотел помочь... Я думал, что смогу избавить его от одиночества, но кажется, сильно ошибся.

– Он сам вас попросил, или вы предложили?

– Нет, инициатива шла от меня, но он согласился. А теперь вот живем как в сумасшедшем доме...

Собов встал, подошел к книжной полке, взял книгу, полистал ее и снова положил на место. Потом он повернулся к посетителю и сказал:

– Евгений Павлович, вы знаете, в нашей области надо быть очень аккуратным...

– Я вас не понял...

– В том смысле, что нельзя называть человека безумным, пока ему не поставят диагноз. А диагноз может поставить только специалист. Поэтому я бы попросил вас избегать этих определений.

– Да-да, конечно... Я понимаю... Но ведь дело не только в записях Саши, все его поведение говорит о том, что с ним что-то не в порядке. Это происходит уже несколько месяцев и улучшений не видно. Работает он урывками, полностью замкнулся... Иногда сутками не выходит из своей комнаты. А недавно вот пропал на несколько дней, мы хотели уже на розыск подать, а потом вдруг объявился вместе с какими-то двумя подозрительными типами. Они сидели у него в комнате всю ночь и, вы не поверите, пели песни...

Пока Евгений Павлович говорил, Собов снова устроился в кресле и, покусывая дужку очков, с профессиональным интересом наблюдал за неугомонными руками своего гостя.

– Песни? Это любопытно. Что же они пели?

– Сначала какие-то старые советские песни, потом перешли на немецкий и английский...

– Ваш брат владеет языками? – спросил Собов и с тоской посмотрел в окно.

На улице стоял великолепный солнечный сентябрьский день, прозрачный и теплый...

«Сейчас бы погулять по парку...», – подумал Собов и вздохнул, взглянув на свои часы. Через полчаса у него был назначен прием следующего посетителя.

– Это тоже странная история, доктор. Когда-то, в молодости, он знал несколько языков, а потом как будто забыл... А сейчас вот опять говорит...

– Ну, так это замечательно, и ничего странного, у вашего брата хорошая память.

– Да, но говорит-то он на этих языках сам с собой, вот в чем вся штука. Причем не просто говорит, а стихами говорит, вы понимаете?..

Собов не смог сдержать улыбку, хотя знал, что вряд ли она уместна в беседе с этим человеком.

– Кажется, у брата вашего просто выдающиеся способности: и стихи сочиняет на других языках, и прозу пишет...

– Ну да, способности у него, конечно, имеются. Вот только все это так странно... Например, вы знаете, он все свои рассказы всегда завершает одной и той же фразой.

– И какой же? – спросил Собов, пытаясь не смотреть в окно и сосредоточиться на собеседнике.

– Минутку... Я хочу вспомнить ее дословно, – Евгений Павлович напряженно посмотрел на свои ботинки, словно на них была написана заветная фраза, а потом слегка подпрыгнул в кресле и сказал: – Вот, кажется, вспомнил. В конце каждого рассказа Саша пишет: «И все было как обычно в тот погожий день, а по небу плыло одинокое большое облако, похожее не то на туго заведенный будильник, не то на спящую бабочку...».

– Оригинально, – усмехнулся Собов...

– Но это же бред! – лицо Евгения Павловича снова пошло красными пятнами. – Ну ладно, я понимаю, что облако может быть похоже на бабочку, хотя ни разу тако-

го не видел, но как, скажите мне, оно может быть похоже, – вы только вдумайтесь, – на туго заведенный будильник!

– Видите ли, Евгений Павлович, это называется метафорой. Конечно, в данном случае, метафора весьма спорная, но я не вижу в ней ничего... как бы вам сказать, никаких отклонений, одним словом. У поэтов бывают порой очень необычные образы.

– А вы считаете, что мой брат – поэт?..

– Я не знаю, но, судя по вашим словам, у него имеются неплохие творческие задатки.

Евгений Павлович ничего не ответил и задумался, разглядывая свои пальцы.

Собов нервно смотрел на часы, он хотел сделать небольшой перерыв, прежде чем придет следующий посетитель.

– Простите, Евгений Павлович, но ко мне должен прийти пациент через несколько минут...

– Да-да, я понимаю... Так что мы решили по поводу моего брата?..

– Думаю, что, к сожалению, вам все-таки придется его привести ко мне, другого выхода я в этой ситуации не вижу.

Евгений Павлович тяжело вздохнул, встал и протянул руку Собоу.

– Ну что ж, я попробую его уговорить.

– Только учтите, что к таким людям как он, нужен очень тонкий подход. Постарайтесь не преподносить это как визит к психиатру, вы меня понимаете?

– Но ведь... он все равно догадается, когда придет?

– Это уже моя забота, вы главное приведите его ко мне. Скажите, например, что я заинтересовался его творчеством и хотел бы с ним поговорить о его стихах или рассказах. Тем более, что это, в общем-то, правда.

Собов проводил гостя до выхода из офиса, пожелал ему всего лучшего и с облегчением закрыл за ним дверь. Потом он посмотрел на часы. «Минут двадцать у меня еще есть, и, в конце концов, Алла Аркадьевна может и подождать, ничего не случится, если я опоздаю немного».

Собов сказал своей помощнице, что вернется через пятнадцать минут и вышел на улицу. Он посмотрел на небо, вдохнул полной грудью и быстрыми шагами пошел по направлению к парку. Под ногами густо шуршали опавшие листья, а Собов думал о незнакомом ему человеке, которого никогда не видел, и вряд ли, – почему-то Собов интуитивно был уверен в этом, – когда-нибудь увидит. Он вдруг поймал себя на мысли, что действительно хотел бы встретиться с этим человеком. Даже просто из профессионального любопытства, чтобы понять, прав его брат или нет. Собов гулял по парку и наслаждался замечательной бархатной погодой. Он особенно любил этот период осени. Потом мысли его перешли на семейные проблемы, и он почти забыл о Евгении Павловиче.

Через полчаса он снова сидел в старом кресле, обитом потертой кожей и слушал пациентку, даму балзаковского возраста с коротко постриженными волосами и глубоко посаженными карими глазами. Дама рассказывала ему свои последние сны, а Собов, прикрыв глаза и слушая ее тихий убаюкивающий голос, слегка покалывал острым пером ручки свой палец, чтобы не уснуть окончательно прямо на глазах у своей пациентки. Потом он вдруг снова вспомнил рассказ Евгения Павловича и усмехнулся.

И все было как обычно в тот погожий день, а по небу плыло одинокое большое облако, похожее не то на туго заведенный будильник, не то на спящую бабочку.

КАРТИНКА ИЗ КАФКИ

Однажды был в моей московской жизни эпизод, когда я устраивался в частную экспериментальную школу учителем физики. Сначала я провел пару испытательных уроков и директрисе они, кажется, понравились. Она пригласила меня к себе до-

мой, чтобы дать мне педагогические книжки и обсудить программу занятий. Жила она на «Соколе», в старом сталинском доме с большими комнатами и высокими потолками. Я пришел, разделся в прихожей и она повела меня в свой кабинет через узкий полутемный коридор, загроможденный старой мебелью, какими-то пыльными коробками и прочим хламом, присутствие коего угадывалось, впрочем, скорее по запаху, чем по виду. Не доходя до двери в дальнюю комнату, коридор немного расширился и у стены, на тумбочке, стоял невообразимо древний телевизор с белесым от толстого слоя пыли экраном. Он был включен, но изображения не было, только хриловатый звук. У противоположной стены, в каком-то кресле неопределенной формы, сидел худой и неухоженный старик, на вид очень дряхлый. Прикрыв глаза, он внимательно слушал телевизор. Кажется, он не был слеп, но почему-то производил жутковатое впечатление слепого.

Мы прошли между стариком и телевизором и я неуверенно поздоровался. Он даже не приоткрыл глаза в ответ на мое приветствие, а директриса прошла мимо него так буднично и спокойно, как проходят мимо шкафа, который за много лет уже перестали замечать и вспоминают о его существовании только по мере необходимости. Очевидно, старика в этой квартире давно уже держали за мебель.

Мы уселись в большом светлом кабинете, уставленном книжными шкафами. Книги и журналы в них медленно задышались от тесноты и время от времени судорожно вздрагивали жабрами своих страниц. Директриса вдохновенно что-то мне объясняла, манипулируя книжками не хуже уличного наперсточника, а у меня все не шел из головы этот старик. Слушал я как-то рассеянно и все поглядывал с опаской на беспорядочно громоздившиеся по углам комнаты стопки книг, словно это были не книги, а неведомые существа, от которых можно ждать чего угодно. Казалось, что в этом доме готовятся к переезду.

Наконец, примерно через час, мы закончили и я стал прощаться. Когда я шел по коридору назад, мне снова пришлось пройти мимо старика. Он сидел в той же позе и также, с закрытыми глазами, слушал охрипший телевизор. Кажется, шел какой-то фильм. Было такое чувство, что за целый час старик даже пальцем не шевельнул...

Вот собственно и весь эпизод. Казалось бы, ничего особенного, мало ли семей на свете, где стариков превращают в мебель. Но почему-то именно тот полуслепой старик, слушающий пыльный телевизор в заваленном старым хламом коридоре, до сих не идет у меня из головы, как какая-то картинка абсурда и кошмара, достойная кисти Гойи или пера Кафки. По крайней мере, тогда мне показалось, что этот эпизод сошел со страниц Кафки.

Когда-то я хотел сделать из этой картинке отдельный рассказ или вставить ее как эпизод в свою неоконченную повесть о последнем годе в Москве. Но недавно я решил, что может и не надо ничего придумывать, а написать так как есть, просто описать эту картинку — ведь действительность часто бывает абсурднее и страшнее любого выдуманного кошмара. Впрочем, может только мне стало не по себе от этой картинки, может другие посетители этой квартиры прошли мимо и даже не заметили старика. Ведь действительно, его так легко было не заметить на пыльном фоне старого хлама.

ПЕЙЗАЖ

Едва научившись снова различать цвета, он попытался написать пейзаж, который видел каждый день из окна своего дома. Еще не верилось, что болезнь отступила, еще страшно было открывать глаза надолго. И каждый звонок телефона или стук в дверь заставлял его вздрагивать, словно это был какой-то призрак прошлого, который хотел забрать его обратно.

На картине медленно росло дерево, зеленела трава и скрипели старые ржавые

качели, на которых почти всегда сидел полусумасшедший старик из пятого подъезда.

Так рождалось искусство, не знавшее меры в своей вызывающей простоте. Искусство, претендующее на подлинность.

И тот, в ком рождался и умирал художник, каждый день исправлял картину, делал новые мазки, искал цвета, смотрел на часы и думал, что жизнь никогда не примет этот вызов по той простой причине, что не заметит его.

Однажды утром художник медленно подошел к окну и увидел, что качели пусты, крона дерева пожелтела, а по окну, дробясь и ломаясь, стекают капли дождя.

Он сел перед холстом и закрасил его белым цветом. Необъяснимым образом он вдруг остро ощутил прилив настоящего счастья. «Я начну с нуля, – сказал он себе, – я каждый день буду начинать с нуля, с белого цвета. И заканчивать им каждый свой день». Потом он одел старый и потертый серый плащ, вышел на улицу и сел на качели.

Дождь прыгал по лужам, заигрывал с ним и пытался убедить его в том, что его счастье всего лишь минутный бред, что цвета снова исчезли, а страхи вернулись обратно. Но художник не слушал его. Он закуривал и тушил папиросу. Он улыбался. Он был по-настоящему счастлив.

И не знал, что давно стал неотъемлемой частью пейзажа, частью паузы, которую делает иногда время, чтобы перевести дыхание и уступить дорогу Вечности.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ТИШИНЫ

Как добраться до золотого берега тишины? Как вернуться на берег детства, туда, где закатный луч играет с волнами и рисует на них причудливые узоры. Я вспоминаю море, сосновую рощицу, несколько скамеек на пляже, детские качели и долгий июльский вечер. Отдыхающие медленно прогуливаются по берегу, почти у самой воды. А чуть в стороне, недалеко от скамейки с облезлой выгоревшей краской, сидит на песке девушка и строит большой замок или дворец. Ребенок и не ребенок, ветер и луч солнца, странное создание, возникшее словно ниоткуда.

Жители курортного поселка вполголоса, – кто с жалостью, кто с равнодушием, – говорили про нее, что она дурочка, что она не в себе. Девушку звали Ильзе, и почти все лето она проводила на этом берегу, то там, то здесь строя свои огромные песочные замки, а с лица ее никогда не сходила блаженная и счастливая улыбка. Она была по-настоящему счастлива только тогда, когда начинала возводить очередную крепость, окруженную рвом и лесом из травинки и веточек.

Местные обходили ее стороной, а курортники поглядывали с удивлением, но потом, приглядевшись внимательно, начинали понимать, в чем дело и больше не обращали на нее внимание.

Зато дети всегда крутились возле нее, как пчелы вокруг цветка. Они помогали ей строить замки и пытались с ней заговорить, но она только блаженно улыбалась и ничего не отвечала. Говорить она не умела.

Впрочем, ей никогда не удавалось поиграть с детьми больше получаса. Обычно родители рано или поздно спохватывались и отзывали детей к себе, потому что мало ли что. А Ильза, казалось, даже не замечала этого и продолжала строить один замок за другим.

Но однажды я увидел, что она чем-то сильно опечалена и просто смотрит, как течет песок из ее ладони. Был ясный вечер и над морем кружились и кричали чайки. Внезапно Ильза встала и пошла к воде. Она зашла в море по пояс. Умеет ли она плавать? Зачем она зашла в воду?..

Ильзе нагнулась, опустила руки в воду, и когда она снова выпрямилась, я увидел, что она держит в руке большую серебристую рыбу. Она подняла руку с рыбой высокой над собой и тут же одна из чаек ринулась вниз и выхватила добычу из ее руки. Ильзе посмотрела вверх и рассмеялась. Она вернулась на свое место, платье на ней

почти полностью намокло и прилипало к ногам. Ильза села на песок и начала что-то строить. Но на это раз это был не замок. Это была большая рыба с ракушечкой вместо глаза.

Когда рыба была закончена, за Ильзой пришла ее мать – пожилая грузная женщина с седыми волосами, перехваченными сзади резинкой. Она молча взяла ее за руку и повела в сторону перелеска, туда, где на самом краю поселка стоял их неказистый домик. Лицо у Ильзы сразу стало грустным, а глаза потухли. Она покорно следовала за матерью, глядя в землю. Сзади возникла стайка мальчишек, которые насмешливо кричали ей что-то вслед на латышском.

Рядом со мной на скамейку присел старый служитель лодочной станции. Он посмотрел на две исчезающие в роще фигуры и вздохнул.

– Это ее мать? – спросил я.

– Нет, – ответил он, – Я даже не знаю, кто это, но она приходит за ней каждый вечер и забирает домой.

Я стал расспрашивать его про Ильзу, и он рассказал мне, что раньше она только рисовала на песке разные картины, но потом стала строить замки. Она приходит на пляж утром, и все уже давно привыкли к ней, как к детали пейзажа, на который со временем перестаешь обращать внимания.

– Ей никогда не вырваться из этого ада, – с грустью сказал служитель.

– Скорее, это нам никогда не попасть в ее рай, – ответил я.

Солнце медленно погружалось в море. Чайки, устав кружить над морем, сонно качались на зеленых волнах залива. По берегу прошел мужчина с большим черным догом. На качелях сидела девочка-подросток и курила сигарету. А на песке сверкала серебром в закатных лучах большая рыба с ракушечным глазом.

В этот вечер я вдруг понял: сколько бы лет мне не исполнилось в будущем, в какие-то моменты мне всегда будет 14, как сейчас. И еще мне стало жалко, что рыба из песка никогда не станет живой, и я не смогу отпустить ее в море.

ОФЕЛИЯ

Жители окрестных домов часто видели ее из своих окон. Она медленно прогуливалась по бульвару, держа в руках искусственные цветы. Бульвар тянулся между высокими кирпичными домами и упирался в конце в круглый пруд. Девушка часто сидела на одной из скамеек, которые стояли вокруг пруда, и однажды люди увидели, как она бросает в воду свои бумажные розы. С тех пор кто-то прозвал ее Офелией, и это имя намертво прицепилось к ней, став ее тенью. Но девушка этого не замечала, а может, ей было просто все равно. Никто не мог с точностью сказать, действительно ли она безумна или она просто «немного не такая», как выразился один из местных стариков, страстный любитель шахмат, часами игравший партию за партией с окрестными «гроссмейстерами». Офелия почти ни с кем не разговаривала, а на приветствия отвечала только молчаливой улыбкой. Она была так глубоко погружена в свой особый мир, что никто не знал, можно ли вообще установить с ней контакт, или люди просто боялись это делать, как боялись всего непонятного и непредсказуемого.

Однажды, когда она снова бросала цветы в воду, стоявший рядом мужчина спросил, зачем она это делает.

Офелия посмотрела на него долгим взглядом, и в ее серых глазах мелькнуло непонятное выражение радости и испуга одновременно. Она бросила в пруд еще одну розу и ответила: «Чтобы они ожили».

«Понимаю» – сказал мужчина после долгой паузы.

Офелия подарила ему одну из роз и поздравила с днем рождения. «Спасибо... Но откуда вы узнали, что у меня сегодня день рождения?» – удивился мужчина.

«Каждый день кто-нибудь рождается и умирает», – ответила Офелия, и добавила: «У вас пуговица оторвалась...»

Потом она вдруг наклонилась к его уху и быстро прошептала: «Я не хочу быть бумажной розой, спасите меня!».

Мужчина посмотрел на нее растерянно и отошел в сторону. А Офелия, словно забыв про него, продолжала бросать в воду бумажные розы, которые тихо покачивались на воде, медленно удаляясь от края пруда.

Через несколько минут Офелия снова сидела на скамейке и читала книжку. На ее руке сверкали маленькие часики без стрелок.

А ЕСЛИ И УЗНАЕТ

Вы никогда не задумывались, почему после того, как наша мечта или желание сбывается, нас охватывает грусть? Это не имеет ничего общего с разочарованием и обманутыми ожиданиями, это что-то совсем другое, совсем другое чувство. И эта грусть не от того, что мы достигли желаемого и одной мечтой стало меньше. Более того, мы можем быть счастливы, мы можем парить в небесах от радости, но потом... потом все равно приходит какая-то непонятная грусть. Во всяком случае, у меня это происходит постоянно. И опять-таки, это совсем никакого отношения не имеет к умению или неумению радоваться и быть благодарным. Это что-то другое, совсем другое.

Наверное, просто жизнь часто летит по касательной. А потом вдруг ты оказываешься в ее центре. А там нет никакого центра, потому что помимо тебя и твоих желаний есть другие люди, есть их проблемы. И ты начинаешь понимать, насколько все относительно. Но замечательно, если ты при этом все-таки умеешь радоваться и быть благодарным Богу. Это самое главное, мне кажется – уметь быть благодарным... Грусть – это не неблагодарность, это, скорее, наоборот, понимание того, насколько все в этой жизни *относительно* и во многом суетно...

Сегодня в магазине я стоял в очереди, и увидел на улице немолодую женщину, которая ждала мужчину, делавшего покупки. Возможно, это был ее муж. Но это неважно. Мне просто почему-то запомнилось ее лицо, выражение ее лица. В нем была как бы вся жизнь. В нем была усталость и какое-то спокойствие. Нет, даже не это. Не знаю, как это выразить словами. Что-то очень отстраненное и одновременно очень житейское и почти мудрое. Но было очень хорошо видно, что это женщина грустит. И что думает о чем-то таком, о чем этот мужчина, покупающий пиво и газеты и бросающий уверенным жестом продукты в корзину, никогда не узнает. А если и узнает, то вряд ли поймет....

ВСЕ ИДЕТ НАПЕРЕКОСЯК

Каждый день он собирался зайти в офис, чтобы увидеться с ней, и каждый день откладывал визит на завтра. Он долго не мог понять, что происходит и почему он не в состоянии совершить такое простое действие, не требующее от него почти никаких душевных усилий. Он напоминал сам себе ученика, которому дали большую линейку и мел и попросили провести на доске прямую линию, всего лишь линию, а он стоит, задумавшись, в нерешительности, потому что не знает, где именно ее провести. Совершенно бессмысленные сомнения – ведь это не имеет никакого значения!

Но однажды он вдруг понял, что все дело в первой фразе.... Он должен будет сказать при встрече какую-то фразу, которая следует за приветствием, и вот тут-то и состояла вся сложность. Он понял, что не может найти эту фразу, эти несколько слов, которые не прозвучат фальшиво и сразу дадут понять ей, что с ним происходило и почему он все это время прятался в ракушку молчания. Он перебирал в

уме различные варианты и каждый раз понимал, что придуманная им фраза содержит какую-то неточность, уводящую в сторону от сути. И эта неточность сводила его с ума, потому что подсознательно он чувствовал, что той фразы, которую он ищет, просто не существует.

Так проходили дни в мучительной бессловесности и немоте, которые отодвигали встречу все дальше и дальше, нагружая ее растущим временем и молчанием. Фраза не находилась, слова рассыпались на осколки каких-то посторонних смыслов и в один из таких вечеров, когда он в очередной раз зачеркнул несколько пустых слов на листке бумаги, он устало произнес, обращаясь к самому себе: «Everything is going wrong in my life» (Все идет наперекосяк в моей жизни). И вдруг он понял, что эта и есть та фраза, которую он так долго искал. Именно с нее он начнет встречу!..

На следующий день он поехал в офис, где раньше работал. Но когда он увидел ту, ради которой он приехал, он понял, что не станет произносить найденную фразу, потому что это уже не имело смысла. Он просто улыбнулся и сказал, что болен (и даже не совсем соврал при этом, если понимать болезнь не только в физическом, а в более широком смысле этого слова). «А я думала, что ты уехал куда-то», – сказала она. Он ощутил страшную неловкость, потому что обещал позвонить ей и пропал на полтора месяца.... И чтобы поскорее сменить тему разговора, он спросил у нее: «Ну а у тебя как дела?» Она пожала плечами и сказала: «Everything is going wrong in my life...».

ПАПИНА ДОЧКА

Весной прошлого года в колледже, где я работал по гранту, проходила студенческая фото-выставка. Было немало интересных работ, но мне больше всего понравилась фотография под названием «Dad's daughter» («Папина дочка»). Вроде бы ничего особенного – обычная лондонская улица в центре города, пестрая толпа. И отец, несущий на шее свою дочку лет пяти-шести. Девочка очень похожа на отца, но поражает в снимке не это внешнее сходство, – ничего удивительного ведь в этом нет, – а взгляд дочки. Она смотрит на мир абсолютно недетским взглядом. И это ее выражение лица, ее глаза, ее взгляд совершенно точно повторяют отцовский взгляд и выражение лица. Трудно, пожалуй, передать адекватно словами, что именно в этом взгляде, но кажется, более всего подходит здесь эпитет «тревожный». Взгляд у них обоих напряженный и тревожный, словно они кого-то ищут в толпе, но в то же время боятся, чтобы тот, кого они ищут, их не увидел. Этот взрослый взгляд ребенка пугает сильнее, чем иные детские слезы. Пока еще она восседает на крепкой жилистой шее отца и он держит ее за ноги своими сильными руками, пока еще она чуть свысоказирает на всю эту разношерстную людскую массу, но уже в ее глазах такая странная и пугающая серьезность и такая непонятная ей самой тревога, словно девочка увидела, как навстречу им идет ее будущее и столкновения с ним не избежать, несмотря на многолюдье и на то, что отец не знает его в лицо и пройдет мимо, лишь слегка задев локтем, и, обернувшись на ходу, бросит равнодушно-вежливое «Sorry».

Эта фотография напомнила мне одну сценку, свидетелем которой я однажды оказался, зайдя перекусить в одну из окраинных московских закусочных (а точнее, «запивочных»).

Девочка лет восьми, одетая в короткое и застиранное платьице, из которого она уже давно выросла, смотрит снизу вверх на отца и тянет его за рукав старого и засаленного пиджака.

– Папа, ну пойдем домой... Пожалуйста...

– Сейчас, сейчас пойдем, Анечка. Сейчас, милая.

Отец Анечки стоит у низенького прилавка и горящими глазами смотрит, как груз-

ная продавщица наливает в плохо вымытый стакан дешевый портвейн мутно-коричневого цвета. Видимо, в этот раз на водку денег не хватило.

— Пап, ты же обещал маме, что больше не будешь в эту столовую заходить... Пойдем домой, а?

— Да-да, Анечка, сейчас пойдем. Я быстро.

Анечка смотрит на отца с грустным недоумением, а он виновато улыбается и гладит ее по голове дрожащей левой рукой. Правой он расплачивается с продавщицей. Затем он садится за ближайший столик со стаканом в руке. Дочь садится рядом и терпеливо ждет, болтая ногами в туфельках без шнурков. Отец небольшими глотками пьет вино. Анечка смотрит то на отца, то в окно, мимо которого проходит молодая соседка с красиво одетым мальчиком. На шее у мальчика висит какой-то фантастический пулемет-автомат с мигающими лампочками. Одной рукой он держит мамину руку, другой — рожок мороженого.

Отец ее между тем допивает стакан, и настроение у него становится сразу лучше. Он оживает и даже пытается неуклюже пошутить:

— Ну что, Анюта, сегодня у нас бизнес не очень, а? Ну, ничего, день на день не приходится, в другой раз больше продадим.

И он открывает сетку с книжками и выкладывает их по одной на стол. Лицо у него снова становится грустным и виноватым.

— Эх, Анечка, — вздыхает он, — какая у меня была библиотека, какие книги... Со школьных лет собирал. А теперь все это никому нафиг не нужно, даже тебе... Как говорили римляне, о *temperos*, о *mores*!..² Конечно, и вид у книжек моих, прямо скажем, не очень товарный, но какие книги, ты посмотри, дочка, какие у нас книги! Какая библиотека по частям уходит, Анечка, какая библиотека!.. Вот продаю я книжки эти по одной, а чувство такое, словно кровь из меня понемногу выходит. С каждой книгой капля крови — они ведь у меня растворены там, понимаешь? Что там у нас сегодня осталось? Шиллер, драмы и стихи. Гельдерлин! Гете, сорок восьмого года издание, от отца еще досталось, а вот, посмотри, Овидий в их компанию затесался. Собственной персоной... Скорбные, понимаешь ли, элегии... Ну как тебе подборка? Ничего себе, да? А если еще вспомнить тех, кто ушел сегодня от нас... Э-эх, что там говорить... Сердце кровью обливается — Шекспир в пастернаковском переводе, Поль Верлен, брат мой Верлен, и Вита Нова,³ редчайшее издание, между прочим... Да, Вита нова, Вита нова... Мне бы эту виту нову... Я бы все по-другому сделал, все, понимаешь! И не сидели бы мы сейчас вот тут с тобой, как... Ладно, чего уж теперь говорить! Ну что, Анечка, домой пойдем? Кстати, а батон-то мы купили? Кажется, нет. Ну пойдем, купим, у меня как раз на хлеб и осталось...

Отец завершает свой монолог на какой-то усталой ноте и продолжает сидеть неподвижно. Анечка слезает со стула и тянет его за рукав пиджака.

— Ну пойдем же, папочка, что же ты сидишь?

— Да-да, сейчас, — рассеянно отвечает папа, крутя в руках пустой стакан. Анечка складывает книги в его старую рваную сумку и с мольбой смотрит на отца, заглядывая снизу ему в лицо. В ее больших серых глазах стоят слезы. Наконец, отец встает и берет снова за руку.

Они медленно выходят из закуской, и теперь уже девочка ведет его за собой, а он, продолжая бормотать себе под нос свой бесконечный монолог, покорно следует за ней, как провинившаяся собака за своей маленькой, но строгой хозяйкой. Продавщица с чуть презрительной жалостью смотрит им вслед. Я тоже провожаю их взглядом, пока они не исчезают в ближайшей подворотне.

Два местных бомжа, распивающих за соседним столом «Столичную», грустно вздыхают и долго молчат.

² О времена, о нравы (лат.).

³ «Vita Nova» («Новая жизнь») Данте Алигьери.

– Слушай, Саныч, – говорит один из них, – а давай последнюю выпьем за Анечку. Пусть у нее все будет хорошо!

– Да, – говорит второй, – за нее стоит выпить, тут ты прав на все сто!

Они разливают бутылку до конца и выпивают до дна.

ПОПЫТКА ЛИЧНОСТИ

Что такое личность человека? Т.е. то, что Юнг когда-то называл «самостью»? Может, это просто осколки, которые надо сложить в целую картину? Слова, поступки, жесты, интонации, мимика. Ведь это все лишь внешние проявления нашего «я». Да, по ним можно сказать очень многое о нас, но ведь не все... И осколки очень трудно сложить в цельную законченную картину, если это вообще возможно... Всегда остаются белые, а точнее, черные лакуны разной формы: квадратной, треугольной, многоугольной, какой угодно... В эти черные дыры проваливается наше знание о человеке, и тогда вступают в силу странные законы теории относительности. Потому что наше суждение о личности – это всего лишь завуалированная форма страха приблизиться к этим черным провалам и упасть в неизвестность. Мы создаем образ и вешаем его как занавеску на окно чужой души. Вешаем и вешаем... Иллюзия знания охраняет нас от мрака ночи. Даже лунный свет с нами на дружеской ноге, когда мы включаем избитую музыку романтики. Этот принцип общения есть иная форма принципа сообщающихся сосудов. И каждый закутан в кокон своих представлений о мире...

И каждый потаенно ждет, когда из него медленно и мучительно вылезет и расправит крылья наше сокровенное «я». А спячка эта может длиться годы, а может и всю жизнь...

Мы собираем осколки своей личности, мы хотим увидеть свой портрет... А черные провалы мы закрываем тонкой тканью воспоминаний. И вот, портрет, вставленный в раму времени, уже готов. Осталось всего несколько штрихов. Добавим потом. Потом, когда будет настроение и желание. А ведь эти штрихи, эта пугливая тень нашей личности и есть мы сами... Без мифов, без прикрас, без вечного самооправдания. Нагие и испуганные отражения наших душ, ждущие нас у врат Вечности, пока мы творим свои земные и непрочные.

«ОТ ОКРАИНЫ К ЦЕНТРУ...»

В большом городе всегда начинаешь искать себя. Даже когда тебе кажется, что ты ищешь что-то другое. Даже когда ты переполнен впечатлениями и, не зная усталости, готов впитывать их бесконечно. Так происходило со мной в Лондоне, когда я часами бродил по его вечерним улицам, разглядывал витрины магазинов и ресторанчиков, заходил в книжные лавки и спускался в букинистические подвальные, бережно хранящие восхитительные россыпи и запахи старых книжек с пожелтевшими хрупкими страницами. Несколькими раз я заходил и в пабы с их непередаваемой атмосферой, с их удивительным сочетанием веселых шумных компаний, утопающих в плотных клубах сигаретного дыма и какого-то особого уюта, который присущ, вероятно, исключительно этой стране и является уже давно частью ее мифа. Миф этот, впрочем, гораздо более осязаем и реален, чем те же пресловутые лондонские туманы, которые действительно большей частью красивый миф, прочно укоренившийся в нашем представлении о Лондоне. Позже, когда я приехал в этот город в третий раз и прожил в нем год, я видел туман всего один раз за все это время, но зато уж это был настоящий туман, такой, что буквально не было видно дальше 2-3 метров.

Но сейчас я хотел бы поговорить о другом. А именно об ощущении потерянности в большом городе, которое, как мне кажется, всегда подсознательно присутствует у

каждого, кто впервые попадает в такой мегаполис, как, например, Лондон или Москва. Впрочем, с полной уверенностью могу говорить только о своем собственном опыте. Так вот у меня в Лондоне сразу появилось чувство невероятной свободы, когда кажется, что можно идти куда угодно и делать все что угодно. Но если первая часть довольно в большой степени совпадала с реальностью, то вторая – была, разумеется, сильно ограничена такой прозаической деталью, как количеством бумажек с портретом королевы или их знаменитого классика, любимого нами, кажется, даже больше, чем самими британцами.

Потерянность всегда бывает по отношению к чему-то. Мы можем потеряться в чужом городе, когда нам нужно куда-то попасть, а мы заблудились. Бывают, правда, случаи когда мы бродим по чужому городу безо всякой определенной цели и тем не менее, ощущаем такого рода потерянность. Так было, например, со мной в Алма-Ате, когда сама топография, сама структура города навевала на меня какую-то подсознательную тоску. Дело в том, что этот город имеет четко выраженную прямоугольную структуру. Т.е. он разбит ровными прямыми улицами на кварталы, так что в нем очень легко найти практически любой адрес, зная, на пересечении каких улиц он находится (или между какими), как в шахматах. Но из-за такой топографии в Алма-Ате нет четко выраженного центра, центра как некоего средоточия всего самого главного в городе, своего рода сердца города. Такой центр очень ярко выражен, конечно же, в Москве, но и в других городах он почти всегда более или менее локализован. Санкт-Петербург как из ствола дерева растет из Невского проспекта, хотя там есть и Васильевский остров, и Литейный проспект. Тем не менее, для нас этот город прежде всего связан с Невским, Эрмитажем, Исаакиевским собором, Медным Всадником – все эти замечательные объекты и составляют центр. В Лондоне это, наверное, Big Ben, Trafalgar square, Piccadilly circles, в Париже – Елисейские поля и т.д.

Так вот, в Алма-Ате ничего подобного нет и в помине. В результате некуда идти, нет центра притяжения города, куда можно было бы стремиться и где можно было бы бродить, изучать, наблюдать жизнь города. Поэтому я и ощущал там какую-то жуткую потерянность и неприкаянность, было как-то не по себе и хотелось поскорей вернуться на квартиру, где мы остановились. Помню, тогда мне подумалось о том, что, возможно, вообще наше сознание по природе своей моноцентрично, т.е. для него как бы необходимо наличие центра – города, мира, Вселенной. Сознание наше не выносит относительности, нужна какая-то привязка, точка отсчета, центр координат. И в пространстве географическом, и в пространстве душевном, не говоря уже о духовном, нам нужно то, от чего мы могли бы отталкиваться, точнее, к чему мы могли бы притягиваться. Мы как бы соизмеряем свое местоположение с этим центром и оцениваем, как далеко от него мы находимся.

Интересно, что и в литературе встречается тема центра (и окраины, соответственно). Первое, что приходит в голову – «Москва – Петушки» (Веничка так и не дошел до Кремля) и «От окраины к центру» Бродского.

Таким образом, соотношение своего местонахождения с определенной точкой в пространстве (в нашем случае, с центром) есть своего рода стремление человека к уменьшению энтропии, то есть как бы психологическое противодействие второму закону термодинамики. Нужен ли нам центр сам по себе как некая область пространства? Ведь мы, живя в наших городах, не так уж часто ходим в центр, так только, по мере необходимости. Подозреваю, что нам больше необходим не столько сам центр, сколько сознание того, что он существует. Это придает нашей жизни некую устойчивость и ритмичность, удерживая нас на орбите повседневного быта. Независимо от геометрии нашего перемещения, центростремительно ориентированное сознание удерживает нас от внутреннего хаоса.

Но интересно отметить, – и это, кстати, вносит существенную коррективу во все выше приведенные размышления, – что присутствие в человеке духовного центра или, точнее, центра духовной жизни (если таковая имеет место быть), делает его существо-

вание практически независимым как от географии его жизни вообще, так и от центра физического в частности. Тот, кто концентрирует всю свою жизнь вокруг духовного центра, не только создает этим самым абсолютную систему духовных координат, в которой все остальное становится и в буквальном, и в переносном смысле относительным, но и получает при этом внутреннюю свободу перемещения в пространстве (и, кстати, во времени тоже). Наш духовный центр зависит от нашей воли и чистоты, и следует помнить, что он является лишь зеркалом, в котором, если оно, конечно, чисто, отражается *другой* Центр, высший центр мироздания, его Творец. Царство Божие в нашем сердце и горе нам, если мы не пытаемся пробиться к нему и построить свою жизнь вокруг этого Центра. Ведь в этом печальном случае мы всю жизнь обречены на духовное изгнание и голод, на бессмысленные и истощающие поиски городов и их центров с дурной бесконечностью магазинов, на бесконечные поиски того несуществующего центра в несуществующей столице, где мы могли бы забыть в тяжелом сне, состоящем из бесконечной смены работы и развлечений, и не вспоминать мучительно свое *настоящее* имя, свое *настоящее* прошлое и свой *настоящий центр*, в котором все еще ждет нас, словно брошенный и беспомощный ребенок, наше истинное «я», в глаза которого мы так боимся взглянуть, дабы не увидеть в них нечто такое, что навсегда разрушит наши уютные иллюзии и лишит нас столь ненадежного покоя, возведенного лукавым временем на руинах нашей души...

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Каждый день мы задаем десятки вопросов. Себе, другим, всему миру, который волнами проходит сквозь нас, оставляя то редкие жемчужины откровений, то мутный ил горького опыта.

Мы задаем наши вопросы миру сознательно и бессознательно, но очень редко мы слышим ответ. Нам кажется, что вопросы падают в пустоту, и мы спрашиваем уже почти машинально, не надеясь услышать ответ. Но может быть все дело в нашей глухоте или слепоте? Ведь ответы можно не только услышать, их можно и увидеть. Если только более внимательно всматриваться в то, что происходит вокруг нас, если попытаться более чутко вслушаться в жизнь...

Этот мир полон ответов. Более того, на самом деле ответов гораздо больше, чем самих вопросов, но мы, привыкшие видеть только то, что нам хочется видеть, не замечаем эти ответы. В одном древнекитайском трактате утверждается, что мир полон знаков и символов, по которым можно определить наше будущее. И все гадательные практики были основаны в старину на восприятии мироздания как единой системы, где все взаимосвязано. По полету птиц или по рисунку на панцире черепахи человек предполагал, какой у него сегодня может быть день.

Но на самом деле, не говоря уже о сомнительности всех этих подходов, нужно ли заглядывать в будущее? Не есть ли это проявление нашего неумного нетерпения и недоверия Богу? Ведь это желание содержит в себе внутреннее противоречие: если мы верим, что будущее уже существует, то значит его нельзя изменить. А если мы узнаем то, чего нельзя изменить, станет ли нам от этого легче? И разве это знание может прибавить нам мудрости или душевного спокойствия? И почему мы не думаем, что именно сам факт предсказания может повлиять на наше будущее? Быть может, если бы нам не сказали, что нас в таком-то месяце ждет катастрофа, то ее и не произошло бы. Но мы ее ждали и спровоцировали своим ожиданием. Кому не знакома эта печальная ситуация?

Я же пытаюсь сказать о других знаках, о других ответах... О тех, по которым можно определить не будущее, но настоящее и, может быть, даже прошлое. Т.е. то, что происходит с тобой в данный момент или произошло когда-то, но возвращается периодически в лице, встреченном на улице, в услышанной случайно мелодии, в

странном сочетании цвета неба, запахов осени и пустой улицы, по которой ты возвращаешься с работы домой. Если прислушаться к себе и всмотреться в то, что вокруг тебя, то можно услышать и увидеть ответы на вопросы сегодняшнего или вчерашнего дня, можно разглядеть, как в быстрых осенних сумерках мерцает тонкая, как паутина, но удивительно прочная нить, которая тянется из прошлого и на которую, словно бусинки, нанизаны все твои дни...

Мы ищем ответы на мучающие нас вопросы: почему с нами происходит то, что происходит? Почему мы попали в эту ситуацию? Почему так долго нет письма от нее или от него? Нам постоянно кажется, что мир молчит и это его безответность доводит нас порой до отчаяния, а глухота близких и неспособность высказать им свои тревоги делают нас похожими на героя знаменитой картины Мунка «Крик», когда худой человек с изможденным лицом кричит на пустом мосте на фоне пустого и тоскливого пейзажа. Эта одна из немногих «звучащих» картин и когда смотришь на нее, кажется, слышишь этот безумный вопль, вырвавшийся у человека, раздавленно-го своим одиночеством. Но почему мы не задумываемся о том, что и само молчание может быть ответом? Как в науке, отсутствие результата – это тоже результат, так и в жизни – молчание – это тоже ответ. Когда кто-то не отвечает на наш вопрос или на наши письма – это тоже его ответ, пусть и очень тяжелый для нас, но быть может более точный и содержательный, чем все слова.

Не так ли происходит и с кажущимся молчанием мира? Ведь в молчании содержатся все слова, все варианты, в том числе, тот единственный, который мы ищем. Ищем, забывая, что все ответы скрыты не вне нас, а внутри нас... И если бы мы убрали этот эмоциональный шум наших страстей, если бы вслушались в тишину, мы бы смогли услышать те немногие слова ответа, которые робко ждут своего часа где-то в глубине нашей души. А может быть, нам бы даже посчастливилось услышать то единственное Слово, которое содержит в себе ответы на любые вопросы и в котором как в зеркале отражается вся наша жизнь.

И как редко мы задумываемся о том, что и мы сами являемся для кого-то ответом. Наши слова, наши жесты, поведение, улыбка – все это для кого-то может послужить ответом на его вопросы. Потому что вся жизнь – это постоянный взаимообмен вопросов и ответов. Когда художник пишет картины или писатель по тридцать раз переписывает одну страницу – это их ответы на то, что происходит с ними. Когда человек «возвращает Творцу билет» – это тоже его ответ, последний и страшный... Сразу вспоминается цветаевское «На Твой безумный мир один ответ – отказ!»

И поэтому все, что мы делаем, каждое наше движение является и вопросом, и ответом одновременно. Сами наши вопросы для кого-то могут стать ответами.

И каждый услышанный ответ незаметно нас меняет. Но нас не в меньшей степени меняет и отсутствие ответа. Если, например, мы не получаем письма, то сама эта ситуация что-то меняет в нас и потому уже является ответом...

.....
...А потом письмо приходит, и мы, еще не раскрыв конверта, уже знаем, что в нем написано. Наше долгое ожидание дало нам это знание. И мы оставляем конверт нераспечатанным...

И на горечь молчания мы пытаемся ответить молчаливым спокойствием, обманывая себя тем, что стали мудрее, что научились отвечать на поражения и что нам уже ничего не нужно ждать...

И только пройдя через это, только испив до конца эту горечь поражения, только приняв его по-настоящему, а не путем самообмана, мы сможем услышать настоящий ответ и настоящее Слово...

ПОЭЗИЯ

ДАВРОНА

Мне много не надо...

* * *
Здравствуй,
Мой стих!
Нежданный,
Непрошенный,
Незаконно-
рожденный...

Я тебя арычной водой
Напою. Умою.
Я тебя подолом прикрою.
Как бы мне тебя
Спрятать?
Чтоб тебя никто
Не нашел,
Не увидел,
Не обидел...

* * *
Ну вот, наконец,
Объявляют посадку.
Как руки дрожат:
А вдруг – уже поздно,
А вдруг – не успела?
И около дома – стоят...

Стоят, как невольные
Вестники смерти
Печали моей сторожа...

Ах, мама, дождитесь!
Одно Ваше слово,
Мне много не надо...
Один только любящий взгляд!

ПОЭЗИЯ

Вика ОСАДЧЕНКО

**Слова собирать —
мое ремесло**

* * *

Они объяснят нам: мы спали, мы были
больны; мы плелись в захламенном нигде
в бездарном безумии взрослых людей,
серьезных людей в предсказуемом мире.
И все же на кухне в холодной квартире
мы грелись рассказами наших гостей;
мы жили в словах, мы носились в эфире,
мы ждали дождей, кораблей, лебедей.

Мутация в генах, пульсация в венах
и свет, что тебя заливают мгновенно,
и строчка, бегущая из-под руки —
мы неотделимы и неотделимы
от них, от Небесного Иерусалима,
мы камень его, его воздух и глина
самим же себе вопреки.

* * *

Как терпеливо меня учили...
В самом начале — по чайной ложке,
в самом начале — по крошке яда
вплоть до того, как обрушить небо,
чтобы мне было куда податься.
Точно с рук на руки передавали.
Так и плыла по родным ладоням —
хрупкий кораблик в голодной бездне —
чтобы однажды увидеть Землю

(вряд ли все будет настолько просто...)

* * *

Почитай мне на ночь. Про что угодно.
Эта серая ветреная погода
с полумесяцем, вынутым из тумана –
ливный фон для производственного романа.
Год издания – где-то пятидесятый,

потому персонажи слепы, как котята.
И герой в нем стойкий и оловянный.
Он не вскроет вены, закрывшись в ванной,
но, уйдя на пенсию, будет гордо
вспоминать при внуках про эти годы –
про стальную хватку советской власти,
изобилие, всенародное счастье.
Никогда не поймет, почему мне стыдно.
Никогда не поймет, что такое стадо,
по костям идущее, как велели.
Островки свободы в архипелаги
собираются. По морю, что мелеет,
не уплыть под парусом из бумаги,

из сожженной после прочтения страницы
к процитированной Мандельштамом синице.

Хорошо, что герой остается в книжке.
И ему спокойней, и внукам легче.
Только нам наврали, что время лечит.
Время пахнет кровью и вечным срамом,
бесконечные списки убитых ниже!
и чем шире обзор, тем мрачней панорама.

* * *

По белому полю, по раннему снегу, по первому зову.
Ты хочешь назад, но у близкого неба другие резоны.
Вперяется зорко.

Сквозь смертные руки – несметные строки, безвестные сроки.
Короткая сказка, огромное солнце над небом широким.
Великая стройка.

Распахнуты створки. Сквозняк за плечами – на выход с вещами.
И вся эта стая рванется на волю, ликуя, дичая.
Но я не прошаясь.

* * *

Это была равнина, засыпанная камнями.
Их поднимали, но вскоре снова на землю роняли.
Глаз не давая вскинуть даже на тех, кто рядом,
камни текли потоком в высохшем русле взгляда.
И на вопрос нечаянный: «Что они означают?» –
отклик: «Храни молчание. Камни – комки молчанья».

* * *

Как нелепо, что время – неделя, век ли –
со своим содержимым – людьми, домами –
превращается в тексты десятым кеглем
на формате А-6 у меня в кармане.

И течет напролом, не сбавляя боли
(в чем ее измеряют – в амперах? в вольтах?)
бесконечное – через пока живое,
словно ливни взахлеб, словно злые орды.

Сколько сотен лет мы учили буквы
говорить и смеяться, кричать и плакать
ничего не напутают, не забудут,
пронесутся сквозь нас на неслышных лапках,

заберут с собой – по дрожащей жилке,
по звенящей нитке, чтоб лучше пели...
Будем падать, падать в чужие жизни,
словно мелкий дождик – десятым кеглем...

* * *

Ждать на подземном ветру, когда унесет наружу...
Не говори ничего: выйдет себе дороже.
Не зарекайся ни от чего, как бы ни вынуждали:
главное в нашей работе – не оправдать ожиданий.

Просто иди, молчи, шлепай себе по лужам.
Что я тебе скажу: мы не сделаем этот мир лучше.
Мы его сделаем хуже – вдвое невыносимей.
Давай пририсует хотя бы белую птицу на синем,
чтобы было куда поднимать глаза, когда надоест их прятать.
Мы не умеем, но все равно – нарисуем две птицы рядом,
как компенсацию наших сложных и мрачных текстов.
Пусть им не будет страшно, пусть им не будет тесно...

* * *

Ты знаешь, любимый: слова собирать – мое ремесло.
Но кто мог подумать, что мне будет так тяжело,
пытаясь сказать о любви, что естественна, словно дыхание,
угнаться за легкими, верткими стайками слов!
Она не желает входить в берега, становиться стихами,
и здесь я бессильна: течение меня унесло
туда, где любые слова неизбежно стихают,
и только от главного, первого Слова светло.

* * *

...дай мне время смотреть чудеса,
создавать чудеса.
Петь на разные голоса.
Тяжелеть на весах.

Быть разъятой на полюса
и закутанной в небеса.
У тебя в гостях, у тебя в горстях
каждый день открывать глаза.

ОЧЕНЬ ЖЕНСКОЕ

Зашивая дырявый носок и готовя еду,
собирая себя по частям после слишком короткого сна,
я упорствую в вере, что я хоть куда-то иду –
потому что без этого даже и жизнь не нужна.

Сочиняя стихи не с пером, а с иголкой в руках, –
если сильно припрет, то любой антураж – ерунда, –
сомневаюсь, что место поэзии – в райских садах.
Ей и кухня мила, раз частенько заходит сюда!

Расстояние до Бога – я мерила – всюду одно.
Чтобы с Ним разговаривать, мне не нужна гора.

Кошка лезет меня целовать в пять часов утра;
солнце в небе иное, чем было еще вчера;
город юн и прекрасен; на пятке опять дыра;
и все это – поэзия, это Его игра.

И, не веруя в горы, я так же не верю в дно.

* * *

Снег без эпитетов, просто снег
шел со мной рядом, пока я болела,
слева направо и справа налево –
я не успела его прочитать.

Из-под неплотно захлопнутых век
падало слово, летело, белело.
В мягкое марево рушилось тело
и на снегу оставалась черта –

четкая, черная, человеческим
следом лежащая в белизне.
Тень моей рваной, бессмысленной речи.
Снег продолжался, и слышалось мне:
так лишь и пишут – непрочным на вечном.
Здесь, на земле, больше незачем, нечем.
Каждое слово стремится навстречу
этому легкому свету извне.

* * *

В новом мире, куда мы пришли
к незнакомым предметам и людям,
что себя выражают в поспешных и сбивчивых числах –
в этом мире мы будем расти, и творить, и учиться,
и построим себя, если только себя не забудем.

Кое-как продираясь вперед
сквозь призывно лепечущий глянец,
кое-как разбирая слова, что проносятся над головою,
разбазаришь впустую полжизни и даже не глянешь,
как спешит тебе вслед твое время с распискою долговою.

Но в пригоршни тоску набирая, лицо поднимая,
успевая в зрочки уместить горизонт непочатый,
ты увидишь взамен, как прорвется секунда немая
и стихи побегут по пятам, как степные волчата.



духовное наследие востока

Ахмад ДОНИШ

РЕДКОСТНЫЕ СОБЫТИЯ¹РАССКАЗ О ПУТЕШЕСТВИИ
АБУЛЬКАСИМ-БИЯ В РОССИЮ

Однажды случилось мне поехать в составе посольства в Россию вместе с Абдул-фаттахом-тура² и Абулькасим-бием. Там существует обычай – чтобы продемонстрировать могущество и величие своего государства, послов водят по собраниям и большим обществам, показывают им театры и примечательные здания, музеи и хранилища. Всем этим они гордятся.

В каждом городе есть увеселительные дома, где по вечерам до полуночи устраиваются всевозможные танцы, музыка, пение. Общество украшают красивые женщины и кудрявые красноречивцы, которые показывают различные представления и забавы. Каждый, кто хочет, присутствует там и каждому в этом собрании приготовлено место сообразно его положению. При выходе оттуда вносят плату за свое пребывание.

Там устроены также хранилища разного рода вещей, вплоть до зверей, умерших и живых, хищников и птиц, зародышей различных животных и даже образцов человеческого плода, рожденного преждевременно или выкинутого, заключенных в стеклянные сосуды со спиртом³, чтобы не разлагались.

Как-то вечером от министра пришел переводчик и пригласил нас в общество, называемое «Собрание»⁴. Мы вчетвером отправились на это увеселение. Это оказалось место, где присутствовали знатные дамы и видные русские вельможи, там было много красивых женщин, девушек с походкою павы, солдечеликих юношей со станом кипариса.

Мы вошли в высокое большое здание, отделанное позолотой, с многочисленными залами и комнатами с зеркальными дверьми, на которых висели шелковые занавеси, уставленные позолоченными креслами и диванами, золотыми, серебряными вазами и сосудами, обитыми бархатом стульями и столами. Во всех комнатах висели золотые, серебряные и хрустальные люстры, а у каждой стены стояли высокие канделябры и огромные, в рост человека, зеркала. Все стены, потолки и пол были расписаны чудесными рисунками и картинами. Там горело более тысячи восковых и стеариновых све-

¹ В основу публикации легла книга Ахмад Дониша «Путешествие из Бухары в Петербург», подготовленная Отделом востоковедения и письменного АН Таджикистана (Таджикгосиздат, 1960). Подготовка текста и комментарий Р. Хади-Заде. Перевод с таджикского М. Османова и Л. Демидчик.

² Тура – титул сыновей Бухарского эмира.

³ Речь идет, видимо, о Кунсткамере – музее, учрежденном Петром I.

⁴ Речь идет о Дворянском собрании, которое помещалось в нынешнем здании Санкт-Петербургской государственной филармонии.

чей, а в золоченых курильницах были зажжены приятные курения; от обилия огня ночь стала подобна дню.

В этом собрании мы видели, как нежные красавицы, стройные и солнцеподобные, прогуливались по залу, выступая плавно и грациозно, как пава или томная газель. Все они были одеты в шелковые одежды столь тонкие, что сквозь них просвечивало тело. Фигуры их были так стройны и изящны, что, казалось, одна не могла заслонить другую. На некоторых были тонкие черные платья и легкие цветные накидки из кружев и шелка, такие прозрачные и красивые, что трудно их описать или представить себе. Благодаря тонкости стана и прозрачности одежда стрела взгляда пронзала их от спины первой и до груди сотой, нигде не задерживаясь, будто всевышний Бог сотворил их тела из чистой воды и прозрачного стекла.

Все красавицы, одетые в черное, а ликом подобные луне.

Словно Бог поместил в черноту воду жизни.

Все искусные стрелки, для похищения сердец,

Всюду пускающие стрелы из засады луноликой красоты.

Мы ошелопились от изумления, разинув рты и широко раскрыв глаза: где мы и что с нами? Ведь когда мы шли сюда, была ночь сырая и темная, как же случилось, что сейчас день и светит солнце? От обилия огня мы не могли отличить ночь от дня, то и дело протирали глаза – происходит ли это наяву или эти чудеса и жилище фей созданы воображением?

А периликие удивлялись – как попали эти демоны в общество ангелов, как очутились дивы рядом с пери. Они с любопытством разглядывали наши лица и смеялись над нашей странной одеждой и видом. Мы же, потрясенные и оробевшие, шли вперед, не зная, куда ступить и где сесть, так как наш переводчик отстал от нас, занятый беседой с одной из красавиц. В это время моей груди коснулась хрустальная ручка, отстраняя прочь.

«Эй вы, чудовища в облике людей, вы, дикари, идите осторожнее, ведь я выступаю, как горделивая пава, не затопчите и не запачкайте своими неуклюжими ногами мой тонкий подол, что волочится по полу, как павлиний хвост».

Дрожа и кланяясь, мы отступили назад. Но тут в спину нам ткнулся кулачок другой красавицы, мол, эй невежи, постойте, осторожней, ведь моя серебряная грудь нежна, как лепесток розы, смотрите не пораньте ее шипами своей неуклюжести. Мы оглянулись растерянно, испуганно переступили, шагнули вперед и стали кланяться, как обезьяна, показывая знаками:

«Мы немые, мы коровы, приехали из степи и не знакомы с обычаями вашего города, извините нас».

Бейт:

Приехали мы из Туркестанской степи и далеки от этикета.

Если мы совершили неловкость, простите нас, о горожане.

Они шарахнулись от такого выражения извинений и стали смеяться над нашими бородами, пока не подоспел переводчик и не избавил нас от растерянности и смущения. Проводя нас к почетному месту собрания, он жестом указал на кресла, приглашая сесть. Мы молча уселись, избавленные, наконец, от тычков в грудь и спину.

В передней части этой залы было возвышение, поднимавшееся над полом на полтора газа. Его прикрывал расписной шелковый занавес, а в глубине висела большая хрустальная люстра, в которой горело более ста свечей. Там располагалась группа луноликих красавиц, разряженных удивительнейшим образом. Они садились и вставали, поглядывая из-за занавеса на зрителей, ожидая, когда все соберется, чтобы начать представление.

Над этим возвышением был полукруглый помост, поднимавшийся над полом на

два ваджаба⁵, на котором стоял большой стол с самтуром⁶. По обе стороны его горели большие свечи в золоченых подсвечниках и лежали листы с записанными на них ритмами русских и европейских мелодий.

Каждая из присутствовавших на собрании красавиц, умевшая играть, петь или знавшая какой-нибудь рассказ или забавную историю, поднималась на помост и, грациозно поклонившись собравшимся, садилась на обитый бархатом стул, стоявший перед самтуром, и наигрывала пальчиками музыкальный отрывок или пела песню. Если же она знала какую-нибудь историю, то исполняла ее стоя, стихами или в прозе, в очаровательной манере, на своем языке.

Когда присутствующие слышали чудесную песню или занимательный рассказ, свой восторг и восхищение они выражали тем, что троекратно били в ладоши: дескать, эта мелодия или рассказ понравились нам, повтори снова или сыграй другую. А солнцеликая красавица, обрадованная, но показывая смущение, с кокетливыми улыбками и ужимками раскланивалась направо и налево, так что сердца присутствующих трепетали от восторга. Тогда она исполняла другой номер, а затем, если по окончании второй вещи снова раздавались аплодисменты, начинала третий номер. В четвертый же раз, под звуки непрекращающихся рукоплесканий, она кокетливо кланялась, спускалась с помоста и садилась на свое место, а вместо нее поднималась другая красавица, пением песен и рассказыванием историй рассыпая на том помосте новое веселье.

Что касается одежды женщин той страны, то она до талии узка, а от талий до подола настолько широка, что если женщина входит в комнату, то подол остается еще в коридоре. Под поясом из шелковой ленты у них другой пояс, скрепленный из изогнутых полумесяцем тонких и эластичных костяных пластинок, которые не ломаются, когда женщина садится или встает.⁷ Этот пояс они затягивают очень туго, поэтому пластинки приподнимаются вокруг талии и поддерживают шелковые ткани платья.

Со стороны женщина похожа на золотую, украшенную жемчугом башенку, поставленную на вершину удлиненного круглого купола.

А сверху, на голову, плечи и талию, они накладывают черные, красные и голубые кружева, а у висков прикрепляют букетики искусственных цветов, которые будто только что сорваны с цветника. Росой для них служат духи и розовая вода.

К ушам они подвешивают продолговатые сверкающие серьги из алмазов, хрустала, жемчуга и золота, величиной с зернышко финика. Ночью в пламени свечей они сияли как удлиненные огненные капли или как ясный месяц, а кожа за ухом до того чиста и прозрачна, что видно, как под нею пульсирует кровь. И сверкание серьги, сочетаясь с прозрачностью ушной мочки, напоминает поставленную против зеркала свечу.

От такой красоты и великолепия рассудок покидает голову, когда они встают, и сердце замирает в груди, когда они садятся.

Пока артистки наряжаются за занавесом и готовят все для представления, собрание не начинается.

Затем раздается звонок, как бы извещающий:

«Отсутствующие, явитесь, разошедшиеся, собирайтесь: внимайте, мы покажем представление».

Занавес поднимается, перед взором предстает необъятное небо, в вышине светлый месяц на восточном или западном склоне, звезды, широкое зеленое поле, высокие деревья, горы, большие здания. А луноликие девы, принявшие облик ангелов, одни – раскинули крылья и подняли головы вверх, будто взлетают в небо, другие, с

⁵ Ваджаб – пядь. Здесь речь идет о театральной сцене.

⁶ Самтур – Ахмад Дониш имеет в виду фортепьяно. Видимо, он принял клавиатуру рояля за отдельный музыкальный инструмент, положенный на стол.

⁷ Речь идет о старинных женских платьях, видимо, о *роброне* – старинном круглом платье с фижмами, и о *кринолине* – юбке на китовом усе или стальных обручах.

опушенными крыльями, склонили головы так, словно спускаются на землю. Некоторые стоят на одной ноге, другую оттянув назад, как хвост. Их крылья подняты и раскинуты над полом, одна рука изогнута над головой, а другая направлена вниз, к земле. Было похоже, что это красавец павлин, устремившийся куда-то.

И все молча глядят друг на друга и на публику. На них тонкие легкие ткани, которые не скрывают сокровенных частей тела; шею, лицо и грудь они убрали различными украшениями, а край ворота, проходящий вокруг спины, плеч и над сосками груди, оторочен кружевами и искусственными цветами.

Воображение не в силах описать подобной красоты – что подумать об этом изяществе и грации? – принадлежат ли они человеческому существу или фее, ангелу, духу?

Через некоторое время, ненадолго опустив занавес, они снова переодеваются, и на сцене открывается другая картина – снег и град, гром и молния, ветер и дождь, гроза и землетрясение, сотрясающие здания, бушующее море, плывущие корабли, тонущие суда, уходящие под воду люди, их стоны и крики, от которых на глазах зрителей навертывались слезы, и сердце охватывало сострадание.

И снова занавес опускается, а через некоторое время, переодевшись, они появляются снова и развлекают публику танцами, музыкой и забавами, которых не в силах представить никакая фантазия. Они кружатся по сцене на одной ноге, потом, сплетя ноги, прыжком на два газа⁸ разводят их в стороны, подобно маятнику часов, только гораздо быстрее, и так же, сплетенными, опускают в такт музыке. Лучшие их танцы, на наш взгляд, те, которые в ритме «Буму-бакку-бакку-бум» или «бакку-бум-му, бакку-бумм».

Иногда в этом собрании устраивают иллюминацию и фейерверк, иногда надевают маски страшных зверей, вроде дивов, драконов и морских чудищ.

Ковер этого праздника свертывается в 12 часов ночи.

В этом собрании всюду, во всех комнатах, расставлены столы, кресла и свечи, и весь вечер подают чай, кофе, вина и напитки, горячие блюда и разные сладости.

Устроено это собрание вот для чего. В той стране нет покрывал, и знатные мужчины и дамы, девушки и юноши влюбляются друг в друга. Но привести возлюбленную домой нельзя, потому что по их закону мужчина не может взять больше одной жены, а женщина не может выйти замуж, пока не умрет муж, а развод никоим образом невозможен. Поэтому любовные отношения, которые возникают меж ними, являются преступными и запретными.

Происхождение там ведется от женщины, а не от мужчины. Так, если муж отсутствует десять лет, то каждый ребенок, откуда бы он у жены ни появился, носит имя отсутствующего мужа.

Например, некий Колзаков⁹, военный, был на 10 лет послан в Туркестан для его завоевания. Вместе с нами он вернулся в столицу императора. Он привел к нам свою жену с тремя или четырьмя детьми, трех, пяти и семи лет. На лице его сияла радость и гордость – каждого из них он считал своим ребенком.

Словом, влюбленные назначают в этом доме свидания и там находят друг друга. А если, предположим, кто-то из их знакомых тоже присутствует в этом собрании и видит влюбленных вместе, они делают вид, что ничего не замечают. Под руку, или обнявши друг друга за талию или за шею, влюбленные пары прогуливаются по дому, садятся в кресла, где захотят, что захотят, то едят и пьют...

В определенный час все выходят из собрания и отправляются по домам.

При выходе платят от пяти русских танга¹⁰, которые равны двадцати пяти нашим танга, до двадцати пяти танга, не считая платы за съеденное и выпитое. Это делается

⁸ Газ (зар) – мера длины, равная одному аршину.

⁹ Похловник Колзаков в поездке 1869-1870 гг. сопровождал Бухарских послов от Ташкента до Петербурга.

¹⁰ Танга – денежная единица в Бухарском эмирате.

для того, чтобы устроитель собрания покрыл свои расходы и постоянно обеспечивал посетителей всем необходимым. Значительная сумма отчисляется в царскую казну.

Мы вышли и также отправились к себе на квартиру.

О ПОСОЛЬСТВЕ АБДУЛЬКАДЫРА И ОПИСАНИЕ ДИКОВИНОК РУССКОГО ПРАЗДНЕСТВА

Случилось мне однажды по поручению правительства Бухары сопровождать Абдулькадыра-додхо¹¹ в столицу России в составе посольства по случаю свадьбы дочери русского императора, с соответствующими подарками и подношениями.

Нас разместили прилично нашему положению и оказали нам подобающие почести и уважение. Переводчик, кавказец Казимбек, который упоминался выше, был человек умный и красиво писал по-арабски. Благодаря общности характеров он питал симпатию к автору этих строк.

Однажды он обратился ко мне:

«Приезжал сюда посол из Кашгара. Он написал в восхваление Петербурга несколько бейтов. Я их перевел и представил царю, и тот был очень доволен. Если ты тоже сочинишь несколько бейтов, – сказал он мне, – и вставишь в них акростих с именами дочери царя и ее жениха, а также хронограмму, а я переведу их и подам царю – это принесет большую пользу вашей миссии. Потому что у царя скоро свадьба, и это ему очень понравится, и, кроме того, прелесть стиха сгладит вашу (...) неуклюжесть».

Переводчик сказал так потому, что Бухарские эмиры назначают послами людей тупых и необразованных с расчетом на то, что они не раскроют наших государственных тайн. Они говорят:

«Посол не должен уметь ответить, когда его спрашивают, а если он может, то пусть лучше сам спрашивает, но только не отвечает ни письменно, ни устно, а то, не дай Бог, противник заметит слабость нашего государства».

А ведь если следовать по такому пути, это как раз и обнаружит слабость и отсутствие порядка в государстве.

Чувствуя усталость после дороги и перемены места, я в течение двух-трех дней откладывал это дело. Каждый раз при встрече переводчик говорил мне:

– Ну, если ты уже сочинил стихотворение, дай посмотрю, что у тебя получилось.

Я подумал про себя:

«Может быть, он хочет проверить меня и вдруг найдет, что я неспособен!».

В конце концов, я спросил, как зовут жениха и невесту.

Он ответил:

– Альфред и Мари.

Мари – это сокращенное от Марьям, имя дочери русского императора, а Альфред – имя сына английской королевы Виктории¹². Вставив все эти девять букв в начале девяти бейтов акростиха, я подал ему.

Луна благородства, о дочь властелина мира,
По воле судьбы сблизилась со счастливым Юпитером.
Это – не то бракосочетание, результат которого может определить разум.
Все цвета появились из засады,
Ароматы все появились из скрытого места.
В этом собрании – целый мир гурий и пери,
Каждая по красоте и миловидности – вторая ясная Луна.
Это – не тот пир, который видят раз в сто веков
Глаза звезд со старого небосвода.

¹¹ Додхо(х) – один из высших титулов приближенных эмирского двора.

¹² Королева Великобритании Виктория (1837-1901). В 1876 году была объявлена и королевой Индии.

*Уста кравчего от рубинового вина стали рассыпать сахар,
Глаза красавиц стрелами кокетства ранили сердца.
Небо, приветствуя,
Сыплет на головы людей драгоценные камни из ярких звезд.
Молва об этой свадьбе достигла всех уголков земли,
Уши ангелов оглохли от звуков флейт и труб.
Глаза на ее стане увидели хронограмму:
Но куда же удалилась она от стана, украшенного разумом?*

Переводчик перевел акrostих и хронограмму на русский язык и представил царю. Тот похвалил его и в вознаграждение даже пожаловал мне золотой перстень с тридцатью четырьмя алмазами, весом в три мискаля, а в вечер бракосочетания пригласил нас на свадьбу и обошелся очень милостиво.

Царь повелел устроить празднество и иллюминацию в течение недели в Петербурге и трех дней в Москве.

На этом празднике были устроены такие удивительные развлечения и забавы, что мысль и разум не в силах были удержать всего в памяти.

Так, однажды вечером нас пригласили на свадебную церемонию в царскую резиденцию. Это было четырехэтажное здание в 240 газов с востока на запад и 220 газов с севера на юг, с отделанными позолотой залами, сверкающими, расписными снаружи и изнутри стенами и дверьми, а все двери зеркальные. Севернее здания – большая река¹³, которая ответвляется от Великого океана¹⁴ и течет в сторону Москвы, Самары и Макарьевской ярмарки¹⁵. Оба берега реки облицованы светлым шлифованным камнем и везде имеют ступенчатые спуски, чтобы брать воду и входить в реку. Днем и ночью по реке плывут тысячи парусных и паровых судов, которые приходят из Европы.

Через каждые 15 газов устроены лестницы высотой в 2 газа из шлифованных круглых, восьмигранных и шестигранных камней, а к лестницам прикреплены украшенные рельефами и цветами бронзовые решетки шириной в пять ваджабов для предохранения прохожих.

А через реку перекинут мост в четырнадцать пролетов, каждый пролет примерно в 20 газов. Два пролета при приближении корабля открываются, подобно створкам ворот, а как только корабль пройдет, они снова опускаются. Этот мост весь из цветного мрамора, отполированного как зеркало, и каменные плиты подогнаны так, что лишь временами видна тоненькая, как волосок, линия их соединения. Шириной мост примерно в 20 газов и разделен на четыре дороги – две для экипажей, а две для пешеходов, чтобы не сталкивались друг с другом. И каждый идет своей дорогой. С обеих сторон мост тоже защищен ажурными бронзовыми решетками.

Северной стороной здание царского дворца примыкает к реке, а с юга от него расположены, соединенные аркой, крылья здания военного ведомства и широкая просторная площадь, на которой могут маршировать и гарцевать на лошадях 50 тысяч солдат¹⁶. Невдалеке от ворот дворца воздвигнута высокая колонна из цельного куска цветного гранита, высотой в 50 аршин. Под камнем – восьмигранный бронзовый пьедестал, украшенный барельефами. На вершине колонны стоит статуя ангела, поднявшего крылья, будто в ожидании пришествия Христа, тоже из сверкающей бронзы¹⁷. В восточной части дворца, над нижним этажом – садик, где растут разные цветы и травы¹⁸. Тут зелень, проточная вода, сладкоголосые птицы. Высота садика равна высоте

¹³ Нева.

¹⁴ Имеется в виду Тихий океан. Автор ошибочно предполагает, что Нева берет свое начало из Тихого океана.

¹⁵ Торговая ярмарка, ежегодно устраиваемая в Нижнем Новгороде.

¹⁶ Автор описывает Дворцовую площадь.

¹⁷ Речь идет об Александрийской колонне.

¹⁸ Эрмитажный садик в Зимнем Дворце.

здания, (под ним помешается царская конюшня), а ширина – 25 газов. Все двери восточной части здания выходят в этот сад. Из реки в фонтан непрерывно поступает вода и снова возвращается в реку. К западу от дворца – большая улица.

Как только мы вошли во дворец, нас повели по лестнице и через лестничную галерею ввели в огромный, отделанный позолотой сверкающий зал длиной в 150 газов, шириной в 30 газов, и усадили на соответствующее место¹⁹. В этом зале четыре галереи, расположенных одна против другой и перекрытых потолком. Их поддерживали шестьдесят колонн из полированного, блестящего камня. Основания колонн – четырех и шестиугольные, капители – круглые с лепными украшениями. Посредине зала с потолка свешивается восемь хрустальных, оправленных в золото люстр. В каждой из них горит до ста свечей.

Вечером в этом зале в присутствии христианских священников, военачальников и знати города совершилось бракосочетание по обряду Христа и Марии. А ночью зал осветился огнями. Он был убран таким множеством разных цветов и зелени в вазах и корзинах, что разум немел. Все колонны до самого потолка были увиты гирляндами цветов и крученых свечей, а под самым потолком, вокруг капителей, на расстоянии ваджаба друг от друга, были прикреплены свечи в золоченых подсвечниках. В простенках меж дверьми были большие зеркала в рост человека с тройными светильниками по сторонам. Под зеркалами стояли столы, а на них тоже шестисвечные канделябры с горящими свечами. На полу было расставлено столько корзин с цветами, что казалось, будто это цветущий луг. Между ними оставался проход, чтобы можно было пройти в любой конец зала.

У одной стены зала была устроена беседка шириной и длиной в семь газов, потолок и три стены которой были увиты цветущим плющом. Дошатый пол ее возвышался над полом зала на один газ, одну стену беседки, высотой в четыре газа, образовывала стена зала, её потолок и перегородки были все в цветах и освещены огнями. В ней сидела группа музыкантов, которые все вместе играли на разных арфах, лютнях, ли-таврах и пели. Третью залы оставалась свободной – там, положив друг другу руки на шею и талию, танцевали, кружились и притапывали знатные дамы и кавалеры, все очень нарядные, в драгоценностях, в тонких белых, красных, черных и голубых платьях с цветами, с шелковыми кружевами на вороте и вокруг подола. Головы их были убраны яркими надушенными искусственными цветами. В своем плавном движении они были похожи на букеты цветов, усыпанных звездами; в пламени огней золотые, алмазные и жемчужные украшения сверкали, как звезды, а благоухание духов иссушало мозг меланхоликов. Поскольку подола у них очень широки, то слуги некоторых вельможных дам шли, поддерживая шлейф платья, чтобы он не зацепился за что-нибудь и не попал под ноги.

Тем временем сам император, в сопровождении свиты и родственников, взад и вперед прохаживался среди гостей. Раз, идя под руку с дочерью, он увидел меня и сказал:

– Я видел акростих, который ты посвятил царевне. Я очень доволен. Он очень глубок по смыслу, но жаль, что мы не знаем языка, чтобы отличить прекрасное от никудышного.

– Слова – это плоть содержания, – ответил я. – Не будет красив язык, не проявится и высокий смысл.

– Мне очень хвалили тебя, – сказал он, – как человека образованного, дважды или трижды бывавшего в этом краю. Почему же ты не научился нашему языку?

Я ответил:

– Всякий раз, как мне случается приехать в твою страну, меня день и ночь водят гулять, возят в театры и на заводы. Сердце не позволяет мне отказаться от прогулки и зрелищ и заняться изучением азбуки (то есть «Алифба»). Я думал, а вдруг мне больше

¹⁹ Торжества, о которых пишет автор, происходили в Георгиевском зале Зимнего Дворца.

не удастся побывать в этом городе и осмотреть диковинки твоего государства.

Он кивнул головой, соглашаясь со мной.

После этого всегда, прогуливаясь с дочерью по улицам – вскоре он должен был отправить ее с женихом в Европу, – он, увидев меня, показывал дочери – вот, дескать, тот человек, который сочинил тебе дифирамб. Она, улыбаясь, кланялась мне и кивала головой. Тамосний обычай приветствовать при встрече высших заключается в том, что низшие снимают шапку и обнажают голову, а высшие в ответ кивают головой, что является выражением одобрения.

Так танцевали, пели и слушали музыку до 11 часов ночи.

Затем гостей пригласили к угощению в другой зал – больший, чем первый. Вдоль зала в три ряда были расставлены столы и стулья. Столы были застелены белыми полотняными скатертями. Через каждые два газа горели золоченные канделябры, а между ними были расставлены сладости, орехи, различные красные, белые и желтые вина в хрустальных графинах, хрустальные бокалы, фарфоровые блюда со всякими фруктами, привезенными из разных краев. Между канделябрами стояли вазы с цветами. А по обе стороны стола друг против друга сидели дамы и мужчины. Каждому были поданы золотой нож, серебряная вилка и ложка, и три белых салфетки. Затем слуги стали подавать одно за другим разные кушанья в серебряных и фарфоровых сосудах. Каждый кладет то, что ему хочется, на стоящую перед ним тарелку и вкушает, запивая расставленными на столе винами, одна бутылка которых стоит до 25 русских танга. А слуга уже готов унести грязную посуду и, вымыв ее, поставить обратно.

Сам царь ходит вдоль столов и, обращаясь к гостям, приглашает:

«Кушайте на здоровье».

Устав ходить, он присаживается к тем, кто стар, слаб и грустен, и беседует с ними, стараясь подбодрить и развеселить их.

Короче говоря, в 12 часов ночи мы освободились и отправились домой.

А еще в дни императорского праздника пригласили из Парижа за сто тысяч русских танга актрису и певицу по имени Патти²⁰, которая была юна, красива и обладала прекрасным голосом. Не верилось даже, что подобный голос может принадлежать человеку, поэтому европейские ученые-анатомы ждали, когда она умрет, чтобы вскрыть ее горло, посмотреть и выяснить, в силу какой причины появился у нее такой хороший голос. В тех увеселительных домах, где она бывала, публика внимала только ее пению, не обращая внимания ни на что другое, и преподносила ей корзины с искусственными цветами, которые стоили до ста русских танга.

Вечером она наряжалась так, что разум сомневался в реальности ее существования, – а может быть, это фея или ангел, явившийся из потустороннего мира.

Когда над сценой увеселительного дома поднялся занавес, взгляду открывалось голубое чистое небо, зеленый луг на переднем плане и цветы, как плющом увившие все вокруг. Из цветов появлялась красавица в белом платье, с сияющим лицом, с обнаженными плечами и руками, и открытыми до колен ногами, с убранными драгоценностями головкой и шеей. На щеках ее сияли два ясных месяца – сам месяц был невидим за занавесом, только лучи его, отражавшиеся на лице этой розоликой, дрожали в воздухе, освещая ее с головы до ног.

Она пела, заливалась, окруженная этим великолепием, а среди зрителей не смолкали овации, они восторженно кричали и непрерывно аплодировали.

Верхние ноты ее голоса заставляли замолкнуть и соловья, и жаворонка, а на нижнем флейтовом регистре он звучал как карнай.

В перерыве, когда опускался занавес, чтобы она переоделась и отдохнула минутку, аплодисменты не прекращались до тех пор, пока она снова не выходила, грациозно кланяясь и улыбаясь, и не исполняла нового номера.

²⁰ Аделина Патти (1843-1909) – известная итальянская певица (колоратурное сопрано). Она имела выдающийся успех на сценах Европы (в том числе и в России) и Америки.

Через неделю ей вручили сто семьдесят тысяч русских танга и пригласили в Америку.

В хвалу ей мною было написано:

*Патти-парижанка, стройней кипариса, с ликом Венеры,
Улыбаясь, рассыпала устами розы к ногам.
Кудрявый локон, выющийся у уха,
Часть красоты отнимал у гиацинта.
Видеть ее доставляло такое изумительное наслаждение,
Будто она из чаши взгляда наливала вино в ладонь души.
Голос ее так мелодичен, будто в уши влюбленных
Она вливала то пенье жаворонка, то трель соловья.
Когда она отправилась из Петербурга в Америку,
Повсюду раздались стенания.*

Одной из диковинок, показанных на празднике, была иллюминация, которую устроили на льду реки, площадью примерно в 6 тысяч шагов. Из льда воздвигли здания и башни с галереями и портиками, украшенными барельефами, на каждом портике и галерее были расставлены горящие свечи в ледяных подсвечниках. Пространство в 20 танапов²¹ было превращено в цветник, где все цветы и листья были из льда. Внутрь листьев горели свечи в зеленом хрустале, а в цветах – свечи в желтом, красном и синем хрустале, вставленные в листья и цветы так, что сами свечи оставались невидимы, но свет их отражался на льду.

Это был целый мир цветов, огромный зеленый цветник – и весь из льда.

На протяжении трех часов в воздух пускали ракеты и фейерверки, закрывшие собой небо. В небе горело столько красных, желтых, белых, зеленых огней, что на земле была видна мельчайшая частица.

По этим ледяным цветникам и дворцам гуляла большая толпа мужчин и женщин, а группа людей каталась на льду и забавлялась.

Мы сидели на возвышении и наблюдали.

Это особое изобретение, принадлежавшее русским ученым, было создано во время восшествия императора, и они им очень гордились.

И еще приехал из Европы фокусник. Мы были в зрелищном доме.²²

Поставили три стола, на каждом стояли бутылки, наполовину наполненные подкрашенной водой. Он указывал на них руками и палкой и, несмотря на то, что все бутылки были на расстоянии друг от друга, вода из одной сама по себе переливалась в другую. И еще, взяв пустой хрустальный графин, он вручил его одному из зрителей и велел крепко зажать горлышко. Сам же, стоя на некотором расстоянии, показал публике несколько монет в своих руках, затем, взяв одну, подал знак в сторону графина. Исчезнув из руки, монета упала в графин, хотя горлышко его было зажато. Все услышали ее звон. Таким же образом он извлек монеты из графина.

Все были поражены.

Далее, он снял с одного шапку и показал ее публике: мол, посмотрите, в ней ничего нет. Распахнув полы костюма и, открыв рукава, он показал, что и там нет ничего. Затем, опустив руку в шапку, он вытащил охапку красных перьев, длиною в три ваджаба, какие чиновники и воины носят на голове. Потом, снова показав, что в руках и за пазухой у него ничего нет, он вынул из шапки большую хрустальную чашку, полную воды.

Все были поражены.

Далее, он свернул из бумаги три трубки, поднес их к свече и зажег. И из них выскочили три птички, вроде горлинок, которые стали летать над головами зрителей.

²¹ Танап (танаб) – земельная мера, различная в разных районах: от 1 до 5 гектара.

²² Здесь Ахмад Доини пишет о представлениях Петербургского цирка.

Потом, сняв с кого-то цветастый платок, он сжёг его на свечке, а когда владелец потребовал его, он взял другой платок, зажег его и из пламени вытащил первый.

Далее. Привели ученую собаку. На подносе были разложены разные буквы. Дрессировщик говорил:

«Найди-ка имена Зайда и Амра».²³

Собака подходила к подносу, брала в зубы одну за другой буквы и складывала их по порядку так, что можно было прочесть имена Зайда и Амра.

Вслед за этим на доске расстелили флаги разных царей Европы, Рума, Италии и Неметчины, каждый величиной в два ваджаба. На их развернутых полотнищах были нарисованы гербы. Дрессировщик говорил:

«Найди и принеси флаг царя Рума!».

Ученая собака подходила к знаменам, внимательно всматривалась и, найдя нужный флаг, зубами стаскивала его с доски.

Публика кричала «Браво!».

Так она отыскивала каждый флаг, какой требовал дрессировщик, и выносила его на середину зала.

Еще приехал из Европы наездник. Он скакал на коне по круглой площадке зрелищного дома размером в двадцать газов. На всем скаку он вытягивал ноги от хвоста до ушей коня, не держась при том руками, и так объезжал один-два круга. Или, стоя на коне одной ногою, другою и руками играл так, что мутился разум. Иногда он ехал выпрямившись во весь рост, держа за руки девушку, а ноги ее укрепив у себя на поясе.

На пути его держали обтянутые бумагой обручи.

Он стрелою пролетал через каждый из них и опять вставал прямо. Прежде, чем он успевал выпрямиться, подставляли другой обруч. Разорвав и его, он пролетал и снова садился на коня. Снова подставляли, он снова пролетал, и так несколько раз. На спине коня не было ничего кроме шелковой попоны.

Еще приехал канатный плясун. С потолка круглого купола шириною в тридцать газов свесили три веревочные петли, размером в два газа. Высота потолка – двадцать газов. Вися в одной из этих петель, он выделявал разные фокусы. Уцепившись за нее большим пальцем ноги, он опрокидывался вниз головой и переворачивался обратно, повисал на одной руке, качнув веревку, снова бросался вниз головой, как человек, ныряющий в воду. Перевернувшись несколько раз, он ловил вторую петлю и выделявал в ней тоже разные забавы, опрокидываясь так бесстрашно, что казалось – вот-вот он распластается на полу.

После нескольких головокруглительных прыжков в воздухе он ловил третью петлю, показывал несколько фокусов и переходил на балкончик. Таким же образом он возвращался обратно на первый. Потом он ходил по тонкой проволоке. В руках у него было три шара из латуни, которые он подбрасывал и ловил.

А еще там были дрессированные собаки, гончие и болонки.

Принесли лестницу. Собаки поочередно, одна за другой, поднимались по обеим сторонам лестницы и спускались вниз навстречу друг другу. Казалось, будто их привязали к лестнице. Потом поставили наклонно доску длиною в пять газов, а сверху пустили катиться деревянную бочку. Одна из собак вскочила на нее и, быстро перебирая лапками, побежала по катящейся бочке, пока та не достигла земли. При этом она ни разу не покатнулась и не нарушила равновесия.

Затем привели трех собак, которые были наряжены, как лошади, в попоны, с седлами и уздечками. Три другие, одетые чернолицыми эфиопами, сели на них верхом. У каждой в передних лапках было по две палочки, которыми они выбивали ритм русских и европейских мелодий, да так ловко, как и человек не сумеет.

По окончании каждого номера они кланялись, кивали публике головами и усажи-

²³ Арабские имена, приводимые автором условно.

вались на свои стулья или, просунув голову в ошейник, прикрепленный тесьмой к стене, ожидали приказания дрессировщика.

А большую белую лошадь научили кружиться на двух ногах и копытами отбивать такт. Она то поднимала переднюю ногу и тремя остальными делала разные движения, то кружилась с поднятой задней ногой.

На этой свадьбе показали еще столько всяких веселых и искусных забав, что удержать их все в памяти было невозможно.

Выехав по приглашению царя из Петербурга в Москву, весь путь в два фарсанга²⁴ мы проделали за четырнадцать часов.

Я описал императорское празднество в стихах, которые переведены на русский язык и напечатаны в газетах всей Европы...

Из только что приведенного рассказа об образе жизни христиан и их житейских делах некоторые простосердечные могут сделать вывод, что они на редкость радостны и счастливы, что они не знают горестей и душевных забот и живут в постоянном довольстве и благополучии. И поэтому некоторые считают, что уж если человеку суждено попасть в ад, то надо один раз пожить на этом свете в свое удовольствие.

Но это не так.

И одной десятой тех печалей и забот, которые одолевают неверных, нет у мусульман.

Пишущий эти строки во время первого путешествия тоже сначала впал в заблуждение. Поскольку взгляд мой больше был обращен на поучительное, то горе и скорбь великих и малых той страны, которые я наблюдал, казались мне незначительными по сравнению с тяготами мусульман. Позднее, поразмыслив, я установил, что у исповедующих ислам нет благополучия и покоя в этом мире, а если они есть, то у неверных, потому что те отрицают воскресение из мертвых и не верят в воздаяние. Однако и у них нет спокойствия, ибо они всегда думают о своем высоком или низком положении. Из-за этого они постоянно в печали и трепете.

Приверженцы Библии, иудеи и христиане соблюдают свою религию, но не знают сути законов Моисея и Иисуса, и вечно трепещут от страха, что кто-то нарушит заветы их религии. И это религиозный страх.

А мирская забота их состоит в том, что каждый слепо предан стоящим выше себя и чванится перед теми, кто ниже. И нет на свете никого, кто достиг бы всех желаний и стремлений, каждый обязательно стоит выше одного и ниже другого и постоянно страдает от зависти и тоски.

Например, на пиру у императора во время празднества, где собралось столько народу, что и представить себе трудно – можно сказать, что оно не уступало ни одному из пиров властителей прошлого и настоящего, и ни в единой мелочи на этом собрании нельзя было заподозрить какого-либо изъяна или недостатка – это был воплощенный рай с его гуриями и дворцами – даже здесь я видел людей расстроенными и опечаленными по той причине, что по их закону мужчинам не дозволено иметь больше одной жены, а женщины не могут получать развода и вступать в брак, пока не умрет муж. Но незаконно жена может иметь отношения с кем захочет, а муж может пойти к той, которой захочет потому, что у них нет обычая носить покрывала. Но такие отношения являются тайными.

Однако когда женщина идет и разговаривает с чужим мужчиной по улице или на базаре, в этом нет ничего неприличного и постыдного.

В этом собрании было все, что нужно для веселья, мужчины и женщины были пьяны, и каждый мужчина тянулся ко всем женщинам, а каждая женщина была влюблена в каждого мужчину. Поскольку же это собрание было царское и все было на виду, путь достижения желания был для всех закрыт, поэтому все тяжело вздыхали.

Бедно одетая жена Зайда кружилась в танце со своим некрасивым спутником,

²⁴ Фарсанг (фарсах) – расстояние, равное примерно 6-8 километрам.

печальная и расстроенная, видя, что на жене Амра наряд стоимостью в тысячу динаров, и что она танцует, обнявшись с красивым и знатным кавалером.

Башир видел, что его красавица-жена, тесно прижавшись, танцует с Халидом²⁵, и с отворачиванием передвигал ногами в паре с женой некрасивого Халида. Никто не обращал внимания на старух, женщины отвергали стариков. Старые завидовали молодым, молодые – красивым, красивые – богатству и власти. И все были охвачены тоской...

Таким образом, я не видел ни одного человека, чье сердце не терзалось бы горем, и кто не выпускал бы тяжелых вздохов. Я не встретил никого, кто был бы спокоен и беспечален, ни в торговых рядах, ни на базарах, ни в зрелишных домах.

Так, был я на большой улице Петербурга²⁶. Длина ее – фарсанг, а ширина – сорок пять газов. Здесь высятся пяти и шестизэтажные здания, отделанные позолотой. По обе стороны вдоль стен устроены возвышения, выложенные каменными плитами и поднимающиеся на один ваджаб. По ним, с обеих сторон, идут пешеходы. За возвышениями проходит дорога для экипажей шириной в десять газов. Она вымощена шестигранными деревянными торщами, чтобы повозки не так гремели. Середина дороги – на ширину двух газов – предназначенная для солдат и конных, выложена мелким булыжником. Через каждые 20 газов стоит бронзовый столб, украшенный барельефами с хрустальным фонарем наверху. Благодаря физическому соединению дыма и пара каждую ночь, до самого утра, в нем горит огонь.

Весь нижний этаж этой улицы занимают лавки и магазины, где продаются разнообразные европейские товары и ткани. В каждой лавке заготовлено столько дорогих товаров, что если закупить их на десять тысяч динаров, все равно останется так много, словно ничего не брали. Если, например, выберешь и купишь тысячу разных серебряных табакерок, то снова выставят десять тысяч других, еще лучших.

С трех часов утра до заката солнца и с вечера до полуночи по этой улице снуют пешеходы, всадники, повозки и экипажи. День и ночь здесь толпы народу, как в праздничный день, когда все идут на молитву.

Эта улица проходит прямо с востока на запад. Пешеходы и всадники, движущиеся с запада, идут по левой стороне улицы, а направляющиеся с востока – по правой стороне. И никто не толкает друг друга – это неприлично. Разговаривают со спутниками негромко, а если у кого-нибудь есть дело к человеку, проходящему по противоположной стороне, то на южной и северной стороне улицы есть постовой, которому они говорят:

«Скажи тому-то, чтобы остановился».

Постовой идет и подает тому знак.

Посреди улицы везде устроены люки, крытые чугунными решетками, куда стекает вода, когда идет дождь. Если выпадает снег, тотчас же приходят арестанты, счищают его и посыпают улицы песком, который впитывает влагу, а потом подметают большими метлами, чтобы было чисто и подола красавиц не пачкались.

Я выходил на эту улицу наблюдения ради, но видел всех там огорченными и опечаленными.

Я видел, что жена Зайда сидит с кавалером в экипаже, запряженном шестеркой лошадей, в дорогом наряде и украшениях ценой до десяти тысяч динаров, а экипаж с лошадьми стоит около десяти тысяч русских танга. В это время жена Амра правит экипажем, запряженным только парой лошадей. На шее и груди у нее украшения стоимостью в тысячу танга. Зато у нее красивый возлюбленный, а у жены Зайда невзрачный, привлечший ее силою золота. Жена Амра завидует ее экипажу, коням, наряду, а жена Зайда пылает страстью к ее кавалеру. И ясно, что обе они недовольны своим положением. Поэтому каждый день они стараются так украсить свой наряд и экипаж, что трудно себе представить. А на следующий день они наряжаются так, что вчераш-

²⁵ Арабские имена, приводимые автором условно.

²⁶ На Невском проспекте.

нее убранство кажется ничтожным. При всей пышности и великолепии убранства, их мужчины и женщины постоянно желты и бледны, страдая от зависти друг к другу. Даже в увеселительных домах они неотрывно следят за поступками, речами и поведением других, выискивая поводы для порицания и осуждения. И так было со всеми: и малыми, и большими той страны...

РАССКАЗ О ХАДЖИ И О ПОЛЬЗЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Казий Яхья, сын Бахааджа Бухарского, был однажды в путешествии спутником пишущего эти строки. И вот как-то он рассказал со слов одного путешественника:

— Я возвращался из хаджа и вместе с несколькими товарищами отправился на корабле в Индию через Индийский океан. Мы высадились в Калькутте и отправились в Каннаудж — самый отдаленный край этой страны. Я провел среди индийцев несколько дней. Не зная индийского языка, я испытывал при торговых сделках затруднения и долго пытался найти человека, знающего язык фарси, но безуспешно.

Однажды меня встретил один пешаверский купец, знавший многие языки Индии, повел к себе домой и сказал:

— Тебе не место здесь. Как только сможешь, отправляйся туда, где ты мог бы понимать язык жителей.

И он дал мне тетрадь, где были записаны индийские слова и выражения, необходимые при общении с людьми и купле-продаже. Я поблагодарил его и попросил указать мне дорогу.

— Тебе сначала следует отправиться в Джалалабад, — отвечал он, — затем — в Пешавер, и после этого — в Кабул.

Он показал мне рукой направление к этим городам, сделал много подарков и отпустил.

В пути, когда мне нужно было купить хлеба или переночевать где-нибудь, я раскрывал перед булочником или хозяином дома свою тетрадь и, перелистав ее, на услышанные мною слова давал какой-нибудь неподходящий ответ, а люди только смеялись надо мной.

Много же брани пришлось мне услышать, да и тумакими меня не раз награждали, так что даже жизнь мне опостылела. И сколько я ни пытался присоединиться к какому-нибудь каравану, идущему в Кабул или Туркестан, у меня ничего не получалось из-за незнания языка.

(Да, это действительно трудно, когда человек попадает к людям, языка которых он не знает. Это очень тягостное состояние. Поэтому в европейских школах изучают разные языки и считают знание иностранных языков обязательным.

Я сам был однажды в столице Российской империи — Петербурге. Однажды среди ночи меня разбудил шум толпы на улице. Моих товарищей не оказалось на месте. На мой вопрос ответили, что они пошли посмотреть на пожар. Я тоже, спросонья не сообразив, выскочил на улицу. Там стоял свободный извозчик, я жестами велел ему отвезти меня к месту пожара. Он тут же посадил меня в пролетку и отвез туда. Я сошел и знаками попросил извозчика подождать, чтобы доставить меня назад. Он согласился.

Я стал смотреть на горящий дом.

Множество людей фонтанами извлекали воду из моря. В руках у каждого был водяной кран, которым он прямо с земли гасил пожар на самом верхнем этаже. Я был увлечен зрелищем, но никого из своих товарищей там не встретил. Переводчика тоже со мной не было.

Спустя некоторое время я решил вернуться.

Небо заволокли тучи, пошел сильный снег, и народ стал расходиться. Я долго ис-

кал своего извозчика, но безуспешно. Наконец, я набрел на другого извозчика – юношу. Я сел и показал ему жестом:

«Гони».

А он, ничего не спросив, пустил вскачь лошадей.

Когда я ехал на пожар, была лунная ночь, и я заприметил расположение звезд. Теперь же небо было затянуто тучами, шел снег, и ничего невозможно было разобрать. Но я помнил, что сначала мы ехали на восток, а потом – на юг. Однако юноша вез меня в северном направлении и не понимал моих жестов и знаков. Время от времени останавливал лошадей и начинал говорить со мной по-русски, а я отвечал ему на фарси. Он принимался ругать меня, а я – проклинать его. Он беспрестанно требовал, чтобы я сошел, но я не соглашался, он бранился, и я тоже. Если бы я сошел, то он больше не посадил бы меня, а пешего среди ночи меня задержал бы полицейский. Я пробыл в пролетке пять часов, а за ночь выпало так много снега, что я был покрыт им с головы до ног, словно снежный ком.

В полночь извозчик бросил меня посреди улицы, вошел в какой-то двор и стал стучать, но никто не отвечал ему. А меня охватил страх, мне стало казаться, что если откроют дверь, то меня заташат внутрь, убьют и бросят в яму. А если, мерещилось мне, они заставят меня сойти с пролетки и оставят на улице, то полицейские закуют меня в кандалы.

Дверь не открылась, и отчаявшийся извозчик снова уселся на козлы, погнал вперед коней, проклиная меня. Я же, не в силах вымолвить слова, молил Бога спасти меня из этой беды и клялся, что впредь не поддамся соблазну чувств.

Не знаю, сам ли извозчик догадался, или Бог внушил ему, но он отвез меня к начальнику полиции и стал жаловаться:

– Этот человек сел в мою пролетку. Он не знает языка, и я ничего не могу понять из его слов. Я не знаю, как с ним быть и куда везти, чтобы избавиться от него.

Начальник извлек меня из-под снега и спросил что-то по-русски. Я ответил ему на своем языке:

– Этот юноша не знает дороги к дому, где я остановился. Я не знаю, как мне быть. Если он повезет меня на Большую Морскую, я сам найду дом.

А Большая Морская – это большая, красивая улица, протяженностью в две тысячи шагов с запада на восток. По сторонам ее высятся шестиэтажные дома с позолоченными подъездами.

Начальник полиции понял смысл моих слов, отругал извозчика как следует и добавил:

– Это чужестранец и, наверное, из какого-нибудь посольства. Дома их находятся вблизи императорского дворца на Большой Морской. Зачем ты кружил его по всяким переулкам? Если бы сразу отвез его туда, он пошел бы к себе, так что ты и он не знали бы забот. Немедленно отвези его на Большую Морскую, и потом ступай себе домой.

Извозчик ответил: «Сейчас!», погнал пролетку и доставил меня на Большую Морскую.

– Эх ты, осел, – сказал я ему, – наконец-то ты привез меня.

Он подвез меня к самым воротам и высадил. От радости я уплатил ему семь рублей и избавился от мук.

Если бы я хоть чуточку знал язык, то не пришлось бы мне терпеть столько неприятностей).

– И вот в один прекрасный день, – продолжал Хаджи, – устав от такого общения с людьми, я сел на паршивого осла и двинулся из этих краев в Джалалабад. Я отправился в путь без всяких припасов.

Однажды впереди показалась высокая гора. У меня не было ни спутников, ни проводника. Два европейских пистолета и указания того купца – это все, что у меня было. Когда я вышел на равнину, то забыл направление, показанное купцом. Не выяснив себе, в каком направлении идти, я пошел узкой тропой. Пройдя некоторое расстоя-

ние, я подъехал к горам. Здесь текли ручьи, росли цветы, деревья, плоды. Повсюду были родники, на лужайках красовались кипарисы и аргуваны, заливались пением птицы. Этот райский сад своими цветами почти превосходил небо, а воздух в нем своей свежестью и ароматом мог сравниться с воздухом в садах Ирема²⁷.

Воздух в тех горах был упоителен, поляны прелестны.

Повсюду – Рай, где текли ручьи,

Как в садах Ирема всюду – драгоценные камни,

Как в Раю – разные плоды.

Очувившись в таком прекрасном Раю после пребывания в мерзком аду, я забыл тяготы чужбины и свои разговоры со злыми людьми. Я сделал привал на краю родника и стал прогуливаться по лужайке; поел гранатов, винограда, орехов, наравал много и про запас.

Мой бедный осел, для которого соломинка была так же желанна, как новый месяц, попасся на тех райских лугах и набрался сил как только мог, так что его шаг стал быстрее.

Сев на осла, я ехал по склонам гор до самого вечера, проезжая много вершин и низин, временами из-за травы и цветов я не мог различить тропы, по которой я ехал, из-за ветвей развесистых деревьев я часто не мог определить, куда ехать дальше.

Перед заходом солнца я выехал на обширную поляну, покрытую травой и цветами. Повсюду текли серебристые ручьи. Вершины гор поднимались до самых небес. Я поднялся на склон горы и увидел там три валуна неподалеку друг от друга. На них была положена прозрачная каменная плита разных цветов длиной в тридцать газов. Я поднялся на нее, приготовил себе ночлег, пустил осла пасти и стал молиться Богу.

После захода солнца, когда ночь опустила над обитателями земли покрывало мрака, и мир почернел словно лица индийцев, я собрал побольше хворосту и разжег костер, так как слышал, что дикие звери не смеют приблизиться к огню.

Когда над костром поднялись языки пламени, ночь словно оделась в дневные одеяния. Я, как огнепоклонник, вертелся вокруг костра и подбрасывал сухого хворосту.

В это время мой осел под скалой протяжно заревел так, что было слышно повсюду в горах. Горы были близки, и крик его отдавался в ушах стократным эхом. От этого ужасного рева у меня затряслись поджилки.

Я подошел к краю каменной плиты, чтобы узнать, в чем дело, и увидел осла, который испуганно метался по сторонам, боясь чего-то. Я посмотрел вокруг и увидел огромного зверя, похожего на буйвола – с чёрной шерстью, широкой грудью, большой головой. Передние ноги были как у слона, глаза сверкали словно солнечный диск. В поясе зверь был тонок, он ревел и бил длинным хвостом по земле. Но он не смел приблизиться из-за огня, а за ним стадами двигались другие звери, но не подходили к нему.

При виде всего этого я словно прирос к земле. Я чуть было не свалился от страха вниз и мне удалось удержаться лишь с большим трудом.

Зверь от ярости и бешенства ослабел, прилег на землю как раз напротив и устался на нас.

Короче говоря, я провел эту ночь в страхе и в ужасе. Иногда я начинал говорить сладкие слова зверю, упрасывая его не трогать нас. Когда же над горизонтом показалось солнце, зверь оставил меня и осла и скрылся в чаще.

Я не стал мешкать, нагрузил свои пожитки на осла и хотел пуститься в путь, но, несмотря на все старания, я не смог сдвинуть с места осла. Он опустил голову к ногам и топтался на месте, не смея шагу ступить от пережитого страха. Поневоле я оставил осла и, взвалив груз себе на плечи, двинулся дальше.

²⁷ Название сказочного сада Рая.

Не прошел я и трети фарсанга, как осел вскачь догнал меня. По-видимому, ему стало страшно одному, и он решил покориться. Я продолжал свой путь по тем горам на осле. Я питался плодами и ягодами, иногда подстреливал из ружья дичь и жарил ее.

В тех местах росло одно дерево с плодами величиной с айву, по форме похожими на кувшинчик, с нежной кожицей и ядром, как пиала. Я употреблял эти плоды взамен напитка. Благостные дары в тех бескрайних горах были неисчислимы, и местность казалась мне вышним Раем, привидевшимся во сне. Но я был один, и это нагоняло на меня страх, так как я боялся хищных зверей.

Я часто спрашивал себя:

«На земле ли находится этот райский уголок, где я скитаюсь наяву?».

И вот однажды я подъехал к склону горы, где били из земли многочисленные родники. Там стояла каменная плита на четырех отполированных ножках. На ней кто-то лежал на боку, завернувшись в шелковое одеяло.

Я стал благодарить Бога за то, что Он даровал мне товарища в моем одиночестве.

Подойдя ближе, я произнес приветствие, но не услышал ответа. Я поднялся на плиту и тут увидел изваяние из камня, как живое, высеченное художником, искусным, как Мани²⁸. Я огорчился и побрел своей дорогой.

В один прекрасный день я очутился на равнине, окруженной со всех сторон высокими ветвистыми деревьями. Там росли розы, базилики, жасмины, текли ручьи. Посредине стояла высокая каменная суфа, внизу к ней был привязан осел, а рядом лежала поклажа и корзина.

Я опять обрадовался, полагая, что обрел товарища, остановился, пустил пастись своего осла и поел то, что было у меня в сумке...

Так я пробыл там три часа, ожидая возвращения владельца поклажи и осла. Но никто не появлялся, кругом не было и следа живого существа.

Я предположил, что какой-то хищник растерзал хозяина этих вещей, и открыл сумки, оставшиеся без владельца. Там оказалось сто пятьдесят золотых рупий, два европейских позолоченных пистолета, золотые часы и два мешочка: один с чаем и сахаром, другой с хлебом и вареным мясом. Я счел эти вещи дозволенными для себя²⁹.

Тут я заметил, что привязанный осел сильнее моего, взвалил на него свой груз, сел сам и двинулся в путь.

А с поляны вели три узкие дороги. Бросив своего прежнего осла, я отправился по самой широкой из них и проехал немного, но тут меня нагнал с ревом несчастный осел, который, по-видимому, боялся остаться в одиночестве.

Одним словом, я скитался по тем горам семнадцать дней и ночей и не смог найти дороги к человеческому жилью.

Я бывал во многих странах мира, но нигде не видел таких пленительных мест, и мне не раз приходила мысль поселиться в этих горах и перестать скитаться и мучиться. Но страх перед одиночеством и дикими зверьми удерживал меня и лишал решительности. За дни странствий я отгонял диких зверей выстрелами из пистолетов. На восемнадцатый день дорога прервалась, и я оказался на вершине горы, которая поднималась даже выше самых звезд и планет.

Себя я увидел на небе,

Свою голову увидел у Фарклана.³⁰

У подножия горы с севера на юг протекала река. По ту сторону ее виднелись нивы и поселения, иногда, словно муравьи, показывались земледельцы и пастухи.

²⁸ Мани – основатель манихейской религии, и, по преданию, знаменитый художник. Жил в III веке н. э.

²⁹ По мусульманскому шариату, найденные вещи, если не обнаружен их владелец, считались дозволенными их присвоить.

³⁰ Фарклан – название двух звезд, расположенных в созвездии Малой Медведицы.

Гора же возвышалась прямо, словно крепостная стена. Я сбросил оттуда камень в реку, и лишь спустя час услышал шум падения его в воду.

Я двинулся на север и долго скитался по лошинам и взгорьям, пересекаясь с одного осла на другого, пока не спустился на равнину. Там, на берегу ручья, сидел пастух, а вокруг него пасся скот. Я сделал привал неподалеку и, отдохнув немного, спросил его о Джалалабаде.

– Поселения, которые видны отсюда, – ответил он, – это окрестности Пешавера, Джалалабад же остался позади. А прибыл ты путем, по которому никто не ходит. Там обитают львы и тигры, медведи и кабаны. Всевышний Творец предохранил тебя от бед, и ты не повстречал хищников. Если бы ты шел на Пешавер через Джалалабад, то твой путь продолжался бы пятьдесят дней. Ты немного сократил и облегчил путь, избежал много опасных пустынь и гибельных долин.

Я поблагодарил Бога, простился с пастухом и направился к Пешаверу.

Вблизи города я увидел великолепный высокий дворец. У ворот в европейских одеждах выстроились хаджибы³¹ и сановники. Я погнал своего осла прямо к воротам, намереваясь въехать, но стража остановила меня и спросила:

– Эй, куда идешь?

– У меня важное и срочное дело к владельцу этого дворца.

Я предположил, что владелец дворца какой-нибудь правитель и хотел подарить ему два пистолета с позолотой, равных которым не было на свете, чтобы он определил мне пропитание и жилище, пока я буду там жить.

– Это дворец английского губернатора и наместника королевы Виктории в Пешавере, – ответили мне.

– Как раз с ним-то мне и надобно повидаться, – сказал я.

Стражники вошли во дворец, доложили и меня повели внутрь.

Я увидел обширный двор, высокий помост и стройные здания в позолоте и инкрустациях.

Английский губернатор сидел в кресле, а вокруг выстроились индийские и английские слуги.

Из круга вышел переводчик, подвел меня к губернатору и стал расспрашивать откуда я и чем занимаюсь. Начало речи я украсил славословиями губернатору, а потом продолжал:

– Я чужеземец, странник из Бухары, возвращающийся из хаджа. Во всех уголках Индии я слышал славу о твоём могуществе и щедрости и прибыл, чтобы повидать тебя и подарить два пистолета. В этом городе я никого не знаю, мне негде остановиться. Надеюсь, что ты укажешь мне место для жилья на то время, которое я пробуду здесь.

– Владеешь ли ты каким-нибудь ремеслом? – спросил он.

– Нет, если не говорить о хорошем почерке.

С этими словами я положил перед ним пистолеты.

Он взял их, несказанно обрадовался, осмотрел их со всех сторон и похвалил меня, так как пистолеты были редкостные.

– Ты привез хороший и достойный подарок, – заговорил он. – Ты путешественник, повидавший свет. Ты можешь поселиться в любой комнате во дворце, а если хочешь, мы выделим тебе комнату в медресе.

– В медресе лучше, так как там хаджибы и сановники не будут препятствовать свободному входу и выходу.

Он вызвал слугу, отдал ему приказание на своем языке, и тот вывел меня из дворца и отвел в медресе. Там он вызвал мударриса³² и мутавалли³³ и велел предоставить мне хорошую комнату. А другие слуги, меж тем, принесли для меня постель, шелко-

³¹ Хаджиб – дворцовый привратник.

³² Мударрис – преподаватель высшего конфессионального учебного заведения (медресе).

³³ Мутавалли – лицо, ведающее хозяйственными делами в медресе.

вую одежду, посуду, ковры и сказали мутавалли, чтобы мне без промедления давали за счет губернатора еду, одежду, питье – все, что понадобится.

Английский губернатор раз в два дня вызывал меня к себе для беседы и оказывал мне всяческие почести. Иногда он приглашал меня на танцы, концерты, вечера, которые трудно описать, и на которые сходились жены и дочери английской знати. Он сажал меня с собой и старался развеселить меня.

(Воистину странствие, хотя и есть частица ада, оно иногда приносит пользу)

Рассказчик продолжал:

– Однажды губернатор вызвал меня и сказал:

– Ты в этом краю – чужеземец. Чтобы не скучать и не грустить, ты должен заняться каким-либо делом.

– По милости сахиба-губернатора я провожу дни и ночи в веселии и наслаждениях.

– Если ты расположен, – продолжал он, – то переписывай для нас, когда у тебя будет свободное время, «Шах-намэ» Фирдоуси.

– Рад стараться, – был мой ответ. – Я сам жажду оказать тебе какую-нибудь услугу на память о себе, но до сих пор не дерзал сказать об этом.

Он приказал приготовить для меня письменные принадлежности, и я в течение шести месяцев переписывал для него «Шах-намэ».

После окончания работы губернатор подарил мне три дорогих платья, шестизарядное ружье с позолотой и две тысячи золотых рупий.

Спустя восемь месяцев я соскучился по близким и по родным краям, и все эти милости и благодеяния мне показались ничтожными.

Да, небосвод если даже исполняет, хотя бы два дня, прихоти человека, то четыре дня хочет устранил его и исполнять прихоти другого. Ведь в слове «давлат» («счастье») – «дав» («беги») и «лат» («удар») две равные части, два сына одной утробы.

Поскольку настала для меня пора вновь пережить бедствия, я в один прекрасный день отправился к губернатору, чтобы попросить разрешения вернуться в Туркестан и Мавераннахр. Он захотел говорить со мной наедине, позвал во внутреннюю комнату и долго уговаривал меня поселиться в тех краях.

– Если ты хочешь породниться со знатным родом, – говорил он, – то я возьму это дело на себя.

– Пусть сахиб дозволит мне, – отвечал я, – отправиться на родину, уладить там все свои дела, повидать старую мать и вновь вернуться сюда на службу, и я не стану медлить с этим делом.

Он стал расспрашивать меня о доходах и расходах Бухары:

– Сколько в самой Бухаре обрабатываемых и пригодных земель?

– С востока на запад, – отвечал я, – примерно пятнадцать фарсангов, с севера на юг – восемь фарсангов.

– А в Самарканде?

– Треть того.

– В Насафе?

– Половина того, что в Самарканде.

– Сколько войск в Бухаре? – спросил он.

– В мирное время три тысячи, в военное время около двенадцати тысяч, а если считать войска на окраинах, то двадцать тысяч.

– Каково жалование солдат?

– Двенадцать манов³⁴ зерна.

– Откуда берется зерно? – продолжал расспрашивать губернатор.

– Из поступлений ушра³⁵ и хараджа³⁶.

– Если не будет дождя и земля не даст урожая?

³⁴ Ман – мера веса, равная в Средней Азии 8-10 пудам (пуд – 16 кг).

³⁵ Ушр – буквально: одна десятая; налог, взимаемый с урожая крестьян.

³⁶ Харадж – налог, взимаемый с завоеванных владений.

- От джала³⁷, которым облагают подданных.
- А если подданные обнищают?
- Обеспечивают за счет конфискованного имущества богачей.

После этого он долго смеялся и сказал:

– В таком случае будут обижены и подданные, и воины. Если нападет сильный враг, то как отразить его и защитить страну?

– У наших границ нет ни одного сильного врага, мы сильнее всех.

– Предположим, что такой враг появится.

– Действовать, основываясь на предположениях, и пугаться всяких догадок неразумно. «Ты думай сегодня о сегодняшнем, а завтра – о завтрашнем».

– Быть беспечным и непредусмотрительным, – продолжал он, – недостойно правителя при решении государственных дел. Ведь события приходят и не предупреждают заранее, что они ослепят людей или сгонят их в могилу. Они происходят внезапно, тогда, когда не ожидаешь.

Ты посади побег, который вечно приносил бы плод счастья.

– Правление царей, – продолжал он, – зиждется на процветании страны, сытости подданных и обеспеченности воинов. Те порядки, которые ты перечислял, влекут за собой разорение сельского хозяйства; голод подданных, обнищание воинов и являются причиной лихоимства и беззакония чиновников и диванов³⁸. Такая власть не продержится долго, но если даже и продержится, то не перейдет к наследникам и потомкам, а делам государства будет причинен непоправимый ущерб.

*Шах, отобравший имущество у подданных,
Взял глину из-под фундамента и ею замазал крышу.*

– Главу такой страны, – продолжал он, – невозможно называть правителем или царем. Он просто-напросто – владыка нищих и предводитель угнетенных.

– Сколько от Бухары до Бадахшана? – перешел он снова к вопросам.

– Около восьмидесяти фарсангов.

– Кому он подчиняется?

– Он независим и лишь изредка на словах признает зависимость от Бухары.

– Почему ваши правители не покорят его?

– Да что там за земля? – ответил я. – Она ничего не родит, кроме камней.

Он рассмеялся, потер одну руку другой и снова заговорил:

– Вы поразительно неразумный народ. Основа государства зиждется на золоте, а вы утвердили ее на спине осла. Разве вы не знаете, что люди – потребители золота, а не поставщики его. Вы ищете золото не там, где его можно взять, а там, где его нужно расхотать. Бадахшан – это страна, на которую взирает блистающее солнце, это сокровишница владыки небес. Там находится четыре россыпи золота, лазури, рубинов и яхонтов. По нашему убеждению, тот, кто завладеет этой страной и ее россыпями, сравняется по богатству с четырьмя державами, а то и превзойдет их. Наши люди побывали там и основательно изучили и исследовали эти россыпи. Вернувшись, они доложили, что узбеки за долгое время непосильного труда почти ничего не добились там и удовлетворились мелкими камнями. В наших исторических книгах написано, что в давние времена в Бадахшане нашли рубин величиной в пять пядей на пять. Он находился в сокровишнице бадахшанского правителя. Китайцы проводали об этом, забросали Бадахшан метательными камнями и подожгли ночью многие селения. Жрецы и заклинатели встретились с одним китайцем и спросили:

– Какова ваша цель? Зачем вы обижаете людей?

³⁷ Джал – незаконный, принудительный налог.

³⁸ Диван – канцелярия эмира, где собирались на совещание высокопоставленные лица.

– Наш падишах, – ответил воин, – хочет рубин для своего дворца. Если хотите, чтобы мы оставили вас в покое, то положите ваш большой рубин на вершину той горы, чтобы мы забрали его.

Они так и сделали и тем спаслись.

– Ведь Индию-то мы завоевали, – продолжал губернатор, – потратив столько сил, именно для того, чтобы открыть путь к Бадахшану. Мы ведем с Россией переговоры об этих россыпях. Теперь нас отделяет от Бадахшана только одна горная цепь в три дня пути. Сейчас мы ведем подготовку для проведения дороги через эти горы. И вот сейчас, в 1298 году Хиджры, после падения Кабула³⁹, англичане прошли в Бадахшан.

Я взял у губернатора разрешение уехать, попрощался с ним и вышел.

Он сделал мне много драгоценных подарков и вручил грамоту, в которой говорилось, что я был его гостем и оказал ему услуги, что правители областей и начальники замков Индии до самого Балха должны оказывать мне почет, а в труднопроходимых и опасных местах должны давать мне проводников.

Он приказал оседлать обоих моих ослов и доброго рослого мула. Ослы мои к тому времени стали упитанными, как буйволы. Я продал их в Пешавере за сто шестидесять рупий, сел на мула и вместе с караваном прибыл в Балх.

На пути по всей Индии правители и начальники областей оказывали мне великие почести, а на прощание каждый из них давал мне сто или пятьдесят рупий.

Когда я прибыл в Туркестан, у меня было около пяти тысяч рупий наличными и товару в виде драгоценных тканей на тысячу рупий.

Перед нашим переходом через Аму-Дарью на нас девятерых напали тринадцать грабителей-туркмен. Они даровали нам жизнь, но обообрали до нитки, раздели, словно мы только что вышли из бани. Мы прикрыли свою наготу изорванными лохмотьями потников и с трудом, стеноя и плача, страдая от голода и жажды, поднимаясь и падая, в состоянии, одна мысль о котором заставляет лишиться сознания, дотащились до Керки⁴⁰ и рассказали обо всем правителю области, которого звали Шадманбек.

Он отдал приказ, и вскоре грабителей поймали, а нам принесли все наше добро. Там все было на месте, ни единая иголка не потерялась.

Мы обрадовались, все мы признали свои вещи и попросили правителя вернуть каждому свое.

– Потерпите немножко, – сказал правитель, – чтобы я мог разобраться в этом деле.

Он спросил грабителей:

– У них ли вы отобрали это имущество?

– Мы не знаем их. Мы раздели в степи группу людей, но не знаем, что это были за люди.

– Я не могу выдать вам этих вещей без свидетелей и доказательств, – заявил правитель. – Я доложу обо всем бухарскому эмиру, чтобы он принял решение.

– Мы все – свидетели друг друга! – воскликнул я.

– Вы, может статься, даете показания в свою пользу, – был его ответ.

Как мы ни упрасивали и ни умоляли его, ничего не вышло.

Я слышал, что некий великий муж

Спас овцу из лап и пасти волка.

Он ночью приложил нож к горлу,

И овца заплакала тогда:

«Ты спас меня из лап волка,

Но сам ты, в конце концов, оказался волком».

³⁹ Речь идет о войне 1878-1880 гг., когда Афганистан подпал под эгиду Англии. В результате войны сильно пострадала столица Афганистана – Кабул.

⁴⁰ Керки – в то время бекство эмирата.

Мы провели в этой злосчастной области несколько дней, надеясь получить свое имущество. Когда мы приходили к правителю, он встречал нас бранью и проклятиями. И мы, наконец, пришли к заключению, что правитель возглавляет шайку грабителей, которые просто были его верными слугами.

Путем многочисленных просьб и ходатайств мы получили от правителя по пять-шесть дирхемов на дорогу.

В Бухару мы прибыли после долгих бедствий и лишений, голодные и голые, словно нищие.

Мать моя, оказывается, уже умерла и оставила мне в наследство лачужку. Я провёл в лишениях целый год и подумал:

*В этой стране испытал я свое счастье.
Надо покинуть эту гибельную пропасть.*

Мне надо снова отправиться в Индию и избавить себя от этих тягот и бедствий.

Я тут же продал свой домик, купил на вырученные деньги коня и необходимые в пути предметы и припасы.

После долгих лишений и странствований, спустя много месяцев, пройдя не один переход, я пробрался в Индию и, как было обещано, поступил в Пешаваре на службу к губернатору; он встретил меня радушнее прежнего и стал расспрашивать меня о тяготах пути. Когда я рассказал ему всю историю от начала до конца, он пожалел меня и сказал:

– ...Тебе надо было ехать на родину через Россию, ибо это обезопасило бы тебя от всяких случайностей.

(Христиане удивительно благосклонны и расположены к мусульманам, которым чужда такая мягкость и снисходительность. К примеру, у нас к государственным мужам придет человек искусства или какой-нибудь достойный человек, то его встречают презрением и говорят:

«Чего ради он ежедневно является к нам и мешает нашим сборищам?». Христиане, наоборот, встречают такого человека раз от разу все приветливей. А если он еще обладает какими-нибудь знаниями, то они стараются использовать их.

Мне однажды пришлось побывать в столице России. Одна из знатных дам через переводчика, с которым я дружил, попросила меня составить гороскоп по одному делу.

Я несколько раз отказывался.

Наконец, она сама стала просить меня на одном собрании.

Мне ничего не оставалось, как ответить:

– В моих астрономических таблицах нет широт и долгот вашей страны. Если переводчик найдет мне карту небесного свода, я составлю гороскоп.

Она поручила переводчику раздобыть карту. И когда однажды я отлучился из своей комнаты, то по возвращении нашел на полке две карты: земного шара и небесного свода. Мне объяснили, что их принес переводчик Казимбек. Я спросил Казимбека, где он раздобыл карты, и он ответил:

– Я находился у заместителя министра Стремоухова⁴¹ и собирался уйти раньше обыкновенного. Он спросил меня, куда я иду. Я ответил: «В магазин Мозера. Надо взять карты, показать человеку из посольства и вернуть снова назад».

Стремоухов ответил на это:

«Не принято для посольства брать вещи напрокат, это позор для нашей державы. Возьми две карты за счет казны и отвези ему».

Мне нечего было подарить в ответ, и я написал в его хвалу несколько бейтов:

⁴¹ Стремоухов – директор Азиатского Департамента Министерства Иностранных дел России в конце шестидесятых и начале семидесятых годов XIX столетия.

*Стремоухов – это пробный камень для украшения знаний,
Он – в делах обладает десницей Асафа⁴².
Много людей читали мои стихи, но не дали ничего,
А он не видел моих стихов, но подарил безмерно много.
Благородные мужи дарят людям искусства золото и серебро.
А он нашёл и даровал мне науку о вселенной.
Тебе подобают не царство и богатства,
Земной шар и небо пусть подчиняются тебе.*

Когда эти стихи были переданы ему, он при каждой встрече лобызал меня и говорил: «Что бы тебе ни было нужно по части науки, говори мне, я все достану. Даже если ты напишешь из своих краев, я вышлю туда».

Я, по свойственной мне удовлетворенности тем, что у меня есть, ничего не просил у него. Если бы мной овладела алчность, то я мог бы выманить у него разных диковинных вещей на несколько тысяч танга. В нашей же стране поэты преподносят такие стихи правителям и богатым в надежде получить вознаграждение, но получают только благодарность на словах и сносят унижения)⁴³.

Но вернемся к рассказу Хаджи:

– Итак, губернатор предоставил мне место для жилья, назначил жалование и приказал переписывать книги. В его библиотеке одни каллиграфы переписывали Коран, книги по тафсиру⁴⁴ и хадисам⁴⁵, другие – исторические сочинения и сборники легенд, третьи переводили эти книги на европейские языки.

Я видел там, как много рабочих возили на подводах камни и булыжники и высыпали их в море, отвоевывали у моря газ за газом земли, строили помост и открывали на нем лавку или еще что-нибудь в этом роде. Ежедневно каждый рабочий получал пять рупий.

Видя все это, я спрашивал:

– Зачем ради одной лавки вкладывать столько труда? Какой смысл переписывать мусульманские книги на европейский лад?

– Вы..., – отвечал на это губернатор, – не сможете постичь и понять этого, если я даже стану объяснять. Мы созданы для того, чтобы благоустраивать мир, разрабатывать залежи полезных ископаемых, овладевать тайнами чудес, сокрытых в природе. Мы призваны изучать все народы мира и отличать истину от лжи. Каждый человек доказывает чистоту и истинность своей религии, и это надо исследовать. Когда же будет установлена истина, мы будем следовать ей. Многие народы на свете приобретают богатства, но не пользуются ими, и мир в результате этого пришел в упадок, а жить стало очень трудно. Разве ты не знаешь, что виноградная лоза, если не ухаживать за ней, с каждым годом будет давать все меньше ягод и, наконец, засохнет? Вы поедаете плоды лозы и ни о чем более не заботитесь, если даже корни той лозы будут съедены червями, а верхушка погибнет от мороза. Поэтому Предвечный и Пресвятой Владыка мира велел нам освободить мир-сад от невежественных садовников и очистить землю от бурьяна, мешающего земледелию, чтобы она могла приносить пользу.

И вот, спустя два года мне захотелось странствовать, и я попросил губернатора отпустить меня. Он долго отговаривал меня, но убедился, что напрасно. Поневоле он отпустил меня. Как и в прошлый раз, он выдал мне охранную грамоту, подарил несколько драгоценных вещей на память и простился со мной.

Когда я выезжал, у меня в кошельке было около тысячи рупий.

Я выехал из Индии морским путем и очутился в Египте. На этот раз я принял

⁴² Асаф – имя легендарного визиря пророка Соломона.

⁴³ Этот рассказ Ахмада Дониша о его пребывании в Петербурге отсутствует в рукописи В-716. Включен по рукописи 2012, хранившейся в рукописном фонде АН Республики Таджикистан.

⁴⁴ Тафсир – текстуальное толкование Корана. Тафсир является разделом богословской науки.

⁴⁵ Хадисы – изречения пророка Мухаммеда.

решение вернуться на родину через Россию, чтобы не подвергать себя всяким случайным опасностям.

В ожидании корабля я провел в Египте несколько дней.⁴⁶

Вместе с купцами я через Одессу прибыл в Москву. Там я за несколько дней увидел много чудес, а затем вместе с караваном прибыл в Ташкент, который входил тогда в состав Бухарского эмирата при эмире Насрулло.⁴⁷

Вскоре я в сопровождении нескольких спутников двинулся оттуда в Бухару, передвигаясь то пешком, то верхом. У меня есть сейчас триста золотых динаров, и я твердо решил, что более не поеду на чужбину, буду вести уединенную жизнь и не верстывать упущенное.

(Этот рассказ говорит о пользе путешествия, благородстве женщин и законах правления).

РАССКАЗ О ПУЧИНЕ ИСКАНДАРА И О ТОМ, КАК РАЗБОГАТЕЛ НЕКИЙ МУЖ ИЗ АДЖАМА

Рассказывал мне один знакомый, только что вернувшийся из паломничества в Мекку.

— Я видел в Хиндустане одного богатого мужа. Его могущество и влияние были за пределами человеческого воображения; более двухсот рабов и красивых невольниц ревностно прислуживали ему. Он задавал пиры и устраивал приемы, которые были не под силу индийским правителям. Сам он по происхождению был из Аджама, т.е. иранец.

Мы с ним крепко подружились, и я спросил его, как он разбогател.

— Как ты накопил эти сокровища? — расспрашивал я. — Ведь такое состояние не получают в наследство и не наживают собственным трудом. Да ведь ты и не занимался ни торговлей, ни ремеслом.

Он сделал вид, что не понимает меня, но с тех пор усилилось во мне желание узнать его жизнь, и я все настойчивей продолжал допытываться.

Однажды он ответил:

— Я пережил много горестных событий. Трудно выслушать рассказ обо всем этом, да, пожалуй, и поверить невозможно.

Я стал умолять в самых красноречивых выражениях, упрасывая его рассказать мне немного о своих приключениях, чтобы в жизни я мог следовать его примеру, и он уступил.

— В пору моей юности, — начал он, — я покинул Хорасан и отправился в Париж, чтобы разбогатеть, торгуя, и изучить французский и немецкий языки. Я пробыл там года два, изучил как следует торговое дело и стал прекрасно говорить по-французски. Ведь не зная французского языка, нельзя торговать в Европе и вести дела с ее жителями.

Оттуда я по торговым делам отправился в Лондон, где вращался в аристократических кругах, пользуясь там уважением. Дела мои пошли в гору, и я скупил на полмиллиона больших танга, каждая из которых равна пяти обычным танга, разных тканей и перепродавал их.

⁴⁶ Хаджи, в действительности, прожил в Египте несколько больше, занялся торговлей и завязал знакомство с египетскими женщинами. Описание его жизни и любовных походов порой выходит за рамки приличия и поэтому опущено нами (Ред.).

⁴⁷ По пути из Москвы в Ташкент Хаджи провел некоторое время среди казахов-кочевников. Но все это ему надоело, и он сбежал, обманув их бдительность. Эта часть рассказа также не заслуживает особого внимания, поэтому мы не приводим ее (Ред.).

Время свое я проводил в веселии и наслаждениях, удовлетворяя все свои желания и склонности.

Лондон, скажу тебе, это великий город, самый знаменитый в Европе, ее столица. Европейцы говорят, что во всем мире есть только три города: Лондон, Париж и Петербург.

Другие же города – словно селения и кишлаки, а их правители – вроде старост и мелких наместников.

В Лондоне народу больше, чем во всем Новом Свете и Петербурге, вместе взятых.

Говорят, что население Лондона в два раза превышает число населения всей Италии, на две трети – население Парижа, на четверть – всего Китая и в три раза – Греции.

Лондон следовало бы называть не городом, а целой страной. Точными подсчетами установлено, что там каждые восемь минут умирает человек и каждые пять рождается новый.

В течение двадцати лет население Лондона увеличилось на восемьсот тысяч человек, несмотря на то, что каждый год оттуда эмигрировало более трехсот тысяч человек.

Согласно подсчетам, в Лондоне каждый день потребляют алкогольные напитки, вроде водки, рома и прочих, свыше ста сорока тысяч человек.

Там живет более ста тысяч незамужних женщин, которые проводят свою жизнь в бездельи и разврате.

В Лондоне имеется тридцать тысяч воров-карманников и десять тысяч кабаков, где каждый день предается пьянству более полумиллиона человек. На девятьсот человек в Лондоне приходится один умалишенный.

Согласно подсчетам, в Лондоне один булочник приходится на тысячу двести шесть, один мясник – на тысячу пятьсот пятьдесят три, один бакалейщик – на тысячу восемьсот, один мухтасиб⁴⁸ на шесть тысяч восемьдесят восемь жителей.

Короче говоря, в Лондоне – столице Англии – живет, по подсчетам статистиков, в общей сложности, 2,5 миллиона человек, простых и знатных, богатых и бедных, старых и юных.

Он продолжал:

– В один прекрасный день группа известных купцов и предпринимателей, а среди них и я, отправилась в море на парусных кораблях и пароходах. Одни хотели просто совершить морское путешествие, другие везли в Калькутту и другие города Индии большие партии различных товаров.

Надо сказать, что Лондон расположен на северо-западе, а Калькутта – на юго-востоке, и между ними лежит расстояние, по крайней мере, в девяносто градусов, для преодоления которого, при средней скорости и со стоянками, требуется восемнадцать месяцев.

Мы плыли морем иногда по десять-пятнадцать дней, иногда по целому месяцу, сходили в портах, расположенных во владениях европейских стран или Индии, торговали там несколько дней и снова пускались в плавание.

Однажды в океане поднялся попутный ветер, и капитан корабля, слепой европеец, большой знаток морского дела, сказал:

– Надо пересечь на парусный корабль, ибо ветер попутный, а пароходу дать отдохнуть, чтобы он мог служить нам и впредь в нашем плаваннии.

Каждый час он спрашивал о направлении корабля у своих подручных, которые находились на верхней части палубы.

Через определенные промежутки времени он опускал на дно моря канат с прикрепленным на конце куском олова, которое покрывалось илом. Вытащив его, ученый пробовал ил на вкус и таким образом определял, где находится корабль.

⁴⁸ Мухтасиб – ответственное лицо, которое должно было стоять на страже закона, способствующего добру и преследующего зло. Он наблюдал также за исполнением религиозных предписаний.

Двое суток мы плыли так по направлению к южному полюсу.

На третий день корабль стало бросать из стороны в сторону, и моряки пришли в замешательство, ибо ветер дул с разных сторон и в разных направлениях. Казалось, какой-то магнит притягивает к себе корабль.

Мы быстро пересели на пароход.

Как ни пытался капитан повернуть корабль на восток или север, он все равно двигался только в южном направлении. А капитан в это время пробовал ил с морского дна, но его канат часто не доходил до дна океана, хотя в нем было пятьсот газдов длины. Тогда он стал рвать на себе волосы и бить по голове.

— Мы по своей беспечности сильно отклонились от пути! — сказал он. — Мы оказались в местах, где никогда не бывал ни один корабль. Ветер, который мы приняли за попутный, был ничем иным, как ураганом, поразившим племя Ада⁴⁹. Он свергнет нас в гибель!

Говоря это, он вздыхал и рвал на себе ворот. От его горестных криков тревога охватила всех на корабле, и мы все словно прилипли к месту.

Мы стали умолять капитана:

— Ради Бога, объясни вразумительно, куда несет наш корабль, чем это все кончится, как нам быть?

— В книгах написано, — ответил он, — что в океане, близ южного полюса, на расстоянии пятидесяти градусов от экватора, имеется пучина, которая притягивает к себе корабли с расстояния месячного пути. А вблизи нее находится гора, которая выступает из океана, словно огромный маяк. Их называют Пучиной Искандара и Маяком Искандара, так как никто, кроме него, не достигал тех мест, а если и достигал, то не возвращался. И кто бы из моряков ни оказался в той пучине, он не возвращался назад и погружался в прах водным путем, и никто более не видел его.

От этих слов нас охватил страх и ужас, мы стали громко рыдать и плакать, чуть было не умерли, или же от растерянности чуть не попадали в море.

Учёный тоже рыдал и говорил:

— Стенаниями и жалобами судьбы не одолеть, нам осталось только терпеть и уповать на милость Бога.

*С судьбой невозможно сражаться,
Поэтому невозможно что-либо предпринять.*

— Пока ты предпримешь что-либо, дела станут еще хуже, — продолжал он, — у вас провианта больше чем на целый год. Расходуйте его с умом и предусмотрительно, не теряйте надежды. Если Всевидящий Творец захочет, Он укажет вам путь к спасению. В противном же случае готовьтесь к смерти, ибо невозможно противостоять судьбе и предначертанного не избежать.

Выслушав эту речь, мы немного успокоились, прикинули, сколько у нас припасов и воды.

Капитан был человек мудрый, призвал нас к спокойствию и терпению; он рассказывал удивительные истории о тех, кто попадал в беду и потом спасался.

Утешая нас, он говорил:

— Многие мужи, сначала потеряв надежду, потом спасались из когтей диких зверей, из пучины и гибельных пропастей, от разбойников. И, быть может, милость Всевышнего Бога выведет нас из этой гибельной и опасной пучины и дарует нам жизнь.

Корабль наш тем временем с каждым часом плыл все быстрее, словно выпущенная из лука стрела. А мы от страха за свою жизнь прилипли к мачтам корабля, словно черви.

⁴⁹ Ада — имя внука Ноя. По религиозному преданию, племя Ада было стерто с лица земли в результате невиданно сильной бури.

Десять дней и ночей мы барахтались так в ожидании смерти и вдруг увидели на расстоянии одного морского фарсанга огромный, величиной с большой водоем, водоворот, который втягивал в себя все, что попадалось.

Так как корабль наш был громадный и к тому же вел на буксире несколько других кораблей, водоворот не мог их втянуть в себя разом.

Корабли, и мы вместе с ними, кружились вокруг водоворота, словно циркуль, иногда от силы притяжения углубления, похожего на драконью пасть, мы вплотную подходили к водовороту, ежеминутно готовясь к смерти, страшая оказаться в пасти морских чудовищ и погрузиться водным путем в прах.

По бушующим волнам океана, под сильным ветром, мы, как огненный круг от вращающегося факела, кружили вокруг бездонного водоворота, спасаясь от его губительной пасти.

Этот водоворот был чудовищем, способным проглотить целый мир, а его поведение напоминало повадки дракона, который изрыгал проглоченные куски, чтобы лучше измельчить их.

Так и водоворот проглотил нескольких наших кораблей и лодок, разбив их вдребезги. Остался лишь один наш корабль, который вот-вот готов был разлететься под ударами волн.

Так прошло три дня – да не попадет никто в такое положение – и, наконец, поднялся сильный ветер. Хотя он и спас нас, в то время мы восприняли его как смерть и распрощались с надеждой на жизнь.

Весь мир вокруг был во мраке от пенящейся воды, и корабль наш уже готов был затонуть, мы же зывали к Богу.

Когда от нашего корабля оторвались привязанные к нему суда, он стал легче и в какое-то мгновение был, словно плевок, выброшен к подножию горы.

Мы возблагодарили Бога за то, что на этот раз не утонули и спаслись от смерти.

Словно обретя вновь жизнь, мы старательно приготовили пищу и наелись досыта, ибо уже много дней ничего не ели.

У подножия той горы было бесчисленное множество кораблей, разбитых, истлевших, разнесенных на куски. Из восемнадцати человек наших друзей двенадцать умерли до того дня, и нас осталось всего шесть человек, не считая капитана и моряков. Из них также утонуло несколько человек. Те, кто по жадности расстался с нашим кораблем, вместе со своими товарами отошел в иной мир, так как цепи, которыми были привязаны другие суда к нашему, истёрлись и разорвались под ударами бушующих волн.

Поев и отдохнув, мы стали осматривать обломки разбившихся кораблей.

Мы заглянули во все уголки, куда только могла ступить нога человека. На одних кораблях люди превратились в груды костей, и мы заплакали, узрев то, что постигло их. В одних ящиках лежали истлевшие драгоценные ткани, в других – камни, золотые и серебряные монеты, в третьих – упакованные продукты, которые давно уже гнили.

Одним словом, на кораблях лежали груды товаров.

То, что было сверху, сохранилось сравнительно неплохо. Среди этих кораблей оказался один малоповрежденный.

Мы взошли на него и нашли в одной из кают трех людей. Двое из них были уже мертвы, а один еле дышал. Мы сообщили об этом капитану-европейцу. Он обрадовался, отправился к ним, потрогал у каждого пульс и заявил:

– Да, двое уже скончались.

Для третьего же он велел приготовить кое-что поесть и вливать это ему в рот по каплям.

Спустя три часа тот пришел в себя, и вот что он рассказал в ответ на расспросы капитана:

– Нас было несколько человек. Мы отправились морем из Хиндустана по торго-

вым делам. В один прекрасный день встречный ветер занес нас в эти края. Нас было семнадцать человек, провизии у нас было более чем достаточно. Но одни умерли от страха, другие – своей смертью, и осталось нас трое. Мы заболели здесь от губительных испарений, перестали есть, и двое умерли, остался лишь я один.

По его рассказу выходило, что прошло семь лет с начала их путешествия, и мы спросили, чем же они питались.

– У нас были кое-какие продукты, – отвечал он, – а потом, очутившись в этих гибельных местах, рядом с бездонной пучиной, мы подобрали все, что оставалось от других людей. На этих кораблях и сейчас еще можно найти припасов на несколько лет.

Мы расспрашивали дальше, и он продолжал:

– В этих морях ураганы часто сбивают корабли с их пути, и люди проводят на воде годы. Или же волны выбрасывают их на какой-нибудь необитаемый остров, где нечем питаться. Поэтому всякий, кто собирается пересечь океан, берет с собой запасы на несколько лет.

Наш капитан сказал ему:

– Ты уже давно здесь около пучины. Пробовал ли ты спастись и уехать отсюда?

– Эта пучина, – ответил он, – подобна Азраилу. Разве спасется человек, попавший в лапы к Азраилу? Она – словно вход в могилу, прорытый водой. И может ли человек питать надежду вырваться отсюда?

Сказав это, он заплакал, и мы последовали его примеру.

Воистину, предвестие смерти страшнее смерти.

Капитан при этом добавил:

– Он говорит правду – отсюда до суши очень далеко.

И он показал нам признаки близости южного полюса. А вечером он произвел измерения и сказал:

– Южный полюс отстоит от нас приблизительно на шестьдесят градусов. Да, воля и умение человека проявляются там, куда ступает нога человека и где он бывает. Здесь же можно найти спасение только в смерти, иного пути нет.

Слепой капитан обратился к незнакомцу:

– Когда ты проводил здесь в отчаянии свои дни и ночи, с надеждой взирая по сторонам, видел ли ты какое-либо живое существо в воздухе или на воде? Удивили ли тебя какие-либо явления на море?

– Да, – ответил тот, – по ночам я замечал много признаков существования морских животных. То было слышно что-то вроде молитв и песнопений, то море, словно светильник, переливалось огнями от глаз рыб, сверкавших во время их игр при лунном свете.

В воздухе же, кроме звезд и светил, ничего не было видно.

– Так бывает во всем океане, – перебил ученый. – Продолжай.

– Раз в году, – продолжал тот свой рассказ, – в пучине появляется огромное чудовище. Оно проводит здесь не больше двух-трех дней и потом уплывает. Когда оно плывет, то морская вода вздымается целыми горами, а когда уплывает, можно видеть морское дно. Большинство этих кораблей потерпело крушение от поднятых им волн. Оно настолько велико, что покрывает, кажется, всю эту пучину, которая растянулась почти на целый фарсанг, так что пучина успокаивается. Через несколько часов после отплытия этого чудовища пучина снова начинает бурлить, океан же затихает.

Выслушав его, капитан приказал нам:

– Ступайте и принесите все железные предметы – цепи, гвозди, которые найдете на кораблях.

Среди нас и его подчиненных были астроном, кузнец, лекарь и хирург. За три дня мы набрали груды всяких железных предметов, гвоздей, цепей.

Тогда капитан спросил того потерпевшего:

– В какое время чудовище приплывает в пучину?

– Когда солнце находится на краю южного знака Зодиака, который стоит здесь в зените. Определите сами, где сейчас находится солнце.

Ученый спросил у астронома и получил ответ:

– Согласно календарю солнце находится в центре знака Весов.

Тогда ученый велел кузнецу выковать цепи длиной от трехсот до пятисот газдов и острые гвозди с кольцами вместо головок длиной в локоть.

Словом, до тех пор, пока солнце не перешло в зенит, мы собирали железные предметы, а кузнец изготовлял цепи. Но мы не понимали – для чего все это делается, и говорили друг другу:

– Этот слепец-капитан устроил кузню у самого моря. Может быть, он хочет привязать этими цепями корабль к горе, чтобы остаться здесь навсегда?

Тем временем мы перетаскивали с других кораблей на свой все съестные припасы, которые еще были годны, и починили хорошенько свой корабль.

Настало время появления чудовища.

Тут капитан приказал:

– Следите внимательно. Когда чудовище уляжется над пучиной, и вода перестанет бушевать, проденьте цепи в гвозди, садитесь в лодки, подплывите к нему и крепко-накрепко вбейте гвозди в его тело. И тогда, быть может, корабль сумеет выбраться отсюда. А когда мы уплывем от водоворота, мы разорвем цепи и пустим корабль в желаемом направлении.

И только тогда мы уразумели его намерение.

Цепи ковались такие длинные, чтобы наш корабль не потонул, если чудовище погрузится в морские глубины.

Итак, когда солнце достигло зенита, что соответствует началу зодиакального знака Козерога, море стало бушевать еще больше, и мы привязали свой корабль к другим разбитым кораблям, чтобы он мог устоять против морских бурь.

Наконец, мы увидели приметы этого чудовища: волны стали вздыматься, словно горы, грохот моря и шум воды оглушал нас, среди брызг и наступившего мрака не было видно ни зги. Наш корабль трепетал на волнах, словно пена, то подскакивая вверх, то низвергаясь вниз, а мы прилипли к мачтам и парусным канатам.

Спустя сутки море утихло, и мы увидели, что из пучины поднимается округлая гора, а чудовище спокойно дышит. С каждым вдохом чудовища уровень моря опускался на высоту целого копыа, а после выдоха вновь поднимался.

Тут мы поняли, что морская пучина оказалась пленницей пасти чудовища.

Мы по указанию капитана взяли гвозди, сели в лодки, подплыли к нему и стали вбивать их, где только могли. Но чудовище и не почувствовало, как мы вколачивали молотами гвозди в его тело.

Спустя три дня чудовище захотело двинуться в обратный путь, и мы отцепили свой корабль от других, привязали к нему еще один и погрузили туда все, что нам было нужно. Мы заклепали и законопатили борта корабля и вручили свои жизни милости истинного Творца.

Чудовище потащило наш корабль. Одним движением оно тянуло нас на расстояние трехдневного пути. Когда чудовище погружалось в море, наш корабль плыл спокойно, а когда оно всплывало на поверхность, нам казалось, что настал всемирный потоп, и мы прощались с жизнью.

Под ударом поднятых чудовищем волн наш корабль был подобен человеку, застигнутому ливнем в степи.

Спустя три дня матросы на палубе закричали:

– Земля! Видим высокую гору, а в небе над ней – птиц!

Капитан, услышав эту весть, сказал:

– Если корабль будет приближаться к горе, то не препятствуйте. А если он будет удаляться от горы, то разорвите цепи, чтобы плыть по своему усмотрению.

Чудовище в это самое время плыло по поверхности. Казалось, что оно не может погрузиться в воду из-за малой глубины. А наш корабль бросало из стороны в сторону, он, как буй, то всплывал на гребни волн, то плыл под валами, треща от ударов.

А у нас на корабле было не то пять, не то шесть одноместных лодок, запасенных по совету капитана на всякий случай.

Когда мы подплыли к горе вплотную, чудовище переменяло направление.

Волны были огромные, море бушевало, и мы не смогли ни сойти с корабля, ни оторвать цепи. Корабль устремился прямо на скалу и разбился вдребезги. Часть остова корабля вместе с цепями уплыла вместе с чудовищем.

В страхе перед смертью я ухватился за лодку, потом с большим трудом вынырнул на поверхность, подплыл к основанию горы.

Целый час я пролежал там без сознания.

Из моих друзей спаслись лишь двое: один уцепился за лодку, другой – за доску. Что же стало с другими, я не знаю.

Мы укрыли свои лодки и пошли осматривать гору. Долго скитались мы по скалам и ущельям, но нигде не было ни травинки, ни живого существа, повсюду были лишь жемчуга и драгоценные камни: рубины, алмазы, хризолиты, изумруды.

Склон горы из-за разноцветных камней казался зеленой лужайкой, поросшей цветами, – а он занимал площадь в квадратный фарсанг.

Ущелья и пещеры также были наполнены камнями и походили на арки, инкрустированные жемчугами. Выемки были полны драгоценными камнями. Тут были камни величиной с кувшин, газа два в длину и ширину.

Я знал цену камням и набрал их восемь пудов.

Друзья же мои не разбирались в этом и, не желая утруждать себя, взяли немного.

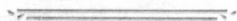
Поскольку остров был пустынный, мы поспешно собрались и отправились по морю к северу. Два дня спустя мы достигли какого-то зеленого и цветущего берега. Здесь росли душистые травы со съедобными сладкими корнями, кусты с ягодами.

Мы пополнили свои запасы и поплыли дальше.

Спустя пятнадцать дней, повидав на своем пути много чудес, мы прибыли к берегам материка.

Отдохнув несколько дней после тяжких скитаний по морю, я продал часть привезенных камней и отправился с товарами в Калькутту. Здесь я и обосновался. А спутники мои отправились по своим домам.

За ту часть камней, которую я продал, я получил девяносто тысяч золотых рупий и купил на них все эти богатства и имения. Остальные камни так и лежат у меня нетронутыми. Все мои сокровища и могущество происходят от них. Со всех концов Индии ко мне стекаются купцы и, совершив торговые сделки, уходят...



литературные беседы

Маниах — уроженец Самарканда

Богатая событиями и личностями история азиатских государств часто воодушевляла российских литераторов на создание новых произведений. Однако популярными становились только те книги, авторы которых смогли в полной мере проникнуть в мало знакомую нам среду, понять иной менталитет, раскрыть особенности и тонкости другого образа жизни.

Успех трех романов Мастера Чэня (на самом деле это — псевдоним вполне себе русского человека Дмитрия КОСЫРЕВА), сразу ставших бестселлерами, свидетельствует о том, что ему это удалось в полной мере.

Образование Дмитрий Косырев получил не только в Москве, окончив Институт стран Азии и Африки при МГУ, но и в Наньянском университете (Сингапур), потом он много работал в странах Юго-Восточной Азии в качестве журналиста-международника.

Косырев блестяще знает этот регион и не скрывает своей любви и величайшего почитания истории, обычаев, культуры народов, его населяющих. Собственно, это и не вызывает сомнений, достаточно прочитать его книги. Порою кажется, что автор не наш современник, а человек, живший в VIII веке, в древнем Китае («Любимая мартышка дома Тан»¹, «Любимый ястреб дома Аббаса»).

В его романах так много деталей, подробностей, которые невозможно передать столь точно, живя в XXI веке.

— Дмитрий, вот что интересно — романы, действие в которых происходит то в Китае VIII века, то в колониальной Малайе 29-го года прошлого столетия («Амалия. Белое видение»), написаны изысканным русским языком, но в них нет никаких сюжетных завязок на Россию, ни одного персонажа, хотя бы отдаленно имеющего к ней отношение. Почему? Соответствует ли псевдониму Мастер Чэнь?

— Я пишу о том, что знаю, возможно, как никто другой. Или — дело в другом: те, кто это тоже знают, не пишут романов. Возможно, я просто появился в литературе вовремя — ну, с небольшим опережением. Лет 10-15 назад трудно было бы себе представить вот такого русского писателя: пишет четвертую книгу, а о России в почти ничего. И, как ни странно, читатели и критики воспринимают это совершенно нормально.

Никто не спросил: а это вообще российская ли литература?

— У вас очень быстро образовалась целая армия поклонников, книги стали популярны. Безусловно, на это повлияли и яркий язык, и увлекательный детективный сюжет... Народ любит детективы, но поставить в этот ряд ваши, как вы их определили, авантурные романы невозможно. В них столько описаний нравов, обычаев, деталей одежды, архитектурных особенностей, мельчайших подробностей быта, в какой бы эпохе ни происходило действие. Можно только удивляться вашим знанием предмета. С чем, по-вашему, связан успех ваших книг, где все происходит не у нас, не с нами и очень давно?

— Думаю, это еще и оттого, что возникла волна интереса к Азии и вообще к миру, и я

¹ Одну из первых, с любезного согласия автора, публикаций этого романа — см. «Звезда Востока» №№ 1-4, 2007 год.

в нее попал. Все-таки важно и то, что это — шпионские романы. Такие книги должны быть легкими, увлекающими, они должны доставлять удовольствие. Ну и рассказывать о всяких интересных вещах. Но есть нечто поважнее. Все мои книги говорят о том, что различия между народами это, прежде всего, — источник удовольствия от их познания. Возможно, я избавляю читателей от страха. Страх перед другими народами идет именно от незнания. Если знаешь и понимаешь, то страх уходит. Он уступает место желанию увидеть, попробовать, насладиться.

— Вероятно, кое-кто опасается нового возрождения Китая, который уже практически вышел на позиции мирового лидера? По последним данным, Китай уже на третьем месте в рейтинге крупнейших экономик мира, он даже обошел Германию.

— К счастью, не все. Китай — страна, которую завоевывали многие, и которая сама не завоевывала почти ничего. Китай завоевывали монголы — и присоединили Тибет. Китай завоевывали манчжуры — и присоединили Манчжурию. Это умная страна, а умные менее опасны. Ее надо просто знать, с хорошими и плохими сторонами, и тогда никакого страха не будет.

— Вы — профессиональный китаевед, так?

— Одна ветвь моей семьи — из Ташкента. И эти края — тоже часть моей жизни, так же, как Китай и другие страны Азии, о которых я пишу. Все это — прекрасный мир, и мои читатели стоят того, чтобы к нему прикоснуться.

— Случайно или нет ваши главные персонажи — герой первых двух романов Маниах и героиня третьей книги Амалия де Соза — не имеют конкретной национальности, они скорее «смешанных кровей», евразийцы?

— Не совсем так. Маниах — уроженец Самарканда, сегодня он был бы узбеком или таджиком. Все мои герои евразийцы, прежде всего, по взглядам и образу жизни. Все они — хорошо образованные люди, потому что без этого мир не узнаешь и не поймешь. Маниах — человек, живущий в серединной части тогдашнего мира, а он представлял собой некое коромысло: две великие империи, византийская и китайская, а между

ними — длинный торговый путь, тот самый, Шелковый. Индия, арабская империя — были только частностями. Города нынешней Центральной Азии в ту эпоху жили и процветали благодаря своему месту в «центре мира», через который проходили ключевые торговые потоки. Так вот, Маниах — человек, для которого равно привлекательны все культуры — и китайская, и византийская, и своя.

Амалия де Соза, родившаяся в Малайе, португалка с примесью местной крови, точно так же расположена ко всем культурам своего замечательного города Джорджтауна, где жили люди минимум четырех культур — да и сейчас живут. Амалия — человек смешанной крови, таких англичане именовали «евразийцами».

Оба героя — не абстракция, а люди вполне реальные.

Недавно я оказался на центральной площади Куала-Лумпура, куда ездил собирать материалы для четвертой книги (она, главным образом, о Китае, хотя действие будет проходить в Британской Малайе). Так вот на площади начинался парад в честь провозглашения того города, который я описал в «Амалии и Белом видении», — Джорджтауна, города-памятника, внесенного в список ЮНЕСКО. В параде участвовали дети всех народов — малайцы, китайцы, индийцы. И вдруг прямо передо мной начал разгружаться целый автобус «Амалий» — португалок с добавками малайской и прочей крови. И придумывать ничего не надо, а просто — взять из жизни.

— Но такие герои необычны. И не только для русской литературы...

— Они мне удобны, чтобы их глазами видеть мир как бы нейтрально. Но сегодня именно такие люди стали, можно сказать, героями дня. Мир меняется, и в нем лучше себя чувствуют те, кто ощущает себя людьми многих культур. Ну, а когда появился новый президент США Обама — тут и вообще все стало ясно. Типичная Амалия де Соза, человек наполовину европейский, наполовину африканский.

— Это результат процессов ассимиляции, интеграции, наконец, глобализации?

— Глобализацию, конечно, придумал не Клинтон, как считается. История Великого Шелкового пути — это и есть глобализация. История Ирана, великой империи, о которой рассказывается у меня в «Любимом

ястребе дома Аббаса» – тоже история интеграции культур.

Вообще нельзя представлять себе мир как несколько изолированных и неизменных цивилизаций, которые «цапаются» между собой, меряются силами. Народы всегда общались. Если говорить о двух моих «самаркандских» романах, то это было время, когда китайцы восторгались всем западным, а западом для них были Индия и нынешняя Центральная Азия. Заимствовали там все, что могли.

Но именно поэтому китайская цивилизация в тот момент и была великой.

Эпоха Тан отмечается величайшим подъемом китайской культуры.

И сегодня китайцы в той же стадии цикла – с удовольствием впитывают все, что можно взять из других культур, но от этого в меньшей степени китайцами не становится. Думаю, это происходит сейчас и с народами Центральной Азии – а значит, они переживают момент взлета своей цивилизации. Посмотрите на Казахстан, страну-чудо. Меня это не очень удивляет, потому что в 1989 году, когда я был собственным корреспондентом «Правды» в Маниле, туда приехал премьер одной советской республики, звали его Нурсултан Назарбаев. Я с удовольствием повозил его по улицам и понял, что этот человек очень серьезно изучает, как Азия добилась уже тогда очевидных успехов. Потом он начал это делать сам – и все получилось. И у других тоже получится.

– Некоторые высказываются в том смысле, что ШОС – это возрожденная идея Шелкового пути.

– Да, это – идея, возрождающая бывшее значение региона. Я написал достаточно много комментариев и корреспонденций о ШОС. Эту организацию создавали, среди прочих людей, мои друзья и коллеги. И сейчас они – среди тех, кто отвечает в разных российских ведомствах за шосовское направление работы. Все это время я как бы

стою рядом с процессом. Возможно, поэтому у меня в книгах постоянно присутствует то мировоззрение, которое лежит в основе философии ШОС. А именно – взгляд на Азию, особенно на Центральную, как на регион, открытый всем культурам и всем народам. Никто и никогда не сможет сделать этот регион зоной своего исключительного влияния. Потому что для живущих там народов это неестественно. Их исторический опыт подсказывает другое: процветание приходит при открытости миру. Для этого и есть ШОС.

– Последняя ваша книга – о Британской империи. Это тоже о глобализации?

– Колониализм Британской империи, который я описываю в третьем романе – это более сложное явление. Англичане думали, что они несут свою цивилизацию азиатам. А в итоге получилось нечто иное – множество азиатских реалий вошло в жизнь англичан. Они до сих пор в восторге от Индии. Пройдитесь по Лондону, и вы все это увидите. Британская империя – да, это тоже эпизод глобализации, скрещение народов и культур. Причем империя ушла, а глобализация осталась.

– А высокомерие Запада к Азии – разве оно ушло? И сегодня от американцев можно слышать, что Азия ждет их лидерства.

– Это уходит. Америка попыталась подхватить идеологию Британской империи, чуть-чуть ее изменив, и тоже провалилась. В целом европейцы и американцы уже понимают, хотя вслух не всегда признают, что Азия вернула себе свою изначальную роль колыбели всех цивилизаций. Мир вернулся в нормальное русло. Пришел век взаимного наслаждения разностью людей и культур. Мне просто повезло, что я, благодаря своей судьбе, оказался к нему готов. И теперь передаю свой приятный опыт читателям.

С писателем беседовала журналист
Татьяна КОРОТКОВА.

Опубликовано на интернет-сайте
ИнфоШОС

архивы и воспоминания

Анна-Карлотта ЛЕФФЛЕР,
герцогиня ди-КАЙЯНЕЛЛО

Душа из пламени и дум

Софья Ковалевская.

Что я пережила с ней, и что она рассказала мне о себе

НА СМЕРТЬ С. КОВАЛЕВСКОЙ¹

Душа из пламени и дум!
Пристал ли твой корабль воздушный
К стране, куда парил твой ум,
Призыву истины послушный?
В тот звездный мир так часто ты
На крыльях мысли улеталя,
Когда, уйдя в свои мечты,
О мирозданье размышляла;
Когда, в вечерней тишине,
В глубь неба взор твой погружался
И в темно-синей вышине
Кольцом Сатурна любовался.

В тех сферах – числа, функций ряд
Иному следуя порядку,
Тебе, быть может, разрешат
Бессмертья вечную загадку...

Ты преломленье сзетовых
Лучей на призме наблюдала:
Какими там ты видишь их,
Уродника их и начала?

Со светлой звездной высоты,
С участием в просветленном взоре,
Ты смотришь в бездну темноты
На землю, на земное горе.

¹ Эти стихи, написанные братом моим Фрицем Леффлером по случаю смерти Софьи Ковалевской, так хорошо, как мне кажется, характеризуют ее, что я привожу их здесь. – А.К. Леффлер-ди-Кайянелло.

*И здесь, порою, он видал,
Как в этот мрак, над всем царящий,
Лился, играя, сквозь кристалл
Свет, от любви происходящий.*

*Душа из пламени и дум
В часы надежд и просветленья
Одну любовь считал твой ум
Надежным якорем спасенья.
Прощай! Тебя мы свято чтим,
Твой прах в могиле оставляя:
Пусть шведская земля над ним
Лежит легко, не подавляя...*

*Прощай! Со славою твоей
Ты, навсегда расставшись с нами,
Жить будешь в памяти людей
С другими славными умами –
Покуда чудный звездный свет
С небес на землю будет литься
И в сонме блещущих планет
Кольцо Сатурна не затмится...*

Д. Михайловский.

ВВЕДЕНИЕ

Как только я получила известие о неожиданной и внезапной смерти Софьи Ковалевской, во мне зародилась мысль о предстоящей мне задаче продолжать в той или иной форме ее воспоминания детства. Я считала это своею обязанностью по многим причинам, но прежде всего и главным образом потому, что, предвидя свою раннюю смерть, она всегда уверяла, что я переживу ее, и много раз брала с меня слово написать ее биографию.

Благодаря сильно развитой у нее склонности к самоанализу и самонаблюдению, она любила давать себе отчет в каждой своей мысли, в каждом своем поступке и чувстве; а в течение тех трех-четырех лет, которые мы прожили вместе, почти ежедневно видаясь друг с другом, она любила давать этот отчет и мне, стараясь всегда привести в известную психологическую систему все различные изменения в своем настроении. Это стремление подводить все свои ощущения под известные рамки принимало у нее нередко такие обширные размеры, что она под влиянием его невольно видоизменяла действительность. Несмотря на всю резкость ее самоанализа, не шавившего ничего на своем пути, она иногда невольно поддавалась естественному стремлению идеализировать себя, видеть себя такою, какою она желала быть. Иногда, напротив – то понятие, какое она во многих отдельных случаях давала о себе, очень разнилось от того, как ее понимали окружающие. Вообще она часто относилась к себе то гораздо мягче, то гораздо строже, чем следовало.

Если бы ей удалось выполнить свое желание, – довести до конца свои воспоминания и написать историю всей своей жизни, она наверное изобразила бы себя в них именно такою, какою рисовала себя, когда вела со мной длинные и многократные разговоры психологического характера.

Так как, к сожалению, сама она лично не имела возможности закончить свои воспоминания, которые, несомненно, представили бы собою одну из самых замеча-

тельных автобиографий в европейской литературе, и так как мне выпала на долю обязанность хотя бы в слабых и лишь внешних чертах написать эту биографию, которой она сумела бы придать совершенно самобытное значение по глубокой силе анализа, то я сразу инстинктивно решила, что для выполнения предстоящей мне задачи у меня имеется один только путь: работать, так сказать, под ее непосредственным внушением, стараться вновь сливаться жизнью с нею, как я делала это когда-то при ее жизни, сделаться *вторым я*, как она меня часто называла, и представлять ее себе по возможности такую, какую она сама рисовала мне себя.

Прошло между тем больше года, прежде чем я решила выпустить в свет воспоминания, которые я начала писать вскоре после ее смерти. В течение этого времени я отчасти устно, отчасти письменно сносилась со всеми ее друзьями, как старыми, так и новыми, с которыми имела возможность вступить в сношения, стараясь всеми силами освежить и укрепить воспоминания свои, так как вся суть для меня заключалась в том, чтобы припомнить все внешне черты, все подробности ее жизни, о которых она мне столько рассказывала. Из полученных мною писем я привела все, что могло способствовать выяснению ее характера, *всегда* стараясь при этом описывать ее так, как она сама понимала себя.

Принимаясь за настоящее сочинение, я, как видно из предыдущего, не имела вовсе в виду написать объективную историю нашей совместной жизни. Да и что вообще может быть названо объективным, когда вопрос идет об уяснении самого себя?

Многие будут толковать ее чувства и поступки в различных случаях ее жизни совершенно иначе, чем я. Но все это при моей исходной точке зрения не имеет никакого значения. Что касается дат, приводимых мною здесь, то все они объективно верны, насколько мне возможно было проверить их; в этом только отношении я не следовала указаниям Софьи, которые относительно дат отличались большей частью необыкновенною фантастичностью.

Встретившись летом в Христиании с Генрихом Ибсеном, я раз сказала ему, что занимаюсь составлением биографии Софьи Ковалевской. На это он заметил:

– Неужели вы в самом деле намерены написать ее биографию в общепринятом смысле этого слова? Не будет ли это скорее поэма о ней?

– Да, – ответила я, – но в таком случае это будет ее собственная поэма о себе, рассмотренная мною сквозь призму моего понимания ее.

– Вот это совершенно верно, – сказал он. – Вы не могли бы выполнить этой задачи, не придав ей поэтического колорита.

Это замечание придало мне больше уверенности и поощрило держаться наметленного мною раньше пути при выполнении предстоявшей мне задачи.

Пусть другие описывают ее объективно, если могут! Я, со своей стороны, преследую одну только цель: дать субъективное описание моего понимания того, как она со своей чисто субъективной точки зрения объясняла сама себя.

I

ДЕВИЧЕСКИЕ МЕЧТЫ. ФИКТИВНЫЙ БРАК

Когда Софье было около семнадцати лет, семья ее провела одну зиму в Петербурге.

В это время в России происходило сильное движение среди молодых интеллигентных женщин, движение в пользу свободы России, в пользу умственного развития. Оно было резче всего выражено среди молодых девушек. В этом движении нигилистическое или политическое направление играло лишь весьма незначительную роль: это было главным образом стремление к знанию и к умственному развитию, которое с такою силою охватывало интеллигентные кружки общества, что сотни моло-

дых девушек лучших фамилий покидали свои семьи и отправлялись заниматься наукою в заграничные университеты. Так как родители в большинстве случаев противились отъезду своих дочерей, то молодые девушки прибегали к чрезвычайно оригинальной и для того времени характеристичной тактике: чтобы избавиться от родительской опеки и получить возможность ехать беспрепятственно за границу, они вступали в фиктивные браки с молодыми людьми, воодушевленными одинаковыми идеями. Многие из шорихских студенток, которые затем вызваны были на родину по подозрению в нигилистических тенденциях, хотя на самом деле ничего противопозаконного не делали, а мирно занимались своими науками, находились в такого рода фиктивных браках с молодыми людьми, которые увезли их из родительского дома, устроили в университет, а затем расстались с ними, по обоюдному соглашению, предоставив им полную свободу. Да, подобного рода союзы, заключавшиеся ради отвлеченной цели, приобрели себе около этого времени такую популярность в кружке молодежи, в который вступили после прибытия в Петербург Софья и ее сестра, что для юной Сони, равно как и для большинства ее друзей, молодых людей и молодых девушек, казались гораздо более идеальными, чем те вульгарные низменные союзы, которые заключаются между молодыми людьми только для удовлетворения своих чувственных страстей, иначе сказать, своего эгоизма, и называются браками по любви. При идеальных стремлениях, одушевлявших всю эту молодежь, личное счастье казалось чем-то второстепенным, принесение всего себя в жертву ради высших духовных целей – единственной великою и достойною человека задачею. Учиться, заниматься, чтобы затем с удвоенными новыми силами служить родине, любимой всеми русскими такою нежною, восторженною любовью, помогать ей в тяжелой освободительной борьбе, ведущей из мрака и стеснения к свободе и просвещению – вот такие стремления одушевляли теперь молодых дочерей старинных дворянских фамилий, которые в течение целого ряда поколений воспитывали своих женских членов исключительно для светской жизни и для дома, вырабатывая из них светских дам, хозяек и жен. Теперь они совершенно естественно относились с враждою и непониманием к этой неожиданной вспышке духа самостоятельности и оппозиции у молодых девушек, которые вели совершенно обособленную жизнь, не имевшую ничего общего с жизнью старших.

«О, это было такое счастливое время!» – восклицала часто Софья, рассказывая об этом периоде своей жизни. «Мы так сильно увлекались новыми идеями, открывавшимися перед нами, мы были так глубоко убеждены, что существующее состояние общества не может долго продлиться, мы уже видели в недалеком будущем наступление нового времени, времени свободы и всеобщего просвещения, мы мечтали об этом времени, мы были глубоко убеждены, что оно скоро наступит! И нам была невероятно приятна мысль, что мы уже живем одною общею мыслью с этим временем».

«Когда трем или четверем из нас, молодежи, случалось где-нибудь в гостиную встретиться впервые среди целого общества старших, при которых мы не смели громко выражать своих мыслей, нам достаточно было намек, взгляда, жеста, чтобы понять друг друга и узнать, что мы находимся среди своих, а не среди чужих. И когда мы убеждались в этом, какое большое, тайное, непонятное для других счастье доставляло нам сознание, что вблизи нас находится этот молодой человек, или эта молодая девушка, с которыми мы, быть может, раньше и не встречались, с которыми мы едва обменивались несколькими незначущими словами, но которые, как мы знали, одушевлены теми же идеями, теми же надеждами, тою же готовностью жертвовать собою для достижения известной цели, как и мы сами!»

Никто в этом кружке молодежи, группировавшейся вокруг Анны, старшей сестры Софьи, не обращал внимания на юную Соню. Она по наружности казалась еще совершенным ребенком и ее принимали везде любезно ради старшей сестры. Анна от всего сердца любила свою маленькую, застенчивую сестренку с зеленоватыми

глазами с поволокой, которые вспыхивали от счастья при всяком пылком, восторженном слове, сказанном кем-либо из старших.

Соня держала себя всегда в тени своей старшей, более блестящей сестры, которую она несказанно восхищалась, считая ее несравненно выше себя во всех отношениях и по красоте, и по талантам, и по уму. В ее восторженном поклонении проглядывала и добрая доля зависти, но не той, которая старается свой идеал унижить и низвести до своего уровня, а той зависти, которая старается подражать и уподобиться ему. Эта зависть, о которой Софья сама упоминает в своих воспоминаниях детства, не покидала ее в течение всей жизни. Она всегда отличалась способностью преувеличивать у других те достоинства, которыми желала обладать, и глубоко сожалела о том, что природа лишила ее их. Что сильнее всего действовало на нее, это красивая наружность и грация – качества, которыми ее сестра, по-видимому, обладала в гораздо большей степени, чем она, почему Софья старалась превзойти ее в другом отношении. Она с ранних лет слышала постоянные похвалы своим необыкновенным умственным способностям, своей врожденной любви к учению, и становилась все более и более прилежною под влиянием честолюбия и благодаря постоянным поощрениям со стороны своего учителя математики.

Она высказывала такую силу и быстроту соображения, такое богатство мыслительных способностей, что относительно ее пригодности к научным занятиям нечего было и сомневаться.

Тем не менее отец, который, благодаря исключительному влиянию на него друга детства, страстного математика, открывшего необыкновенные способности Сони, одобрял ее стремление к знанию, столь редкое у молодых девушек, пришел в ужас при первом подозрении о намерении дочери продолжать и дальше свои научные занятия, при ее первом робком намеке на желание ехать учиться в заграничный университет. Он отнесся так же враждебно к этому ее желанию, как и к литературной деятельности Анны, возбудившей в нем такой сильный гнев несколько лет тому назад. Другими словами, он увидел в этом преступное стремление выйти за дозволенные пределы, за условные рамки.

Вообще молодые девушки хороших фамилий, увлекавшиеся такого рода планами жизни, казались в глазах окружающих простыми искательницами приключений, доставлявшими своим родителям только стыд и горе.

Таким-то образом в старинном дворянском доме существовали рядом эти два, столь противоположные течения: одно тайное и подавленное, но сильное, стремящееся порвать свои узы, рвущееся неудержимо вперед, старающееся пробить себе новые пути, подобно естественной силе – *Naturkraft*; другое открытое, идущее на пролом, убежденное в своем неотъемлемом праве – родительский деспотизм, употребляющий все усилия, чтобы сдержать и обуздать, подавить и урегулировать эту непонятную, только недавно появившуюся силу.

Анна и одна из ее подруг, воодушевленная тем же рвением к знанию и встретившая такое же противодействие со стороны своих родителей, приняли смелое решение. Одна из них, безразлично которая, должна была вступить в тот идеальный и платонический брак, который мог помочь им добиться свободы. Стоило только одной из них выйти замуж, и родители другой немедленно дали бы ей разрешение поехать за границу вместе с замужней подругой, в виду того, что такого рода поездка имела бы вид путешествия ради удовольствия, а не ради каких-то научных занятий. И маленькая Соня могла бы тогда отправиться с ними, потому что она была всегда тенью своей старшей сестры и одна из них была не мыслима без другой.

План был быстро выработан, но нужно было найти подходящего молодого человека для осуществления этого плана.

Анна и Инна стали искать между своими знакомыми, и наконец выбор их пал на одного молодого профессора университета; они были с ним едва знакомы, но знали его за честного человека, преданного общим, и их одушевлявшим, целям.

И вот однажды все три девушки – Соня, как всегда, следовала за ними – отправились к нему на квартиру.

Он сидел за письменным столом и занимался, когда слуга неожиданно ввел к нему трех молодых девушек. Появление их очень удивило его, так как они не принадлежали к кружку его женских знакомых. Но он любезно принял их и попросил садиться.

Они уселись рядом на большой диван, и в комнате воцарилось неловкое молчание.

Профессор сидел на качалке и рассматривал одну за другою этих трех молодых девушек, сидевших молча перед ним: высокую, тонкую, белокурую Анну, с ее необыкновенно гибкою грацией в движениях и большими, темно-синими глазами, которые без признака застенчивости, но с некоторым колебанием, были устремлены на него, рослую, полную брюнетку Инну, с орлиным носом и смелым взглядом черных, резко оттененных глаз, и маленькую Соню с ее густыми, выюшимися волосами, чистыми правильными чертами лица, детским, невинным лбом и страстно напряженным взглядом блестящих глаз, с вопросительным выражением глядевших на него.

Наконец Анна заговорила, как и было условлено раньше, и предложила, без тени замешательства, следующий вопрос: не желает ли профессор «доставить им свободу» путем фиктивного брака с одною из них, чтобы дать им возможность уехать в какой-либо германский или швейцарский университет.

В другой стране и при других обстоятельствах такого рода вопрос, заданный молодому человеку красивой молодою девушкою, заставил бы первого непременно вложить в свой ответ оттенок иронии или-скрасить отказ комплиментом. Но профессор оказался на уровне своего положения – Анна не ошиблась в своем выборе, – и отвечал им совершенно серьезно и холодно, что он не имеет ни малейшего желания принять такое предложение.

А девушки? Вы думаете, может быть, что они почувствовали себя оскорбленными таким отказом? Ничуть не бывало. Женская гордость их была тут ни при чем. Ведь и вопроса не могло быть о том, чтобы лично понравиться профессору. Они приняли этот отказ так же равнодушно, как принял бы его мужчина, который бы предложил своему собеседнику сопутствовать ему.

Они спокойно встали и ушли; он проводил их до двери и на прощание подал им руку.

В течение многих лет они больше не встречались.

Молодые девушки не боялись, чтобы он злоупотребил оказанным ему доверием, потому что знали его принадлежность к свяшенному союзу, к которому принадлежали и они. Это не был союз в настоящем смысле слова, но это была связь, подразумеваемая между людьми, сердца которых бились в унисон и стремились к общей силе.

Пятнадцать лет спустя, когда г-жа Ковалевская находилась уже в апогее своей славы, она однажды, в бытность свою в Петербурге, встретилась в обществе с этим господином, и оба со смехом вспоминали это приключение молодости.

Около этого времени одна из подруг Анны позволила себе унижительный поступок – вышла замуж по любви. И как они презирали ее и как сожалели о ней! Как особенно сильно сжималось сердце Сони от негодования за такую жалкую измену своим идеалам! И как сама новобрачная стыдилась перед подругами своего поступка, точно падения! Она ни разу не осмелилась заговорить при них о своем супружеском счастье и запретила мужу оказывать ей при подругах какую бы то ни было нежность.

Между тем в жизни Сони произошло внезапно нечто неожиданное.

Анна и Инна, не смущаясь первую неудачею, продолжали заботиться об осуществлении своих планов и избрали себе в освободители другого молодого человека. Это был еще студент, но он считался очень талантливым и собирался сам выехать за границу для продолжения своих научных занятий. Так как он был хорошей фамилии

и пользовался репутацией выдающегося молодого человека с блестящею будущностью, то можно было надеяться, что родители Анны и Инны ничего не будут иметь против такого рода партии для своих дочерей.

На этот раз предложение было сделано далеко не в такой торжественной обстановке, как в первый раз. Анна воспользовалась случайною встречей у одних знакомых, у которых они часто виделись, и в разговоре с ним изложила свои планы, спросив, согласен ли он будет помочь им. Он дал на это совершенно неожиданный ответ: он с удовольствием соглашался помочь им, только с небольшим изменением в программе, а именно – жениться не на Анне или Инне, а на Соне.

Этот ответ сильно опечалил заговорщиц, потому что – как можно было добиться согласия отца на брак этого ребенка, когда 23-хлетняя Анна была еще не замужем? Если бы подходящая партия представилась для старшей дочери, отец наверное ничего не имел бы против, – в этом они были уверены. Она доставляла ему немало беспокойств своим увлекающимся характером, своими фантастическими идеями, и притом она была уже в тех годах, когда молодые девушки должны выходить замуж. Конечно, Ковалевский был еще очень молод, но перед ним открывалась блестящая будущность, и отец, наверное, не противился бы его женитьбе на старшей дочери. Но Соня? Нет, никогда!

Предложение было сделано, но отвергнуто тотчас самым решительным, безапелляционным образом, после чего начались поспешные приготовления для отъезда в Палибино.²

Что тут было делать? Возвратиться в Палибино значило расстаться со всеми надеждами, всеми интересами, которыми девушки дышали и жили. Это было равносильно заключению в тюрьму, с тем различием, что тут не было сознания мученичества за великое дело, так что действительная тюрьма казалась для них лучше, чем угрожавшее им жалкое, бесцельное существование, лишенное всякой поэзии.

Тогда на выручку всех явилась Соня, принявшая смелое решение.

Эта кроткая девочка, которая не могла выносить малейшего недружелюбного взгляда или сердитой интонации голоса у людей, которых она любила, сделала опорою для своих подруг в эту критическую минуту. Несмотря на всю нежность и впечатлительность, лежавшие в основе ее натуры, в ней иногда, в решительные моменты, проявлялись необыкновенная твердость характера и непоколебимое упорство. Она, которая сегодня с нежностью котенка прижималась к тому, кто привлекал ее к себе ласковым взглядом, и с глубокою любовью бросалась к нему на шею, могла, когда в ней возбуждался дух борьбы, попирать ногами все отношения и хладнокровно оскорблять того, кого она за минуту перед тем осыпала самыми горячими выражениями привязанности.

Это объяснялось интенсивностью желаний, которые у нее принимали всегда размеры настоящей страсти, хотя бы вопрос шел о вещи, не имевшей ничего общего с чувством. То, к чему она стремилась, чего она хотела, она старалась достичь с болезненной интенсивностью, с готовностью погибнуть в случае неудачи. А теперь все ее желания сосредоточивались на одном: вырваться на волю, уехать из родительского дома, продолжать свое учение, чего бы это ни стоило.

У родителей делались приготовления к званому семейному обеду.

Мать отправилась за покупками: букетами цветов для стола и новыми нотами для рояля; отец находился в клубе, а гувернантка помогала горничной убирать гостиную растениями.

Девушки сидели одни в своей комнате, где на стульях разложены были новые красивые платья, приготовленные для обеденного туалета.

Они никогда не выходили из дому одни, а всегда в сопровождении слуги или гувернантки.

² Имение Круковских.

Но сегодня Соня воспользовалась этой минутой, когда все были заняты, и с помощью сестры надела пальто и шляпу. Анна провела ее вниз по лестнице, подождала, пока она не проскользнула в дверь, и затем с сильно бьющимся сердцем вернулась в свою комнату, где начала наряжаться в свое светло-голубое платье.

На дворе наступили уже сумерки; начали зажигать первые газовые фонари.

Соня, с опущенным вуалем, закутанная в башлык, робко шла по широким улицам, почти пустым в этот час дня, по которым ей еще ни разу не приходилось идти одной. Ее сердце сильно билось от того лихорадочного волнения, которое овладевает молодежью при всяком смелом решении и придает ей такую привлекательность.

Она чувствовала себя героинею начинающегося романа. Она, маленькая Соня, которая до сих пор была тенью своей сестры, – героиней романа совершенно иного рода, чем банальные любовные романы, которыми наполнена наша литература и которые она от души презирала.

Не на любовное свидание спешила она этими быстрыми, твердыми, ровными, мелкими шагами, не страстное чувственное влечение заставляло ее сердце усиленно биться, когда она, с трудом переводя дыхание и безумно краснея, как ребенок, каким она и была в действительности, поспешно поднималась по трем мрачным лестницам неказистого дома, стоявшего на одной из боковых улиц города.

Она три раза быстро и нервно постучала в дверь, которая в ту же минуту раскрылась; молодой человек, вышедший к ней навстречу, очевидно стоял на страже, чтобы не заставлять ее долго ждать.

Он тотчас провел ее в простую студенческую комнату, где на всех стульях и столах валялись в беспорядке книги, и только на стареньком диване было пустое место, как бы нарочно очищенное для нее.

Молодой человек по наружности своей не походил на героя романа. Его густая рыжеватая борода и слишком большой нос делали его некрасивым; но стоило ему посмотреть на вас своими темно синими глазами, и вы поражались выражением их, одновременно умным, приветливым и добрым, так что невольно чувствовали к нему сердечное влечение. Его обращение с молодой девушкой, таким оригинальным образом доверившейся ему, было совершенно братское: перед ней стоял точно ее старший брат.

Молодые люди сидели в напряженном ожидании, прислушиваясь, не раздаются ли на лестнице быстрые и громкие шаги.

Соня не раз то бледнела, то краснела от волнения, воображая, что кто-то поднимается вверх и подходит к двери.

Между тем родители вернулись домой, но, как и предполагали девушки, лишь незадолго до обеда, так что едва успели переодеться до съезда гостей. Поэтому отсутствие младшей дочери было замечено только тогда, когда все собрались в столовую, чтобы сесть за стол.

– Где же Соня? – спросили разом отец и мать бледную Анюту, которая сегодня казалась серьезнее и сдержаннее обыкновенного, с вызывающим и в то же время вопросительным выражением на лице.

– Она вышла из дому, – ответила Анна тихим, слегка дрожащим голосом, с трудом справляясь со своим волнением, между тем как глаза ее смотрели в сторону, избегая взгляда отца.

– Вышла? Что это значит? С кем?

– Одна. На ее туалете лежит записка.

Слуга получил приказ тотчас же принести записку.

Присутствующие сели за стол среди мертвенной тишины.

Соня лучше рассчитала удар, чем сама, быть может, понимала. В своем детском задоре, со свойственным молодежи неудержимым эгоизмом, который не дает никому пощады и не понимает, какие страдания причиняет иногда окружающим, она задела отца за самое больное место. В присутствии всех своих близких и дальних

родственников она заставила его вытерпеть унижение, которому подвергал его странный поступок его дочери.

В поданной лакеем записке заключалось только следующее:

«Папа, прости меня, я у Владимира. Прошу тебя не противиться больше моему браку с ним».

Иван Сергеевич молча прочитал эти строки и сейчас же встал из-за стола, пробормотав несколько слов извинения своим ближайшим соседям.

Десять минут спустя Соня и ее товарищ, все с большим и большим страхом прислушивавшиеся к малейшему шуму, услышали, наконец, на лестнице быстрые, гневные шаги, которых они с такою боязнью ожидали.

Дверь, оставленная незапертою, раскрылась без предварительного стука, генерал Круковский показался на пороге и подошел к дрожащей дочери.

К концу обеда отец и дочь вошли в столовую в сопровождении Владимира Ковалевского.

– Позвольте мне представить вам жениха моей дочери Сони, – сказал Иван Сергеевич взволнованным голосом.

II В УНИВЕРСИТЕТЕ

В таких приблизительно чертах изображала мне Софья этот драматический пролог к своему замужеству.

Родители простили ее, и вскоре в Палибине 1 октября 1868 года отпразднована была и ее свадьба, после чего новобрачные отправились в Петербург.

Одна подруга, впоследствии очень сблизившаяся с нею, следующим образом описывает впечатление, которое Софья производила в то время на окружающих.

«Среди всех этих преданных политике женщин и девушек, в большей или меньшей степени истощенных жизнью, она производила совершенно своеобразное впечатление своею детскою наружностью, доставившей ей ласковое прозвище воробышка».

Ей минуло уже восемнадцать лет, но на вид она казалась гораздо моложе. Маленького роста, худенькая, но довольно полная в лице, с коротко обстриженными выходящими волосами темно-каштанового цвета, с необыкновенно выразительным и подвижным лицом, с глазами, постоянно менявшими выражение, то блестящими и искрящимися, то глубоко мечтательными, она представляла собою оригинальную смесь детской наивности с глубокою силою мысли. Она привлекала к себе сердца всех безыскусственною прелестью, отличавшею ее в этот период ее жизни; и старые, и молодые, и мужчины, и женщины были все увлечены ею. Глубоко естественна в своем обращении, без тени кокетства, она как бы не замечала возбуждаемого ею поклонения. Она не обращала ни малейшего внимания на свою наружность и свой туалет, который отличался всегда необыкновенною простотою с примесью некоторой беспорядочности, не покидавшей ее в течение всей жизни».

Поживши полгода в Петербурге, молодые супруги весной 1869 года переехали в Гейдельберг: Софья – для изучения математики, а ее муж – для продолжения своих занятий по геологии.

Записавшись в тамошний университет, они на время летних вакансий отправились путешествовать в Англию, где Софье удалось познакомиться со многими выдающимися людьми того времени: с Джордж Эллиот, Дарвином, Спенсером и другими.

В дневнике Джордж Эллиот, напечатанном в ее биографии, составленной г. Кроссом, мы находим следующие строки от 5 октября 1869 года:

«В воскресенье я принимала визит одной интересной русской парочки – г-на и г-жи Ковалевских: она, премилое существо, чрезвычайно привлекательное и скромное в речах и обращении, изучает в Гейдельберге математику (по особому разреше-

нию, полученному с помощью Кирхгоффа), а он – симпатичный и умный человек, занимается изучением конкретных наук, специалист по геологии, едет в Вену, где должен пробыть шесть месяцев, оставив жену в Гейдельберге».

План этот не был приведен в исполнение, так как Владимир прожил один семестр в Гейдельберге вместе с женою. Жизнь их в течение этого времени описывается следующим образом тою же подругою, замечания которой я уже приводила выше, и которая, только благодаря посредничеству Софьи, получила от родителей позволение отправиться за границу, чтобы вместе со своею замужнею подругою учиться в университете:

«Через несколько дней после моего приезда в Гейдельберг вернулась из Англии и Софья со своим мужем. Она казалась очень счастливою и как нельзя более добровольно своею поездкою.

Я нашла ее такою же свежее, такою же розовою и привлекательною, как и при первом нашем знакомстве; только теперь в ее глазах было больше огня и блеска.

Она была одушевлена еще большею, чем прежде энергиею для продолжения своих только что начатых, научных занятий.

Это серьезное стремление к знанию не мешало ей находить удовольствие во всевозможных других вещах, даже в самых, по-видимому, пустяках. Я вспоминаю нашу прогулку втроем на другой день после ее возвращения. Мы отправились гулять в окрестностях Гейдельберга, зашли довольно далеко и, очутившись на ровной дороге, пустились вдвоем, Соня и я, бежать в перегонку, точно двое малых детей.

Господи Боже, сколько веселья и радости в этих воспоминаниях о первом времени нашей университетской жизни!

Соня казалась мне тогда такою счастливою, и притом счастливою на совершенно новый лад! Тем не менее, когда ей случалось впоследствии говорить о своей молодости, она упоминала о ней с горьким чувством недовольства, как бы считая, что молодость для нее промелькнула совершенно даром. Мне тогда припоминались всегда эти первые месяцы в Гейдельберге, наши восторженные споры о всевозможных предметах, ее поэтические отношения к молодому мужу, который в то время любил ее совершенно идеальною любовью, без малейшей примеси чувственности. Она, по-видимому, с такою же нежностью относилась к нему. Обоим им была, по-видимому, еще чужда та болезненная низменная страсть, которую называют обыкновенно именем любви.

Когда я вспоминаю все это, мне кажется, что Софья не имела оснований жаловаться: ее молодость была полна самых благородных чувств и стремлений, и рядом с нею, рука об руку, жил человек, нежно, со сдержанною страстью любивший ее.

В этот только год я и помню Софью счастливою. Несколько позже, да уже на следующий год, было совсем не то».

«Лекции начались тотчас после нашего приезда. Днем мы все время проводили в университете, и вечера свои посвящали также занятиям. Но зато по воскресеньям мы всегда делали больше прогулки в окрестностях Гейдельберга, а иногда ездили и в Мангейм, чтобы побывать в театре.

Знакомых у нас было очень мало, и мы только в очень редких случаях наносили визиты некоторым профессорским семьям.

«Соня сразу обратила на себя внимание преподавателей своими необыкновенными математическими способностями.

Профессор Кенигсберг, знаменитый химик Кирхгофф, у которого она прошла целый курс практической физики, и все остальные профессора приходили в восторг от своей даровитой слушательницы и рассказывали о ней как о чем-то необыкновенном.

Слухи об удивительной русской студентке распространились по всему маленькому городу, так что на улице часто останавливались, чтобы посмотреть на нее.

Однажды вернувшись домой, она рассказывала мне, смеясь, как одна бедно оде-

тая женщина с ребенком на руках остановилась при виде ее и громко сказала малютке:

«Sieh, sieh, das ist das Mädchen, was so fleissig in die Schule gehet».

Софья держалась всегда в стороне от своих профессоров и товарищей; в обращении ее с ними сквозила всегда большая застенчивость и даже смущение. В университете она не входила никогда иначе, как с опущенными глазами, не решаясь остановить на ком-либо свой взор.

Она разговаривала с товарищами только тогда, когда это было абсолютно необходимо для ее занятий.

Это скромное обращение очень нравилось ее немцам-профессорам, которые вообще придавали большое значение скромности у женщины, особенно у такой выдающейся, как Соня, которая вдобавок занималась такою отвлеченною наукою, как математика».

«И эта скромность вовсе не была напускною в этот период жизни Сони.

Я припоминаю, как, вернувшись однажды из университета домой, она рассказывала мне, что ей во время лекции бросилась в глаза ошибка, которую один из профессоров или студентов сделал в выкладке, написанной им на доске. Бедняга мучился над своею задачею, никак не понимая, в чем собственно кроется ошибка.

Софья долго колебалась, наконец решилась и с сильно бьющимся сердцем встала, подошла к доске и выяснила недоразумение».

«Но нашей жизни втроем, такой счастливой и такой содержательной благодаря Ковалевскому, с живым интересом относившемуся ко всевозможным вопросам, даже к таким, которые не имели никакого отношения к науке, не суждено было продолжаться. Уже в начале зимы к нам приехали сестра Сони и ее подруга Инна – обе гораздо старше нас. Так как помещение наше оказалось недостаточно просторным для приема новых жильцов, то Ковалевский переехал на другую квартиру, уступив приезжим свою комнату».

«Софья часто посещала его и проводила у него целые дни; иногда они предпринимали вдвоем без нас большие прогулки. Для них, конечно, общество стольких дам не всегда могло быть приятным, тем более что Анна и ее подруга часто нелюбезно обращались с Ковалевским. У них были на это свои причины; они находили, что раз брак фиктивен, Ковалевскому не следует придавать своим отношениям к Соне слишком интимный характер.

Это вмешательство посторонних лиц в жизнь молодых супругов приводило не раз к мелким стычкам и испортило вскоре хорошее отношение, существовавшее между членами нашего маленького кружка».

«После целого семестра, проведенного таким образом, Ковалевский решил уехать из Гейдельберга, где ему уже не жилось так хорошо, как прежде.

Он отправился в Иену, а потом в Мюнхен, и всю душою предавался там научным занятиям.

Это был очень талантливый, трудолюбивый человек, совершенно беспритязательный в своих привычках и не чувствовавший никогда потребности в развлечениях. Софья говорила часто, что ему «нужно только иметь около себя книгу и стакан чая, чтобы чувствовать себя вполне удовлетворенным».

«Но в этой особенности его характера было в сущности нечто, оскорблявшее Соню.

Она начала ревновать его к его занятиям, так как ей казалось, что они ему вполне заменяют ее, и что она при этом отступает на задний план.

Мы несколько раз ездили с нею в гости к нему, а между семестрами они совершили вдвоем путешествие, доставившее Соне большое удовольствие. Но она никак не могла примириться с тем, чтобы жить отдельно от мужа, и начала беспокоить его бесконечными требованиями: она то уверяла, что не может одна без него путешествовать и просила его сопутствовать ей туда, куда она желала ехать, не обращая внимания на то, что он находится в самом разгаре своих занятий; то заставляла его

исполнять разного рода поручения и помогать ей в разного рода мелочах, — которые он всегда охотно и весьма любезно брал на себя, но которые стесняли его теперь в виду его усиленных занятий».

Когда Софья много лет спустя разговаривала со мною о своей прошлой жизни, она с наибольшею горечью выражала всегда следующую жалобу: «...никто меня никогда не любил искренно».

Когда я возражала ей на это: «...но ведь муж твой любил тебя так горячо!» — она всегда отвечала: «...он любил меня только тогда, когда я находилась возле него. Но он всегда умел отлично обходиться и без меня».

Объяснение, почему он в это время и при существующих обстоятельствах предпочитал жить отдельно от нее, а не вместе, по-видимому, не трудно.

Но Софья с детства и до последнего года своей жизни отличалась удивительным пристрастием к неестественным и обостренным отношениям. Ей всегда хотелось обладать, не отдаваясь самой. Я думаю, что этим в значительной степени объясняются все трагические обстоятельства ее жизни.

Я позволю себе при этом привести еще несколько заметок ее подруги и соученицы, относящихся к тому времени. Из них видно, как уже в ранней юности развиты были у Софьи те особенности характера, которые лежали в основании всех терзаний и мучений ее дальнейшей жизни.

«Она не могла выносить неудачи. Стоило ей задаться какою-нибудь целью, и она всеми силами стремилась к достижению ее, пуская для этого в ход все имеющиеся под руками средства. Поэтому она всегда достигала того, чего хотела, исключая тех случаев, когда на сцену выступало чувство, потому что тогда она, странным образом, теряла совершенно обычную ей проницательность и ясность суждений. Она требовала всегда слишком многого от того, кто любил ее и кого она в свою очередь любила, и всегда как бы силою хотела брать то, что любящий человек охотно дал бы ей и сам, если бы она не завладела этим насильно со страстною настойчивостью».

Она чувствовала всегда непреодолимую потребность в нежности и задушевности, потребность иметь постоянно возле себя человека, который бы всем делился с нею, и в то же время она делала невозможную жизнь для человека, который вступал в такого рода близкие отношения к ней.

Она сама была слишком беспокойного нрава, слишком дисгармонична по своей натуре, чтобы на долгое время найти удовлетворение в тихой жизни, полной любви и нежности, о которой она, по-видимому, так страстно мечтала.

При этом она была слишком лично по своему характеру, чтобы обращать достаточно внимания на стремления и наклонности жившего с нею лица.

Ковалевский отличался также чрезвычайно беспокойным характером; он носился постоянно с новыми планами и идеями.

Бог знает, могли ли бы при каких бы то ни было обстоятельствах жизни прожить истинно счастливо вместе эти два существа, так богато одаренные оба?».

Софья пробыла два семестра в Гейдельберге до осени 1870 года, а затем отправилась в Берлин, чтобы продолжать там свои занятия под руководством профессора Вейерштрасса. За это время муж ее получил в Иене звание доктора на основании сочинения, обратившего на него всеобщее внимание и доставившего ему репутацию самостоятельного и выдающегося исследователя.

III

ГОД УЧЕНИЯ У ВЕЙЕРШТРАССА

Однажды, к немалому удивлению профессора Вейерштрасса, к нему явилась несколько сконфуженная молодая студентка с просьбою принять ее в качестве ученицы по математике.

В ту пору Берлинский университет был заперт для женщин, как и теперь. Но Софья так горячо желала продолжать свои научные занятия под руководством того, кого обыкновенно называли отцом нового математического анализа, что она решилась обратиться непосредственно к нему с просьбой privately заниматься с нею.

Профессор Вейерштрасс с некоторым недоверием рассматривал неизвестную ему просительницу. Он обещал испытать ее и в виде пробы задал решить несколько задач, приготовленных им для некоторых из наиболее успевающих слушателей математического факультета, которым он задавал практические упражнения.

Убеденный, что она никогда не решит их, он перестал о ней и думать, тем более, что наружность ее при этом первом посещении не произвела на него никакого впечатления. Она была, как всегда, очень дурно одета, но кроме того надела ради этого случая шляпу, почти совершенно скрывавшую ее лицо, так что ее скорее всего можно было принять за старую тетюшку.

Профессор Вейерштрасс, как он мне сам рассказывал впоследствии, при этом первом свидании с Софьей, не заметил ни ее молодости, ни того обыкновенно умного и как бы одухотворенного выражения лица, которое обыкновенно с первого взгляда располагало всех в ее пользу.

Через неделю она опять пришла к нему и заявила, что уже решила все задачи. Он не поверил ей, но пригласил сесть рядом с ним и начал по пунктам проверять все решения.

К его великому удивлению оказалось, что не только все задачи верно решены, но и необыкновенно хорошо и точно обоснованы.

В пылу занятий она сняла с себя шляпу, короткие вьющиеся волосы упали ей на лоб, она вся покраснела от радости по поводу его похвал, и старый профессор почувствовал прилив чисто отцовской нежности к этой юной, едва развившейся женщине, обнаружившей такие обширные мыслительные способности, какие ему редко случалось встречать у своих взрослых учеников. И с этого времени великий математик сделался ее другом на всю жизнь, самым верным, заботливым другом, какого она только могла пожелать себе, который всегда оказывал ей всевозможную помощь и поддержку. В его доме она была принята как любимая дочь и сестра.

В течение целых четырех лет изучала она математику под руководством Вейерштрасса, и эти годы оказали наиболее сильное влияние на все ее дальнейшие научные работы, потому что в основании всех их лежало направление, данное им, Вейерштрассом: все они представляют или дополнение, или развитие идей ее знаменитого учителя.

Занятия производились следующим образом: раз в неделю Вейерштрасс заходил к ней, а каждое воскресенье вечером она приходила к нему.

Муж ее проводил ее до Берлина, и затем оставил одну вместе с подругою ее из Гейдельберга. Отношения их были по-прежнему чрезвычайно странные и возбуждали некоторое удивление в доме Вейерштрасса, где муж никогда не показывался, несмотря на дружеские отношения Софьи ко всем членам семьи: она его никогда не представляла им и никогда не упоминала в разговорах его имени. Только иногда в воскресенье вечером, по окончании урока, Ковалевский звонил у двери и говорил открывавшей ему горничной: «Скажите госпоже Ковалевской, что ее ожидает у подъезда экипаж».

Софья всегда стеснялась неестественностью своих отношений к мужу и один из Гейдельбергских профессоров рассказывал, что когда он однажды встретился у нее с Ковалевским, она представила его под именем своего родственника.

Вот что ее подруга рассказывает об их совместной жизни в Берлине:

«Наша жизнь в Берлине была еще более однообразною и уединенною, чем в Гейдельберге. Мы жили совершенно одни. Соня целые дни проводила за письменным столом, погруженная в свои бумаги, я до самого вечера занималась в лаборатории.

Вечером, пообедавши на скорую руку, мы опять принимались за занятия. Кроме

профессора Вейерштрасса, часто посещавшего нас, ни одна живая душа не переходила за порог нашей двери. Соня все время была в самом грустном расположении духа; ничто, по-видимому, не радовало ее, ко всему относилась она равнодушно, исключая своих занятий. Посещения ее мужа всегда несколько оживляли ее, хотя радость свидания нередко омрачалась взаимными упреками и недоразумениями. Они и теперь делали вдвоем большие прогулки».

«Когда же Соня оставалась одна со мною, она ни за что не хотела выходить из дому, ни для того, чтобы гулять, ни для того, чтобы идти в театр, ни для того, чтобы делать необходимые покупки».

На рождество мы были приглашены к Вейерштрассам, которые специально для нас устраивали елку.

Соне необходимо было приобрести новое платье, но она ни за что не соглашалась выйти купить его. Мы чуть не поссорились из-за этого, потому что я не хотела идти одна покупать это платье. (Если бы муж ее был дома, все устроилось бы как нельзя лучше, потому что он всегда заботился обо всем необходимом для нее и выбирал ей не только материал на платье, но и фасон).

Наконец, спор наш разрешился тем, что Соня поручила своей хозяйке купить ей материю и заказать платье, а сама все же не двинулась с места».

«Ее способность в течение целого ряда часов предаваться самой усиленной умственной работе, ни разу не вставая из-за своего письменного стола, была поистине изумительна. И когда она после того вечером, проведя целый день в такой усиленной работе, отстраняла от себя бумаги и подымалась со стула, она была все еще так сильно погружена в свои мысли, что начинала взад и вперед ходить по комнате быстрыми шагами и, наконец, просто бегать, громко разговаривая сама с собою, а иногда разражаясь хохотом. В такие минуты она казалась совершенно оторванной от действительности; фантазия, по-видимому, уносила ее далеко за пределы настоящего. Но она никогда не соглашалась рассказать мне, о чем она думала в это время».

«Она очень мало спала по ночам и сон ее всегда был беспокойен; часто она внезапно просыпалась, пробуждаемая каким-нибудь фантастическим сном, и просила меня прийти посидеть с нею. Она охотно рассказывала свои сны, которые были всегда очень оригинальны и интересны. Они нередко носили характер видений, которым она приписывала пророческое значение, и которые действительно большую часть сбывались».

Вообще она отличалась крайне нервным темпераментом.

Никогда не была она спокойна, всегда ставила себе для достижения самые сложные цели, и тогда страстно желала достигнуть их. Но несмотря на это, я никогда не видала ее в таком грустном, подавленном настроении духа, как тогда, когда она достигала предположенной цели.

Действительность, по-видимому, никогда не соответствовала тому, что она рисовала себе в своем воображении. Когда она работала, она доставляла окружающим мало удовольствия, так как была всецело погружена в свои занятия и только о них могла и думать; но когда ее видали такую грустною и печальною, среди полного успеха, к ней чувствовали невольно глубокое сострадание.

Эти постоянные изменения настроений в ней, эти постоянные переходы от грусти к радости и делали ее такою интересною».

«Рядом тем в целом наша жизнь в Берлине, на дурной квартире, с дурной пищею, среди дурного воздуха, при непрерывной и очень утомительной работе и при отсутствии какого бы то ни было развлечения была до такой степени безрадостна, что я вспоминала о первом времени пребывания в Гейдельберге как об утраченном Рае».

И Соня также, получивши осенью 1874 года звание доктора, чувствовала такой упадок сил в умственном и физическом отношении, что долгое время спустя после

своего возвращения в Россию не могла приняться ни за какую работу».

Это отсутствие радости в работе, о котором упоминает ее подруга, преследовало Софью в продолжении всех ее научных занятий. Она всегда доходила до крайности в работе, вследствие чего лишала себя возможности наслаждаться при этом не только жизнью, но и самой работою: мысль делалась ее тираном вместо того, чтобы быть ее слугою, и потому радость творчества была совершенно незнакома ей в таких случаях.

Не то было с ее литературными работами: они доставляли ей всегда величайшую радость и приводили в самое светлое настроение.

Но кроме изнурительной работы много было и других причин, которые придавали такой мрачный колорит ее занятиям в Берлине.

Больше всего ее тяготили отношения к мужу, ложность их взаимного положения, и это тягостное чувство еще более усиливалось благодаря вмешательству родителей, которые часто приезжали к ней во время вакансий и увозили с собою в Россию.

Мало-помалу они догадались о действительном положении дел между супругами. Они постоянно упрекали Софью за ее поведение относительно мужа и старались устроить между ними сближение, чему она всякий раз упорно сопротивлялась.

Между тем в действительности ее изолированное положение сильно тяготило ее.

В ней уже тогда начала проявляться та жажда жизни, которая впоследствии положительно пожирала ее; она в душе не была нисколько похожа на синий чулок, каким она могла показаться тем, кто судил о ней по ее образу жизни; но ее застенчивость, непрактичность, сознание ложности в своих личных отношениях, боязнь скомпрометировать себя при своем одиноком положении, все это вместе заставляло ее вести ту вполне изолированную жизнь, в которой она впоследствии так горячо раскаивалась, вспоминая о своей молодости.

Благодаря непрактичности обеих подруг материальная обстановка их жизни была самая непривлекательная. Они умудрялись всегда выбирать невозможные квартиры, окружать себя самою дурною прислугою, даже питаться нехорошою пищею. Однажды они попали в руки целой шайки воров, которая систематически грабила их через посредство горничной.

Софья отличалась необыкновенным равнодушием к материальным случайностям жизни, едва замечала, хороша или дурна та пища, которую ей приходилось есть, и вообще так легко относилась к мелким житейским неудачам, что фрейлейн Вейерштрасс рассказывала о ней следующий анекдот: как только она узнала о совершившейся у нее покраже, она прибежала к ним в сильнейшем волнении, чуть не плача от страха. Но не прошло и получаса, как она до такой степени увлеклась интересным разговором, что совершенно забыла о приключившемся с нею несчастье.

IV

ПОСЕЩЕНИЕ ПАРИЖА ВО ВРЕМЯ КОММУНЫ

В январе 1871 года Софья, только что возобновившая свои занятия с Вейерштрассом, принуждена была прервать их, чтобы отправиться в путешествие, полное самых удивительных приключений.

Дело в том, что Анна, которой однообразие жизни в Гейдельберге быстро прискучило, отправилась в Париж, не спросив на это у родителей позволения и даже не уведомивши их о своем переезде. Ей хотелось развить в себе талант писательницы, и потому она не находила никакого интереса в том, чтобы жить взаперти вместе с Софьей в ее студенческой комнате. Ей хотелось изучать жизнь, посещать театры, жить в литературном центре; вырвавшись из-под родительской опеки, она начала смело пробивать себе дорогу.

Так как невозможно было сообщить отцу о ее намерении съездить одной в Париж, то она решила обмануть его, увлекаемая страстным желанием устроить жизнь по-своему.

Она писала ему через Софью, так что на ее письмах был всегда штемпель того города, в котором жила Софья.

Сначала Анна собиралась лишь на короткое время поехать в Париж и успокаивала свою совесть тем, что она при свидании сама во всем признается отцу. Но в Париже она вступила в новые отношения, до такой степени овладевшие ею, что она уже не в силах была освободиться.

И чем дальше, тем труднее становилось для нее открыть правду родителям. Она полюбила молодого француза, сделавшегося затем одним из руководителей коммуны, и прожила запертою в Париже в продолжение всей осады.

Софья все время страшно беспокоилась о судьбе сестры, сознавал притом всю тяжесть ответственности, падавшей на нее за участие, оказанное ею в деле поездки Анны в Париж. Поэтому она, тотчас после снятия осады, решила отправиться с мужем во Францию и пробраться в Париж, чтобы отыскать свою сестру.

Рассказывая впоследствии о своем путешествии, Софья сама не могла дать себе отчета в том, как им удалось проникнуть в город через немецкие войска.

Они шли пешком, затем ехали лодкою на Сене, под угрозой быть расстрелянными, но тем не менее счастливо перебрались на противоположный берег и незамеченными вошли в Париж.

Они были там при первом взрыве коммуны.

Софья много лет спустя собиралась обработать в литературной форме свои воспоминания об этом времени, но этому плану, к несчастью, не суждено было осуществиться. Она, между прочим, хотела написать рассказ под заглавием: «Сестры Раевские во времена коммуны». В нем она собиралась описать одну ночь, проведенную ею в госпитале, где она и Анна ухаживали за больными и где они встретились с несколькими молодыми девушками из их прежнего круга в Петербурге. Пока бомбы падали и все новые и новые раненые приносились в больницу, девушки шепотом обменивались воспоминаниями о своей прошлой жизни, представлявшей такую глубокую противоположность с настоящею и с тою обстановкою, в которую они теперь попали, что все это казалось им точно сном.

И в самом деле, Софья смотрела, как на сон, как на волшебную сказку, на удивительные сцены, разыгрывавшиеся вокруг нее.

Она была еще в том возрасте, когда грандиозные мировые события действуют на вас, как увлекательный роман. Без малейшего чувства страха смотрела она на падающие вокруг бомбы; только сердце ее билось при этом сильнее, а в душе чувствовалась глубокая радость, что и ей приходится переживать эту драму.

Для своей сестры она в этот раз ничего не могла сделать.

Анна принимала самое горячее, самое страстное участие в политических движениях того времени и ничего лучшего не желала, как рисковать жизнью рядом с человеком, с которым она навсегда связала свою судьбу.

После краткого пребывания в Париже супруги Ковалевские уехали, и Софья принялась вновь за свои прерванные занятия.

Но после подавления коммуны она вновь была призвана в Париж, на этот раз самую сестрою. Анна умоляла ее заступиться за нее перед отцом, к которому она обратилась с просьбою простить ее за ее обман, и помочь ей выпутаться из отчаянного положения, в каком она теперь находилась: г. Ж. был схвачен и осужден на смерть.

Если мы вспомним портрет отца, нарисованный самою Софьею в ее воспоминаниях детства, мы поймем, какой тяжелый удар был нанесен ему этим известием, когда он сразу узнал о том, как вероломно поступали с ним его дети, и как устроила свою судьбу его старшая дочь, поведение которой шло совершенно в разрез с его

понятиями и принципами. За несколько лет перед этим он пришел в страшный гнев и волнение, узнав о том, что Анна пишет повести и получает за это плату. «Теперь ты продаешь свою работу, – вскричал он, – но я не могу поручиться за то, что ты не станешь в скором времени продавать самое себя».

К общему удивлению он теперь гораздо более кротким образом принял это действительно тяжелое горе, причиненное ему дочерью. И он, и мать поспешили оба в Париж, в сопровождении Софьи и ее мужа, и при свидании с виновною дочерью он выказал так много любви и деликатности, что обе дочери, чувствовавшие, что они заслужили совершенно иного обращения, с этого времени еще сильнее привязались к нему.

К сожалению, я только чисто анекдотическим образом могу рассказать события того бурного времени.

Генерал Круковский имел связи у Тьера, поэтому обратился тотчас к нему с просьбою о содействии в деле освобождения его будущего зятя. Тьер отвечал, что ничего не может для него сделать, но при этом как бы случайно упомянул о том, что пленных, среди которых находился и г. Ж., переводят на следующий день в другую тюрьму. Дорога в эту тюрьму вела мимо здания выставки, возле которого толпились всегда днем масса народу. Анна вмешалась в толпу и в то время, когда пленные проходили мимо, проскользнула незаметно через ряды окружавших их солдат, взяла г. Ж. под руку и исчезла вместе с ним в здании выставки, из которого они выбрались через другой выход и без малейших препятствий достигли станции железной дороги.

Вся эта история кажется фантастичною и почти невероятною, но я передаю ее в том виде, в каком она сохранилась в памяти многих других друзей Софьи, кроме меня.

Как горько приходится после смерти известного лица сожалеть, что мы не запоминали лучше малейших его слов, не записывали на свежую память всего, что нам случалось слышать от него интересного. Мне приходится тем больше раскаиваться в этом, что Софья постоянно повторяла во время своих разговоров со мною:

«Ты должна после моей смерти написать историю моей жизни».

Но кто в минуту задушевной беседы думает, что действительно может когда-либо прийти день, когда ты будешь живой одиноко стоять с одним только воспоминанием о связи, существовавшей когда-то между тобою и умершим! Кто не думает, что ему возможно будет и на следующий день пополнить пробелы, образовавшиеся во время оживленного, прерывистого, несвязного разговора, когда мысли постоянно переходили с одного предмета на другой?

В 1874 году Софья получила звание доктора в Геттингене на основании двух сделанных ею под руководством Вейерштрасса работ, которые он считал наиболее значительными из всего, что вышло из-под ее пера. Она была вследствие разных причин освобождена от устного экзамена. В представленной ниже записке к декану философского факультета в Геттингене она излагает подробно характеристичные для нее мотивы, на основании которых просит освободить ее от устного экзамена, что разрешалось только в крайне редких случаях:

«Милостивый государь!

«Позвольте мне прибавить еще несколько слов к присланному мною в ваш факультет прошению о присуждении мне звания доктора философии.

«Мне было не легко решиться на шаг, который должен был вывести меня из состояния неизвестности, в котором я до сих пор находилась. Только одно желание доставить удовольствие близким мне людям, желание дать им настоящее понятие о себе, убедить их в том, что я действительно серьезным образом и не безуспешно занималась математикою, которую изучала исключительно по любви, без всяких посторонних целей, заставило меня отбросить в сторону все колебания. Этому способствовало и полученное мною сведение, что я, как иностранка, могу быть призна-

на вашем факультете в звании доктора и *in absentio*, если только представленные мною работы будут сочтены удовлетворительными и если я вместе с тем представлю и свидетельства о своих занятиях от компетентных лиц. В сущности – надеюсь, что вы не перетолкуете в дурную сторону мое откровенное признание – я и сама не знаю, хватит ли у меня уверенности и самообладания, необходимых для ехатеп гигогосум; я боюсь, что необычайность обстановки, среди которой мне придется отвечать на вопросы совершенно незнакомых мне лиц, напротив того, приведет меня в страшное смущение, несмотря на мое убеждение в любезной снисходительности г.г. экзаменаторов. К этому нужно еще прибавить, что я не вполне свободно владею немецким языком, когда дело идет об устном выражении своих мыслей, хотя, с другой стороны, я привыкла употреблять его при моих математических занятиях и пишу на нем удовлетворительно, когда у меня есть достаточно времени для обдумывания своих фраз. Это мое неумение говорить по-немецки происходит от того, что я всего пять лет тому назад принялась за изучение этого языка, из которых четыре прожила в Берлине в полном уединении, так что только в часы, уделяемые мне моим многоуважаемым учителем, имела случай слышать немецкую речь и говорить по-немецки. На основании всего этого я осмеливаюсь обратиться к вам, милостивый государь, с покорнейшею просьбою оказать мне свое любезное содействие в деле освобождения меня от ехатеп гигогосум».

Это прошение, в связи с значительными достоинствами присланной ею работы и с представленными вескими рекомендациями, привело к приятному для Софьи результату: к получению степени доктора без предварительного устного испытания, – счастье, редко кому выпадавшее на долю.

Несколько времени спустя вся семья Круковских была собрана в старом родовом гнезде – Палибине.

V ИЗ РУССКОЙ ЖИЗНИ

Как собравшаяся теперь в Палибине семья мало походила на ту, которую сама Софья описывала в своих воспоминаниях детства!

Вместо двух молодых девушек, ходивших здесь в былое время и мечтавших об обширном Божьем Мире, с которым они были совершенно незнакомы, жили теперь под одною и тою же кровлею две уже совсем развитые женщины, испытавшие жизнь, каждая на свой лад.

И то, что они пережили, было, конечно, совершенно не похоже на то, о чем они в юности мечтали, но тем не менее жизнь их была достаточно богата содержанием, чтобы дать повод к долгим неумолкаемым беседам в длинные зимние вечера, в обширной гостиной со старинною мебелью, обитою красным дама, между тем как самовар кипел на столе, а в засыпанном снегом парке уныло завывали голодные волки.

Свет казался им теперь далеко не таким таинственным, каким представлялся прежде, потому что они уже сталкивались с ним и успели разглядеть его.

Анна за это время испытала так много, пережила столько бурных тревожений, что жажда сильных ощущений, томившая ее в юности, была вполне удовлетворена. Она была страстно влюблена в своего мужа, который сидел там рядом с нею в большом красном кресле с усталым и несколько сатирическим выражением лица; она была так страстно и ревниво влюблена в него, что жизнь и без того готовила ей достаточно волнений, чтобы желать чего-нибудь большего в этом роде.

Младшая сестра, напротив того, жила до сих пор исключительно головою, но и ее жажда знания была настолько сильно удовлетворена, что и она чувствовала глубокое переутомление, и была совершенно не в силах предаваться каким бы то ни было

умственным занятиям. Она все время или читала романы, или играла в карты, или принимала деятельное участие в жизни своих соседей, мало богатой умственными интересами.

Что доставляло Софье наибольшее удовольствие в это время, это перемена, происшедшая в ее отце. Он, подобно Софье, принадлежал к тем людям, которые не перестают идти вперед и развиваться в умственном отношении, и изменять соответственно с этим свой характер. Наклонность к деспотизму, составлявшая всегда самую выдающуюся черту его характера, сильно смягчилась под влиянием тяжелых испытаний, которые ему пришлось перенести по милости своих дочерей. Он понял, что никто не имеет права присваивать себе власти над мыслями и чувствами других, даже если эти другие его дети, чем он так сильно злоупотреблял в былое время. Поэтому он теперь с несвойственной для него терпимостью выслушивал радикальные речи своей дочери-коммунарки, клонившиеся к разрушению всего существующего порядка общества, равно как и материалистические взгляды своей другой дочери-математика.

Это воспоминание принадлежит к числу самых приятных воспоминаний Софьи об ее отце: оно тем сильнее запечатлелось в ее душе, что это была последняя зима его. Разрыв сердца положил внезапно конец его жизни.

Неожиданное горе глубоко поразило Софью. Она так тесно сошлась с отцом за последнее время, да притом всегда больше любила его, чем мать. Последняя принадлежала к числу тех поверхностных, но привлекательных, кротких женщин, которые любят всех и в свою очередь любимы всеми; это-то и отталкивало от нее Софью, которая вдобавок воображала, что мать любит ее меньше, чем ее брата и сестру, между тем как отец предпочитал ее остальным детям.

С его смертью она почувствовала себя страшно одинокою.

У Анны был муж, на груди которого она могла выплакать свое горе, но Софья оттолкнула от себя того человека, который мог служить ей истинною опорой и утешением в ее грустном положении. Теперь она как бы сразу прозрела и поняла всю неестественность своих отношений к мужу, и все причиняемое этим горе; ее жажда нежности и привязанности взяла перевес над всеми другими чувствами и сомнениями, и среди тиши и уединения родного дома, погруженного в печаль, она сделалась истинною женою своего мужа.

На следующую зиму вся семья переехала в Петербург.

Софья сделалась сразу средоточием одного из тех интеллигентных, избранных кружков, горячо преданных умственным интересам, которые составляют особенность русской столицы и редко встречаются в каком-либо другом месте Европы. Тот факт, что истинно просвещенные и свободомыслящие русские превосходят всех других европейцев многосторонностью, отсутствием предрассудков и широтой взглядов, приводится мною не на основании примера одной только Софьи: это признают все, побывавшие в этих кружках. Они стоят в ряду передовых людей остальной Европы, отличаются необыкновенною способностью схватывать на лету новые идеи, как только те появляются на горизонте, и с почти неслыханною живостью мысли соединяют такой энтузиазм, такую веру в свои идеалы, каких мы не встречаем ни у одной из других европейских наций.

В один кружок такого именно рода и попала Софья, сразу завоевавшая себе общее расположение и поклонение. Она находилась в это время в полном расцвете молодости и на нее, после того как она прожила пять лет погруженною исключительно в научные занятия, не зная никаких развлечений, такая радикальная перемена в жизни и обстановке действовала ошеломляющим образом.

Ею овладела внезапно страстная жажда наслаждения, все ее блестящие качества выказались в полной силе, и она очертя голову бросилась в шумный водоворот светской жизни с его празднествами, театрами, приемами, публичными лекци-

ями, катаниями на санях и тому подобными удовольствиями.

Так как в том кружке, среди которого она вращалась, преобладали не столько научные, сколько литературные интересы, то она, увлекаясь своею всегдашнюю потребностью в умственной симпатии со стороны окружающих ее лиц, также вступила в ряды литераторов.

Она писала передовые статьи, стихи, театральные рецензии, не подписывая их своею фамилиею, и даже напечатала целый роман под заглавием «Приват-доцент», эскиз из университетской жизни маленького немецкого городка, встретивший самый благоприятный прием со стороны критики.

Анна, проживавшая со своим мужем также в Петербурге, выступила с большим успехом на литературное поприще в качестве романистки. Владимир Ковалевский занимался переводами и изданием разного рода популярных сочинений научного характера, как, например, «Жизнь птиц» Брема.

Состояние, доставшееся Софье после смерти отца, было далеко не велико, так как по завещанию почти все имущество, оставленное покойным, переходило к его жене. А между тем жизнь, которую она начала вести, требовала больших расходов. Вследствие этого у нее, быть может раньше, чем у мужа, возникла мысль заняться спекуляциями.

Владимир лично был глубоко равнодушен ко всякой роскоши, но при своей легко воспламеняемой фантазии он быстро увлекся этой идеей, и вот одно предприятие начало возникать за другим.

Они строили в Петербурге многоэтажные дома, бани, оранжерею, принимали самое деятельное участие в одной вновь возникающей газете. И одно время казалось, что все идет у них как нельзя лучше.

Друзья их предсказывали им блестящую будущность, и когда в 1878 году у них родилась дочь, единственное их дитя, ее называли будущею богатою наследницею.

Но у Софьи были и на этот раз, как и при разных других неприятных обстоятельствах жизни, зловещие предчувствия.

Одна из ее задушевных подруг того времени рассказывает, что в тот самый день, когда происходила закладка первого их дома, Софья говорила ей, что весь этот торжественный день испорчен для нее благодаря сну, привидевшемуся ей накануне ночью.

Она видела себя на том же месте, где должно было закладываться здание, окруженною большою толпою народа, которая собралась, чтобы присутствовать на этой церемонии. Вдруг толпа расступилась, и в то время как они приближались к месту закладки, Софья увидела, что на плечи ее мужу вскочила какая-то дьявольская фигура, которая с ужасным сардоническим хохотом пригнула его к земле.

Она долго не могла отделаться от впечатления этого сна, которому суждено было осуществиться таким ужасным образом.

Когда оказалось, что одно предприятие за другим терпит неудачу, энергия и сила воли Софьи высказались в полном блеске. При своем увлекающем характере и пылкости своего воображения она могла поддаться временно искушению посвятить все силы своего ума и своей изобретательности на приобретение большого состояния, но она никогда не могла всею душою отдаться преследованию такой мало содержательной цели. Она могла потерять вдруг несколько миллионов, ни на одну ночь из за этого не лишившись сна, подобно тому, как теперь совершенно хладнокровно перенесла потерю надежды на приобретение громадного состояния. Она желала сделаться богатою, потому что жизнь в самых ее разнообразных формах искушала ее, потому что ее страстная натура, ее пылкое воображение заставляли ее желать всего, стремиться ко всему, жаждать все испытать. Но когда она увидела, что задуманное ею дело не удастся, она была тотчас же готова отказаться от него и задалась только одною мыслью: поддержать и утешить своего мужа, который, странно сказать, ни одной минуты не желал денег для себя и ни разу не искушался чем бы

то ни было, что может быть куплено на деньги, теперь же в гораздо большей степени, чем она, стремился к достижению этой, однажды намеченной им цели. Всякое поражение, всякая неудача оказывали на него, по-видимому, подавляющее действие, между тем как Софья, напротив того, всегда примирялась с неизбежным, неотвратимым, и только с удвоенным рвением предавалась достижению новой цели.

На этот раз ей удалось отвратить крах.

Она не щадила никаких усилий, терпела все возможные унижения, ездила ко всем друзьям, замешанным в это предприятие, и наконец ей удалось устроить сделку, удовлетворившую всех, в награду за что получила горячую благодарность со стороны мужа, пораженного ее умом и энергиею.

Счастье их, по-видимому, засияло вновь с удвоенною силою.

Но диавольский человек с сатанинскою усмешкою, привидевшийся ей во сне, на самом деле стал у нее поперек дороги.

Это был какой-то искатель приключений большого пошиба, с которым Ковалевский познакомился во время своих занятий делами, и который теперь начал опять вовлекать его в новые и гораздо более опасные предприятия.

Софья, обладавшая необыкновенною способностью распознавать людей, с первого же взгляда почувствовала такое сильное отвращение к этому человеку, что не могла выносить его присутствия в своем доме. Она умоляла мужа расстаться с этим опасным советником, поступить по ее примеру и, отказавшись от всяких деловых спекуляций, вновь посвятить себя исключительно научной деятельности, но все ее мольбы оставались тщетными.

Хотя Ковалевский около этого времени (1880-1881 г.) был назначен профессором палеонтологии в Московском университете, куда супруги переехали на жительство, он никак не мог оторваться от начатых спекуляций, принимавших все более обширные и фантастические размеры. Вопрос шел о том, чтобы разработать нефтяные источники во внутренних губерниях России, расширить и улучшить многие важные отрасли русской промышленности и самому при этом заработать миллионы.

Ковалевский был до такой степени ослеплен своим новым помощником, что не хотел обращать никакого внимания на увещания жены. Мало того: не будучи в состоянии убедить ее и склонить на свою сторону, он начал скрывать от нее свои действия.

Это мучительнее всего отзывалось на Софье; она, при своем характере, не в силах была перенести этого.

Решившись сделаться женою своего мужа, она всею душою старалась упрочить их отношения, придать им большую силу и глубину. Ей свойственно было стремиться со страстною интенсивностью к достижению того, что она в данное время считала важнейшим делом в жизни. Она всегда умела проводить глубокое различие между тем, что было важно, и тем, что не имело существенного значения. Одна из главных характеристических черт ее, отличающая ее от большинства других женщин, заключалась в том, что она никогда не бросала главной цели для достижения чего-нибудь второстепенного, и никогда не бывала мелочною. Раздвоенность в каком бы то ни было чувстве была для нее нестерпима, и она всем готова была жертвовать, чтобы только быть любимой цельною глубокою любовью.

Она употребляла все усилия, чтобы спасти мужа от угрожавшей ему опасности. Одна из ее подруг в следующих выражениях описывает, как она боролась и чем жертвовала для достижения этого:

«Она старалась вновь заинтересовать Ковалевского наукою, занималась вместе с ним геологией, помогала ему в приготовлении к лекциям, устраивала ему возможно более приятную домашнюю жизнь, чтобы только вернуть ему утраченное спокойствие, — но ничто не помогало.

Я думаю, что Ковалевский уже в это время был в не совсем нормальном состоянии: нервы его были слишком сильно потрясены, и он никак не мог вернуть себе умственного и душевного равновесия».

Искатель приключений, который ничего так сильно не желал, как отдалить от мужа его слишком проницательную жену, воспользовался начавшимися между ними разногласиями и внушил ей мысль, что замкнутость и недоступность ее мужа происходит по совсем особым причинам, и что у нее имеется повод для ревности.

Судя по тому, что Софья рассказывала сама о себе в «Сестрах Раевских»,³ она уже в десятилетнем возрасте обнаруживала сильную склонность к ревности. Затрагивать у нее эту струну значило пробуждать одну из самых сильных страстей, дремавших в глубине этой страстной, порывистой натуры.

Софья потеряла всякую способность к критическому размышлению и оказалась совершенно не в состоянии исследовать справедливость обвинения.

Впоследствии она была почти убеждена, что все это был обман, но в то время почувствовала только неудержимое желание уйти подальше от этого унижения, от ея любимого человека, изменившего ей. Она боялась, чтобы страсть не заставила ее унизиться до шпионства и до безобразных семейных сцен. Жить вместе с мужем, доверием которого она не пользовалась, видеть, как он идет на встречу своей гибели и не быть в состоянии предупредить его, — этого она при своем страстном темпераменте не в силах была вынести. Она меньше всего способна была смиряться, и в сердечных делах была настолько же требовательна и постоянна, насколько невнимательна и невзыскательна ко всем другим внешним обстоятельствам жизни.

Мужа своего, правду сказать, она не любила настоящею, страстною любовью, но она так свыклась с ним, так сжилась со всеми его интересами, так много употребляла усилий, чтобы привязать его к себе тою сильною и глубокою любовью, к какой страстно стремилась эта пылкая женщина, жаждавшая цельного и глубокого чувства со стороны своего мужа, со стороны отца своего ребенка! И когда она увидела, что он, невзирая ни на что, отворачивается от нее и ставит между нею и собою третье лицо, тогда связывающие их, несколько искусственные нити порвались, ее сердце сжалось, вытолкнуло образ, насильно втиснутый в него, — и она опять очутилась одна.

Она решила собственными силами создать будущее для себя и для своей дочери и, бросив дом и родину, отправилась продолжать свои научные занятия за границей.

³ Шведская переделка «Воспоминаний детства».

проза

Ариадна ВАСИЛЬЕВА

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭМИГРАЦИЮ

Роман¹

8

Секретный разговор. – Лицей.

Это случилось во время моего увлечения монашеством. Я оказалась невольным свидетелем одного разговора мамы с тетей Лялей.

Честное слово, я не собиралась подслушивать. Подслушивание, чтение чужих писем или дневников считалось у нас самым смертным грехом.

В тот день я мечтала в своем уединении под кроватью на тюфячке и, видно, задремала. Когда мама и тетя Ляля вошли, поздно было вылезать наружу. Я думала, они ненадолго, и не хотела обнаружить перед ними свое убежище. Особенно перед тетей Лялей. Я взяла грех на душу и не предупредила о своем присутствии.

– Давай здесь поговорим, здесь никто не услышит.

Это был голос тетки.

На мое счастье, они не сели на кровать, а пристроились на широком подоконнике перед открытым окном.

– Смотри, как у Наташки чистенько. Молодец, хорошо убирается.

Это сказала мама. А я от счастья, что похвалили, расплылась в самодовольной улыбке.

Тетка круто сменила тему.

– Надя, – сказала она, – я не стану ходить вокруг да около, сразу скажу. Возможно, огоршу. Словом... мы с Фимой решили сойтись. Я хочу, чтобы он переехал к нам.

Я так поняла, что тетя Ляля и Фима хотят пожениться, и обрадовалась. Мы Фиму любили, он у нас давно был как свой. Но мама сказала:

– Лялечка, как же это? Он ведь женат.

– Да, женат, – голос тетки был неестественно спокоен. – Он и не собирается официально разводиться с женой. Но жить с нею он не может. А я... А мне... Ай, да наплевать! Я живой человек, а не засохшая мумия. Жизнь уходит, жизнь!

– Ляля, да ты любишь ли его?

– Наверное. Не знаю. Во всяком случае, он мне не противен.

Они надолго замолчали. У меня даже затекла нога, но я не посмела шевельнуться.

¹ Часть первая. Окончание. Начало см.: «Звезда Востока» № 3, 2008. Журнальный вариант.

– Если все решено, – холодно заговорила мама, – зачем ты позвала меня советовать? Какой совет я могу дать?

– Я не хочу, чтобы ты считала, будто я иду на компромисс.

– Да, но так получается...

– Так я и думала! – отчаянно вскричала тетка. – Так я и думала, что ты это скажешь! – и вдруг заплакала. Тихо, тоненько, как маленькая.

Мама тоже заплакала и стала шептать:

– Любушка, родная моя, прости! Господи, да что же я сболтнула! Ты не слушай меня. Я не смею судить. Поступай, как тебе лучше. Прости меня, маленькая, родная моя сестричка. Если тебе хорошо с ним, слава Богу! А не получится – разоидетесь. Это так даже лучше, если вы не сразу поженитесь.

– Ты серьезно? – спрашивала тетка. – Ты не осудишь меня? Надя, он мне, правда, нравится. Когда я с ним, ни о чем не думаю. С ним легко, весело. Ты привыкла так считать, а я не такая уж сильная. Я все храбрюсь, храбрюсь... Пройдут три года, мы съедем отсюда. И что? Снова скитаться? А он... знала бы ты, Наденька, как он любит меня!

И они зарыдали в голос. Я знала за ними привычку вытирать друг другу слезы лишь одним им свойственным движением от нижнего века по щеке, а потом стряхивать с пальцев «соленую водичку». Видно, они и сейчас занимались тем же. Я догадывалась, я слышала, как они шевелятся там, на подоконнике, шуршат платьями, всхлипывают, то почти успокаиваются, то заходятся в плаче навзрыд.

Снизу донесся бабушкин голос:

– Ляля, что там у вас происходит? Кто плачет?

Они испуганно затихли, потом мама прочистила голос и крикнула в ответ:

– Мамоchка, тебе послышалось, никто не плачет.

– А мне послышалось, кто-то плачет, – отозвалась бабушка и, видно, отошла от лесенки, ведущей к нам наверх, потому что через минуту стукнула дверь кухни.

Они заговорили снова, но теперь уже спокойно. У тетки лишь прерывалось дыхание.

– Пойми, Наденька, я хочу дать детям хорошее образование. Что они обретут в этой несчастной коммунальной школе? Я заведомо лишаю их будущего. Одна я не вытяну – их двое. А у Татки такие способности... И Петенька растет без отца. Он же мальчик, ему просто необходимо хоть какое-то мужское влияние. И учеба у него тоже неплохо идет. А Фима обещал помочь. И потом, и потом – главное. Ты посмотри, как хорошо он относится к ним обоим. И они к нему льнут. И меня он любит. Он добрый, отзывчивый человек...

– Да, этого у Фимы не отнять, – прошептала мама.

– Тогда... – голос тети Ляли стал просительным, но она не решалась договорить. В комнате вдруг стало тихо, словно не было никого.

– А? – рассеянно отозвалась та, другая.

– Ты поможешь мне в разговоре с мамой? Мне тяжело идти к ней одной. Понимаешь?

– Понимаю, – отозвалась мама.

– Я знаю, она поймет. Но мне будет легче с тобой, – тетя Ляля подождала ответа и, не дождавшись, слезла с подоконника. – Пойду пока. Умоюсь.

Ее шаги прозвучали возле двери, потом я услышала, как она спускается по скрипучим ступенькам. Мама осталась на прежнем месте. В открытое окно залетали звуки из сада. С криком пронеслась ласточка, потом воробьи задрались в кустах, но что-то спугнуло их, они – фрррр! – разлетелись в панике. В отдалении проехал автомобиль.

– Господи, господи, Боже ты мой! – пробормотала мама.

¹ Позже – Алма-Ата.

Она посидела еще немного и ушла следом за сестрой.

Я немедленно выбралась из укрытия, вылезла через окно на крышу, проползла по черепице до самого края, спустила ноги вниз, ниже, ниже, и достала до первой перекладины садовой лестницы. Спустилась по ней и побежала в беседку. Здесь никого не было. Я устроила засаду и стала ждать Петю. Ему надо было немедленно все рассказать.

Многое оставалось неясным. Я чувствовала какую-то неловкость из-за Фиминой дочки Сони. Он часто приводил ее к нам. Но одно дело приходить в гости с отцом, другое – приходить в гости к отцу.

Почему они обе плакали, мама и тетя Ляля? Разве, когда любят, плачут? И почему Фима не хочет разойтись со своей женой, такой скучной, такой неинтересной?

Чем больше я думала, тем больше запутывалась. Петя не появлялся. Мне надоело сидеть в одиночестве, я побежала на фортификации.

Меня встретили возбужденной толпой. Петя и Марина наперебой рассказывали, как Володя де Ламотт, играя в прятки, улеся ничком на гребне стены и лежал над бездной в пять этажей. Татка прыгала на месте и пишала:

– Наш Володя о-ля-ля! Наш Володя о-ля-ля!

Остальные тоже дрожали от возбуждения и галдели наперебой.

– Лег, лежит, а его ищут!

Потом, когда переживать эту историю стало неинтересно, мы побежали на бульвар Мюрата цепляться за проезжающие телеги, бегали и дурачились дотемна.

Я решила отложить разговор с Петей на завтра и все уговаривала ребят не идти домой, а во что-нибудь поиграть. Казалось, приду, мама встретит, глянет сурово и спросит: «А теперь скажи, что ты делала в тот момент, когда мы с тетей Лялей вели в твоей комнате секретный разговор?»

Полночи я проворочалась с боку на бок. А когда на другой день проснулась довольно поздно, узнала, что Фима уже переехал к нам. Узнала от радостно-растерянного Петьки, а взрослые вели себя так, будто ничего особенного не случилось.

Жену свою Фима так и не оставил. Навешал, обеспечивал, а Соня, как ни в чем не бывало, приходила к нам, хохотала по любому поводу, даже если ей просто показывали палец. Такая уж она была хохотушка, толстененькая, плотно сбитая, с жесткими курчавыми волосами. Никаких душевных мук из-за отца она не испытывала и очень неохотно уходила в свой пансион.

Вскоре тетя Ляля определила Петю в престижный закрытый колледж, а Татку отдала в лицей Мольера на рю Раннеляг. Дядя Костя подумал, подумал, посчитал шоферские доходы и тоже решил перевести Марину в лицей.

А вот платить «бешеные деньги» за мою учебу Саша категорически отказался, как мама его ни уговаривала. Тогда тетя Ляля, не спрашивая его согласия, распорядилась сама и стала платить за меня. Я тоже пошла в лицей.

Ни в какое сравнение с коммунальной школой лицей не шел. Мы учились теперь в роскошном, чуть мрачноватом старинном здании. Классы были просторные, светлые, с высокими лепными потолками. Для каждого предмета свой кабинет, прекрасно оборудованный. Переменки разрешалось проводить во дворе, под сенью редко расставленных древних деревьев. Был гимнастический зал, просторный холл, гардероб. Весь лицей образовывали четыре замкнутых по периметру корпуса с открытыми галереями. Все это производило впечатление... Все это меня не радовало. Правда оказалась на Сашиной стороне.

Пусть в голову попадало больше знаний, пусть на уроках было в тысячу раз интересней, чем в коммуналке, но... так чувствует себя серый воробей в клетке с райскими птицами. В лицее учились девочки из очень богатых семей.

Могут сказать: «Какая дура!» Люди добрые, мне было двенадцать лет! Мне хотелось быть такой же, как все. Мои одноклассницы шеголяли в красивых платьях, носили модные в то время темные гольфы с полоской. Не желая отставать, я нацепила

Сашины мужские носки, подвернув лишнее. Это заметили. Было много смеху... Эх, да что говорить.

Благородная задача – нести факел знаний – стала невыполнимой с самого начала. Меня записали соответственно возрасту, потом спустили ниже, потом снова подняли. Я уже не помню, сколько раз доводилось прыгать через классы, как в детской игре.

Только обзаведусь знакомствами, глядь, велят собирать ранец и переселяться к другим учителям, идти на чужую территорию.

Так этот дар небес, недоступный для большинства русских, не шел мне впрок. И еще. Начиная с лица, мы начали расходиться с Петей. Он жил далеко, на другом конце Парижа, мы встречались только по воскресеньям и в праздники. Дома стало тихо и буднично.

9

Скауты. – Остров святой Маргариты. – Железная Маска. – Немного о литературе

В начале июня двадцать седьмого года я, Марина и Петя поступили в скауты. Вернее, скаутами назывались только мальчики, а девочки – гайдами, но вся организация была скаутская.

Русская скаутская организация была поделена на отряды по 25—30 человек. Нашим отрядом руководила старшая гайда Инна Ставская, сама девятнадцати лет от роду, коротко стриженные волосы и задорный курносый нос.

Вместе с нею мы устраивали сборы, ходили в походы по окрестностям Парижа, пекли на кострах картошку и пели веселые скаутские песни.

Наконец-то я попала к своим! Здесь были только наши, только русские, стриженные, с длинными косами, беленькие, черненькие и рыженькие, близкие по духу девочки. Собранные в один отряд по взаимным симпатиям, мы дружно закалялись, учились быть храбрыми оловянными солдатыками. С благословения взрослых в нас незамедлительно возникло патриотическое чувство принадлежности к России.

На лето отряд собирался ехать в лагерь, но мама стала отговаривать, дескать, я еще маленькая, за нами не будет должного ухода, неизвестно, что за еда. Но ларчик просто открывался. За дорогу, за обмундирование, за лагерь надо было платить, а Саша наотрез отказался. Дядя Костя одну Марину, без меня, тоже решил не отправлять.

И вот две зареванные гайды слоняются по дому, на всех огрызаются, шмыгают носами. Не очень-то мы и демонстрировали свое горе. Гайды они на то и гайды, им раскисать не положено, но Фиме надоели наши подозрительные насморки. Он повел всех троих, вместе с Петей, в магазин и одел с головы до ног. Деньги на лагерь тоже дал.

Нам купили великолепные скаутские шляпы с полями и защитного цвета рубашки. На ноги – эспадрильи, совершенно замечательную обувь. Полотняные тапочки со шнурками и на веревочной подошве.

Но вершиной человеческого счастья были гладко отполированные посохи с металлическими наконечниками. Мы пишали возле Фимы, примеряя все эти великолепные вещи, а он, как кот, жмурился и басил:

– Ну, ну, девочки, осторожней, а то вы меня копиями своими насквозь проткнете!
– Да дядя Фима! Какие же это копия! Это же посохи!

В Средиземном море, как раз напротив города Канн, находится остров Святой Маргариты. Население его немногочисленно, в основном это рыбаки, но знаменит он старинной, можно сказать легендарной, крепостью и таинственным узником Железная Маска. Кто он был, за что держали его с закрытым лицом за толстыми стенами крепости, история до сих пор не разобралась. Многие уверяют, будто ника-

кой Железной Маски вообще не было, что все это досужий вымысел любителей романтики.

Крепость на острове Святой Маргариты обнесена циклопической стеной. Она отвесно падает на острые скалы со стороны моря и в заросли ежевики – с береговой стороны. В крепостной двор ведет единственный ход в виде туннеля с толстенными воротами, обитыми листовым железом с шляпками гвоздей размером с крупную монету.

Внутри крепости – просторный двор и многочисленные постройки. Дома облупленные, обрушенные, смотрят на свет пустыми глазницами окон. В центре двора – каменный колодец, но вода в нем не питьевая. Хорошую воду привозят каждый день на маленьком пароходике с материка.

Но главное – сама крепость. С башнями, узкими бойницами. Она взметнулась над островом на многометровую высоту, поросла цепкими побегами ежевики.

Каким образом гайды получили разрешение властей устроить лагерь в таком историческом месте, знают лишь те, кто это разрешение получил. Мы провели в крепости два чудесных, незабываемых лета.

Мы жили в трех больших палатках. Они были поставлены в ряд на большой площадке двора. Под деревьями в тени сторож помог установить сбитый из досок стол и вкопать в землю скамейки. Посреди площадки для утренних и вечерних построений воткнули тонкую мачту с трехцветным российским флагом.

Каждый день двое дежурных варили еду на всю братию, а остальные, в свободное от скаутских занятий время, бродили по крепости, гуляли по всему острову, купались в море.

Дисциплина в лагере была суровая. Инне подчинялись беспрекословно, а за малейшую провинность «сушились» под мачтой. Доставалось и нам с Мариной за попытки уплыть от берега. Инна извлекала нас из моря, сердилась и делала страшные глаза:

- Я что, приехала сюда вытаскивать утопленников?
- Но, Инна, мы же плаваем хорошо, мы на Антигоне еще научились.
- Не рассуждать! Марш сушиться под мачту!

Плелись в лагерь, нога за ногу задевала. В разгар ясного дня стояли по стойке смирно под мачтой.

Но мы любили ее, нашу начальницу. Все девочки стремились достигнуть Инниного совершенства, а она призывала избавиться, и как можно скорее, от таких грехов, как вздорность, мелочность, зависть, сбивала отряд в общину, крепко связанную нерушимыми узами дружбы.

Мы много читали в лагере из русской истории, часто просили Инну рассказать что-нибудь интересное. Быт лагеря был спартанским, пища однообразной, «наши бедные желудки были вечно голодны», но все неудобства с лихвой оплачивались морем, солнцем и «собственной» крепостью. В тот год мы на всю жизнь сдружились с Мариной.

В нашей компании на Вилла Сомеие она играла далеко не первую скрипку. Виной тому была ее замкнутость: она постоянно пребывала в серьезно-сосредоточенном состоянии. Такой она даже на фотографиях осталась. Все вокруг хохочут, а эта инни. Не девочка, а сплошные десять баллов за поведение. И вот эта скромница подбила меня идти в камеру Железной Маски. Ночью.

– Ты и двух шагов не пройдешь, сдрейфишь, – в упор смотрела она прозрачными русалочьими глазами.

– Хочешь пари? – храбрилась я.

– Хочу.

– Когда пойдем?

– Сегодня. – И, делая страшные глаза, добавила: – В полночь!

В глубокой тайне от всех, чуть только появилась в небе и рассиялась луна, мы

выскользнули из-под полога палатки и, тихонько ступая, чтобы не хрустнул под ногой случайный сучок, стали красться в сторону крепости.

Лунный свет бил вбок, и тени наши, с метровыми палками-ногами,плыли по вышербленным плитам двора. Скоро они послушно согнулись под углом, скользнули по стене, различной в лунном сиянии до мельчайших подробностей, до трещины в камне, до клочка серого мха.

Вход в самую крепость никогда не закрывался, вольный воздух свободно гулял по коридорам и переходам. Расположение внутри мы знали прекрасно. И по случаю полнолуния нам не нужно было никакого дополнительного освещения.

Удивительно, но мы не испытывали страха. Видно, призраки скорбной обители решили не связываться с двумя глупыми девочками, пропустили нас и до конца предпринятия оберегали от шальной крысы, от мистического мышиного шороха. Мы шмыгнули в узкий, давящий нависающим перекрытием переход, поднялись по наполовину осыпавшимся ступенькам и оказались перед дверью в камеру Железной Маски.

– А вдруг он там? – беззвучно шепнула Марина.

– Кто?

– Железная Маска.

– Глупости, он давным-давно умер, – чуть слышно выдохнула я.

Налегла на дверь, а Марина вдруг схватилась за меня. Мы ступили на порог. И не решались двинуться дальше. Вдруг, только войдем внутрь, кто-то неведомый затворит дверь, и мы окажемся в ловушке.

Камера с каменными плитами пола была такой же, какой мы ее сто раз видели при ярком солнечном свете. Сквозь решетку узенького отверстия невидимая, но близкая луна протянула серебряную полоску. Остов железной кровати стоял на своем месте, у стены. Грубо сколоченный стол и табурет с гнутыми ножками, низкий и вытянутый, были тем, чем им и положено быть, – столом и табуретом.

Думаю, пробеги по камере мышь или пролети за окном ночная птица в бесшумном и зыбком полете, мы завизжали бы, потеряли от страха рассудок, бросились в беспамятстве, сломя голову, куда глаза глядят, и заблудились бы в лабиринтах крепости. Но тихо было вокруг, торжественно. Только лунный свет подбирался ближе, озарялся все ярче край бойницы.

– Скатерть на столе, – прошептала Марина.

Она отшатнулась и потащила меня за собой. Сами похожие на привидения, едва касаясь каменных плит, мы пролетели по серебряным лунным пятнам и выскочили наружу. Здесь по-прежнему было безлюдно, тепло, величественно. Крепость спала.

На пальчиках, как балерины, добежали мы до колодца и перевели дух. Это была уже своя территория.

– Какая ты фантазерка, Марина! – зашептала я. – Или ты хотела нарочно меня напугать? Что за скатерть тебе привиделась?

– Даю тебе честное благородное слово, – прижала Марина руки к груди, – я видела на столе скатерть. Она была красная. Темно-красная, тяжелая и свисала до самого пола.

– А вот я завтра пойду и проверю.

– Нет! – цепко схватила она меня. – Не надо. Раз ты не видела, значит, он мне одной показал.

– Кто?

– Железная Маска.

– Сумасшедшая ты, – покачала я головой. – Идем-ка лучше спать.

И вовремя сказала. Едва мы успели добежать до своей палатки, как из соседней высунулась растрепанная Иннина голова:

– Вы почему бегаєте, девочки? Что-нибудь случилось?

– А мы... А у нее живот заболел, – нашла я, а Марина тут же скорчила жалобную гримасу.

Объяснение было принято. Только мы с колотящимися сердцами улеглись, Инна принесла Марине лекарство и стакан воды запить. Зашевелились на походных кроватях девочки. Кто-то сонно сказал:

– Ой, и что вы все ходите, ходите...

Приключение сошло с рук. Инне, наверное, просто не могло прийти в голову, на что способны ее последовательные ученицы. Что ж, она сама учила нас никогда ничего не бояться.

На следующий день я побежала вместе со всеми на пляж, на излюбленное наше место с наружной стороны крепости.

В тот день Марина с нами не пошла. Она сказалась больной и села рисовать. Вечером мы всей палаткой приставали, чтобы показала, но она прятала набросок и просила:

– Девочки, не надо. Закончу – обязательно покажу.

Вот такая это была картина. Камера Железной Маски. Такой мы видели ее в неверном лунном сиянии.

На кровати скомканные простыни, свалилась подушка, но не на голые плиты, а на ковер тусклого рисунка. Сам ОН сидит у стола, но разглядеть его невозможно. Он в тени. Он сам тень. И застыла эта скорбная тень, опершись локтями на красную скатерть и обхватив руками тяжелую голову. Скатерть смята, сдвинута, свисает одним краем до полу, вся в глубоких изломанных складках. Из складок выглядывают кошмарные рожи и дразнят узника высунутыми языками. На столе – драгоценный кубок, матово отсвечивающий изумрудами и рубинами, и только из одного камня луна высекала искру, тонкий, как игла, луч.

Мы долго разглядывали картину, тихо переговаривались, касались друг друга непросохшими после купания головами. Инна сказала:

– Очень красиво. Тебе, Марина, обязательно нужно учиться рисованию. Но почему ты решила, будто у Железной Маски были ковры, бархатные скатерти и драгоценные кубки?

– Он был не простой узник, – не отрывая критического взгляда от своего творения, отвечала Марина, – он был брат короля. У Людовика было много всего. И королева просила...

Наутро она остыла, сунула картину на дно чемодана и призналась:

– Если бы не ты, я бы ни за какие коврижки туда не пошла.

– Страшно было?

– А тебе разве нет?

– Да нет, не очень.

Мы расхохотались, и Марина, словно сбросив томивший ее груз, побежала следом за всеми купаться.

Мелькали дни. Мы ходили в дальние походы, переехав для этого неширокий пролив на пароходике. В походе обязательно держались строем и бодро шагали за своей командиршей. Она задорно вздергивала носик и звонко приказывала:

– Песню, девочки, песню!

Странно звучала в полях Франции русская походная песня, странен был вид русского флага в голове колонны.

Пролетели июль и август, промелькнула половина сентября, и, как мы ни плакали, расставаясь с лагерем, пришлось ехать домой, в Париж.

Но и зимой мы встречались, а ближе к весне десять мальчиков и десять девочек, в том числе Петя, Марина и я, стали полноправными скаутами, а не «птенчиками», как мы назывались до этого времени.

Был торжественный многолюдный сбор в большом убранном зале. Мы давали присягу, становясь на одно колено перед флагом, обещали никогда не обижать млад-

ших, быть честными и трудолюбивыми. Нам вручали значки в виде маленькой серебряной лилии, нас без конца поздравляли, в довершение всего был праздник с представлением и угощением.

А в мире шла совершенно иная жизнь. Пытались перелететь через Атлантику и погибли французские летчики Нэнжессер и Колли. За ними следом, уже из Америки в Европу, полетел и благополучно приземлился Линдберг.

Кипела, бурлила в раздорах русская эмиграция, без конца образуя непримиримо враждующие лагеря. Но если мы, с нетерпением ожидая газет, до слез огорчались, когда погибли французские летчики, то до политических эмигрантских склок ни нам, ни нашим родным, ни большинству наших знакомых уже не было никакого дела. Антисоветская шумиха надоела. Настоящая, живая Россия, с большевиками, с каким-то грандиозным строительством, была так же далека и нереальна, как мыс Доброй Надежды на южной оконечности Африки.

Вот в лишее у меня дела шли плохо. Меня снова переташили через класс. Новые учителя, новые девочки, на доске непонятные правила, за спиной надоедливое вяканье:

– Возьми перо в правую руку!

Меня поймет только левша, испытывший на собственной шкуре, каково это переучиваться на правую сторону. Я махнула обеими руками на все и принялась запоем читать на уроках.

Дома у нас читали много, в любую свободную минуту. Татка умудрялась читать даже в уборной. Или мыла пол, держа в одной руке тряпку, а в другой книгу. Но она предпочитала французских писателей, а если брала русских, то в переводе. Тетя Ляля возмущалась:

– Как можно читать Гоголя по-французски? Это же смешно! Ты все теряешь.

В ответ раздавалось:

– Так легче.

К четырнадцати годам я прочла всего Тургенева, запоем читала «Войну и мир», любила Пушкина, Лермонтова и многих русских поэтов. Любовь к стихам подогрела мама. Я часто просила ее почитать наизусть. Она опускала голову, задумываясь, улыбалась неопределенно, глядя в пространство.

– Что же тебе прочесть?

Потом, позабыв о моем присутствии, начинала:

*Лес, словно терем расписной,
Зеленый, золотой, багряный...*

Классика классикой, но если попадался модный бульварный роман, тоже учитывались, а родители возмущались:

– Как вы можете читать такое!

Из французов «шел» у нас в то время Виктор Гюго. Мы по очереди оплакивали Гуинплена, Эсмеральду, Жана Вальжана и обиделись за Гюго после одной тети Лялиной истории к случаю. У нее в клинике был больной, образованный, по ее словам, француз. Так вот он на вопрос тети Ляли, кто, по его мнению, является самым выдающимся писателем Франции, подумал, вздохнул и ответил:

– *Helas, Victor Hugo.*²

Другой забавный случай был у мамы. Где-то они с Сашей познакомились с французом. Учителем литературы, между прочим. Разговорились. Разговор зашел о русских писателях. Учитель литературы выразил своим русским собеседникам сочувствие по поводу бедных-бедных Пушкин, Лермонтоф, Некрасоф, не сумевших, несмотря на всю свою сладкозвучность, выразиться в стихах до конца, так как писали не на родном языке. И когда мама удивленно уставилась на него:

² Увы, Виктор Гюго. (фр.)

– А на каком же языке они писали?

Тот, без тени смущения, ответил:

– На французском, разумеется. У русских письменность отсутствует. Русский язык – диалект.

Мама смертельно обиделась и, кажется, была не очень почтительна с учителем литературы при расставании.

Helas! Во Франции многие были убеждены, что Россия – это заснеженная равнина, по которой бегают дикие звери. Даже открытка такая была. Мужик в лаптях, в армяке ведет на поводке белого медведя, а внизу написано: «Торг белыми медведями в Москве на Красной площади».

Со мной был случай. В самом начале учебы в лицее я услышала на уроке географии:

– Запомните, дети, самая большая страна в Европе – Франция.

Я подняла руки.

– Но, мадам, самая большая страна в Европе – Россия!

– Россия? Да будет тебе известно, Россия находится не в Европе, а в Азии. Сядь на место и не фантазируй.

Я села на место. Одноклассники иронически на меня посмотрели.

Русские книги приносить в лицей я не решалась, читала французские, и сама не заметила, как литературные мои успехи быстро пошли в гору. Мои сочинения стали частенько зачитывать вслух в классе. Мадам Байтоне, прекрасная литераторша, всегда огорчалась:

– И вот за такое прекрасное сочинение я вынуждена снижать отметку. Ах, как много ошибок!

Она единственная, кто никогда не преследовал меня за левую руку. Ей было совершенно безразлично – как. Хоть ногой пиши, лишь бы хорошо.

Мама никогда не брала меня за плохие отметки.

– Нет, нет и нет, – говорила она вечно спорившей с нею по этому поводу сестре, – ты не должна так говорить, Ляля. Наташа вовсе не лодырь. Она не может. Ты посчитай, сколько раз ее гоняли из одного класса в другой.

– Глупости! – возражала тетя Ляля. – Была бы усердна твоя Наташа, давно бы освоилась. Это ты забиваешь ей голову всяким вздором.

Согласно покаяв на справедливый упрек тетки, мама шла ко мне.

– Натусь, девочка, уж ты постарайся, дружок, а то меня Ляля совсем запилила из-за твоей учебы.

Я клялась, я божилась:

– Мамочка, у меня все будет в полном, ну, в самом полном порядке! Я вызубрю эти треклятые формулы, я перестану читать на уроках...

Вечером, принарядившись, мы вместе с мамой шли на... репетиции.

В 1928 году мама открыла русский театр на улице де Тревиз.

10

*Таксисты. – Нечаянная радость. – Театр. –
Становлюсь артисткой. – «Леди Макбет»*

К двадцать седьмому году мама и Саша уже не работали на Ситроэне. Мама перешла на мыльную фабрику, а Саша стал таксистом. Получилось это случайно, по настоянию дяди Кости.

– Полковник! Милорд! – сказал он однажды. – Не подумать ли вам о новой работе?

– Какой? – оторвался от газеты Саша.

Он читал всегда только русское «Возрождение», это была ЕГО газета.

– На мой взгляд, полковник...

– Слушай, хватит уже.

– Я говорю, не пора ли тебе, как всякому порядочному русскому офицеру, стать шофером такси?

Саша недоуменно посмотрел на него, подумал, хмыкнул и снова уткнулся в газету.

– Ничего, голубь ты мой сизокрылый, из этого не выйдет. Я дальтоник. Послушай-ка, что здесь написано, – он назидательно поднял длинный палец и стал читать, выделяя каждое слово: – «Столкновение двух миров неизбежно, и нам, эмигрантам, суждено сыграть первейшую роль...»

– Я к тебе с интересным предложением, – пригнул газету к столу дядя Костя, – ты выслушай внимательно. Кто тебя тянет за язык с места в карьер докладывать, что ты дальтоник?

Это была хорошая идея. Был риск, конечно. Раскусят и прогонят с треском. Но, как любил говорить дядя Костя, риск – благородное дело. А ко всему благородному Саша относился с напряженным почтением. Он решил взяться за дело и стал готовиться к экзаменам. Я вызвалась помогать ему.

По вечерам он приходил в мою комнату, осторожно усаживался на край кровати. Я гоняла его по справочникам, учила правильно произносить названия улиц. Хохоту было!

– Да, Саша, не «сон» и не «дини», а в нос – Saint Denis! Saint!³

Он внимательно следил за мной, вытирал лоб и, мучительно кривя губы, повторял:

– С... с... сан!

Правила вождения были зубодробительными. Требовалось не только знание названий всех парижских улиц, проездов, тупиков, изучались также сложные ситуации при поворотах, на перекрестках, выездах на площади. Саша самоотверженно трудился и сдал экзамены. О дальтонизме никто не спросил. А водителем, как и большинство русских офицеров, он был первоклассным. Хотя на что-то сгодились во Франции способности русских мужчин! К тридцатому году за каждым вторым рулем среди множества парижских такси сидел русский, моментально узнаваемый по пресловутому «сан».

Вскоре Саша перешеголял дядю Костю по части заработка. Тот имел слабость, особенно во время ночных дежурств, заезжать в тупичок со знакомыми шоферами, где они набивались в одну из машин и резались до утра в белот.

Саша нет, Саша работал, как вол. Мы не разбогатели, но появился достаток. Мама стала больше заботиться о себе, купила тюбик губной помады, сшила на заказ красивое черное платье из шелка с кокетливым букетиком фиалок у плеча. На ее туалетном столике появился флакон духов Шанель. Расцвела мамочка, похорошела, словно вторая молодость пришла.

В том же году мы получили весточку от тети Веры, старшей сестры мамы и тети Ляли. Восемь лет от нее не было ни слуху ни духу, бабушка в душе похоронила ее и оплакивала и даже хотела отслужить панихиду.

– Как ты думаешь, Наденька, – спрашивала она у мамы, – не отслужить ли нам по Верочке панихиду?

– Да что ты, господь с тобой, мамочка, Вера, может быть, еще и жива!

– Душа болит. Иногда верую – жива! Иной раз тоска сосет, такая тоска. Ведь могла же хоть весточку подать, хоть с кем-нибудь известить...

Так и ставила в церкви свечу во здравие сомневающейся своею рукой.

И вдруг мы получили от тети Веры письмо.

В эмиграции все было вдруг. Вдруг повезло, вдруг полный крах, то мертвый оказался живым, то кто-то с кем-то встретился. Так и на этот раз. Письмо привез наш хороший знакомый. Он встретил тетю Веру на улице в Праге. Оказывается, она не

³ Название улицы. (фр.)

знала, где мы живем, во Франции или еще где, а мы были уверены, что она в России. И вот совершенно случайно она узнала наш парижский адрес. Обрадовалась, конечно, и прислала с этим знакомым письмом.

Я его не читала. Знаю лишь по маминому пересказу. Тетя Вера с мужем (детей у них никогда не было) уехали из Советской России, несмотря на головокружительный успех тети Веры в кино. Уехали сначала в Ригу, затем в Прагу. В Чехии тетя Вера снялась в двух фильмах, теперь собиралась в Париж. Помнится, мама говорила о совершенной тетей Верой ошибке.

– Не понимаю, не понимаю, – твердила мама, – кой черт дернул ее тащиться за границу! Снялась в большом фильме, в главной роли... Ну, и сидела бы дома. А здесь... На что рассчитывает? Не понимаю.

Как бы там ни было, все были счастливы. Больше всех бабушка. Еще бы! Старшая дочь нашлась! Бабушка тут же на радостях побежала на рю Дарю и отслужила благодарственный молебен.

В следующем письме тетя Вера открыто возмущалась маминой пассивностью. «Я думала, Надя давным-давно на сцене, а она на какой-то мыльной фабрике мыльную стружку в пакеты заворачивает. Вот и сбываются мои слова, я всегда говорила, что она не настоящая артистка. И ты, Надя, не обижайся, а погляди вокруг. Разве не у вас в Париже функционируют русские театры Кировой, Рошиной-Инсаровой? Эспе?»

Это была правда. В Париже в то время открылось несколько русских театров. Тетя Вера задела маму преобольно, мамочка даже всплакнула по этому поводу. Но, высушив слезы, прокричала:

– Да чем же я хуже, в конце концов!

И решила открыть свой театр.

Поначалу никто не воспринимал эту идею всерьез. Мама металась по дому. Однажды в столовой чуть не опрокинула на себя полку с посудой. Удерживала ее на веся, пока дядя Костя снимал тарелки, и продолжала шуметь:

– Вы даже не представляете, какой у меня будет замечательный театр! Мы утрем французам их занудливые носы! Они еще услышат, что такое русский артист!

Бабушка опасливо проверяла, не побились ли ее драгоценные тарелки, уговаривала:

– Сядь, Надя, угомонись. Все это ты можешь рассказать и в сидячем положении.

Но мама никак не могла угомониться.

– Люди, – кричала она, – люди мои дорогие! Наша Вера ровным счетом ничего не понимает! Она слишком прямолинейна, наша Вера, ей кажется, что все так легко и просто. Но театр у меня будет! Вот увидите.

Постепенно все стали свыкаться с мыслью о мамином театре. Саша перестал ухмыляться. Внимательно слушал, шурился, словно видел грядущий мамин успех. Денег для первого взноса за аренду помещения у него было приковано достаточно. Но гарантии ему тоже были нужны.

– Стоп, – тормозил он мамин разбег. – Где ты наберешь столько артистов?

– Артистов! – всплескивала руками мама, дивясь Сашиной тупости. – Да стоит только заикнуться... – она начинала загибать пальцы, – Борис Карабанов – раз! Дружинин – два! Прекрасный режиссер к тому же. Читорина, Добровольская. Господи, о чем я думаю! Петрунькин!

Во время этих разговоров часто присутствовал Фима и тоже задавал вопросы, когда Саша оказывался повергнутым на обе лопатки.

– Вы место, ну, где вы будете разыгрывать все эти ваши драмы и комедии...

– Вот, – перебивала мама, – вот так и назовем – «Театр драмы и комедии»!

– Прекрасно, – терпеливо соглашался Фима, – вы место для театра уже нашли?

– А что, – опасливо поглядывал на маму Саша, – здесь могут возникнуть сложности?

– Нет, зачем же сложности, – Фима поворачивался в его сторону всем корпусом, – но я бы посоветовал вам найти богатого коммерсанта...

– Это еще зачем? – брезгливо оттопыривала нижнюю губку мама.

Искусство и коммерция были для нее понятиями совершенно несовместимыми.

– Затем, что ваш распрекрасный театр кто-то же должен финансировать. Хотя бы на первых порах. Без денег вы прогорите.

– А почему это мы с места в карьер прогорим? – возмущалась мама. – Мы еще ничего не сделали, а вы уже отвечаете.

Фима набирал в легкие воздух, доставал записную книжечку, брал карандаш и задавал маме совершенно неожиданный вопрос.

– Дорогая Надежда Дмитриевна, просветите меня. Скажите, как велико в Париже число русских эмигрантов.

– Ну, этого никто не знает. Во всяком случае, много.

– Двести? Триста?

– Да нет же, несколько тысяч, наверное.

– Добре. – Фима задумчиво водил карандашом по усам. – Добре, берем зал на триста кресел.

– Нет, это мало, – прищурилась мама, – пусть, по крайней мере, пятьсот.

– Четыреста, – торговался Фима и заносил в книжечку эту цифру. – Итак, – клал книжечку на стол и откидывался на сиденье, – к вам пришли четыреста русских эмигрантов...

– Почему только русских?

– Простите, а французам это зачем? Или вы по ходу действия будете выкрикивать в рупор перевод?

– Ах, да, – терла мама лоб кончиками пальцев, – они же не поймут.

– Итак, вы привлекли в свой замечательный театр четыреста русских эмигрантов. Все они с наслаждением посмотрели на страдания принца Гамлета. Теперь скажите положе руку на сердце: все эти люди придут на это же самое представление еще раз?

– На Гамлета – нет.

– Прелестно. Значит, чтобы эти самые четыреста человек снова пришли в зрительный зал, нужно что? Нужен новый спектакль.

– И поставим.

– Надежда Дмитриевна, вы же умная женщина, вы же лучше меня знаете. Постановка стоит денег. Декорации там всякие, художества, финтифлюшки. И потом, насколько я понимаю, господам артистам надо платить жалование.

Вот тут Фима и проигрывал. Всю его тщательно продуманную атаку мама разбивала одним взмахом руки.

– Вы плохо знаете нашего брата артиста! – гордо парировала она, вздергивала подбородок и смотрела из-под дрожащих от негодования ресниц, – ни один из них, слышите, вы, расчетливое создание... Ни один из них даже не подумает просить жалование, пока театр не встанет на ноги.

– Даром будут работать?

– Не даром, не даром, вы, человек с булыжником вместо сердца, а во имя святого искусства!

– Ну вот, обижают бедного еврея, – улыбаясь, сдавался Фима и прятал так и не понадобившуюся книжечку в карман.

Он внимательно вглядывался в просветленное мамино лицо.

– Помогай вам Бог, дорогие мои. Помогай вам Бог. Я, наверное, действительно чего-то не понимаю.

Финансировать театр мама так никому и не предложила. Богатым русским это было совершенно не нужно. Искать меценатов во французской среде нечего было и пытаться. Французам, тем более, была совершенно безразлична идея возрождения русской культуры. В результате мамин театр просуществовал два с половиной года на... Сашин шоферский заработок.

Собрания артистов проходили уже не у нас, не на Вилла Сомейе, поэтому всех подробностей организационного периода я не знаю.

К весне набралась труппа из двадцати пяти человек. Был заключен договор об аренде зала на улице де Тревиз, составлен репертуар. Театр должен был начать функционировать с октября, а за лето артисты решили поставить «Вишневый сад».

Репертуар с самого начала обещал быть солидным, хоть и повторявшим все некогда поставленное и сыгранное в России. Брели «Человека с портфелем», «Даму из Торжка», «За океаном», «Без вины виноватых», «Макбета», ставили нашумевший в Париже спектакль по Леониду Андрееву «Тот, кто получает пощечины». Шла «Анна Кристи», из новых советских пьес взяли «Квадратуру круга» Катаева и «Зойкину квартиру» Булгакова.

Начало театрального сезона сложилось прекрасно. После первого же спектакля о мамин театре заговорили. Газета «Возрождение» приветствовала это еще одно «прекрасное начинание – признак оживления русской культуры за рубежом». Расстроганная публика приходила за кулисы со слезами благодарности, засыпала артистов цветами.

Но сама по себе артистическая жизнь была сплошной мукой. В арендуемом зале проходили только генеральные репетиции и шли спектакли. Два представления в месяц. Этого было явно недостаточно, чтобы окупить расходы. Репетиции же устраивались по вечерам на дому у кого-либо из артистов. Все эти люди в дневные часы служили кто в ресторане кельнером, кто на киностудии примерами или статистами. Режиссировали по очереди В.М. Дружинин и Г.С. Громов.

Прошло немного времени, и, за неимением более подходящей кандидатуры, меня назначили на роль Генриха в пьесе «За океаном». В труппе не было молодежи, а молодость наших артистов кончилась, разменялась в переездах, в поисках работы, на саму работу, не имевшую никакого отношения к театру. Большинству было около сорока или за сорок.

И вот мы с мамой едем на квартиру к Немировой. Это была старейшая и опытная артистка, у нас она играла старух.

Я не замечала толкотни в метро, не видела, куда идем. Перед глазами плыли точки, душа уходила в пятки. Страшно было. Вдруг осрамлюсь, не понравлюсь, и меня не возьмут. Следом за мамой без памяти поднялась на четвертый этаж и стала раздеваться в полутемной прихожей.

– Что это у тебя руки, как ледышки? – спросила мама и повела меня в комнату.

Оттуда накатывала волна веселого говора.

Когда дверь открылась, вся эта говорильня обрушилась на нас. Я попала в чьи-то объятия, меня затормошили, над головой заахали, кто-то, словно из живота, вешал гулком басом:

– Нашего полку прибыло! Вот вам и молодая смена!

Народу в комнате было! Невероятно, как они все там помещались. Все стулья были заняты, сидели по два человека в креслах, кто мостился на ручках этих кресел, кто пристроился на полу, на коврик, кто на подоконнике. Меня запихнули в угол дивана и оставили в покое.

Руки согрелись, я стала разглядывать всех по очереди. В «Вишневом саду» я многих видела на сцене, а вот так, вблизи, в первый раз.

Напротив меня сидела Добровольская. Это она играла Аню. Она была самая молодая, лет тридцати пяти, красивая, с необыкновенно светлыми глазами. Возле нее, на ручке кресла, как амазонка, устроилась маленькая, подвижная Дора Леонтьевна Читорина. Ее как раз и прочили на роль Генриха, но она отказалась.

– Опомнитесь, господа, мне сорок три года. Пора и честь знать – играть мальчиков.

Но деваться некуда, мальчиков она больше не играла, а роли молоденьких девушек ей доставались, и театр при этом никогда не проигрывал. Да все они были хорошими артистами. Я думаю, на плохих просто не стали бы ходить. Единственным, на мой вкус, недостатком, причем они все им страдали, был излишний пафос. Во стра-

стях играли. Повзрослев, я на эту тему часто спорила с мамой. Она говорила:

– В театре не может быть и не должно быть никакого реализма. Реализм вон – на улице. Иди и наслаждайся. А театр есть театр. Там все условно.

Возле Читориной и Добровольской, прямо на ковре, опершись на боковину кресла, сидел Петрунькин. Раньше я его никогда не видела, но по рассказам мамы сразу узнала. Он, действительно, оказался похожим на Мефистофеля. Лоб с залысинами, нос с горбинкой, одна бровь выше другой, рот тонкий. Но глаза у него были не мефистофельские, добрые. И артистом он был превосходным. На миг он встретился с моим взглядом, подмигнул, а я совершенно смутилась.

Точно так, украдкой, разглядывала я и братьев Годлевских. Один из них был артистом, крупный, высокий, немолодой. Другой, небольшого роста (он занимался нашими декорациями), делал эскизы, весьма примитивные, а потом под его руководством строились эти декорации.

Честно признаюсь, оформление в мамином театре было не на высоте. Но что поделаешь, настоящего художника пригласить она не могла, для этого нужны были немалые средства, а их-то как раз и не было. Годлевский же младший работал «за спасибо», из любви к искусству.

Это выражение – «из любви к искусству» – как-то потеряло первоначальный смысл, его слишком часто употребляют с иронией. Без всякой иронии употребляю его я. Не один Годлевский, – все они жили подлинной, бескорыстной любовью к искусству. Просить жалование? Да это никому даже в голову не приходило! Все и без того были признательны маме. Она собрала их в труппу, дала возможность заниматься любимым делом. Жена Громова так и говорила:

– Не будь Надежды Дмитриевны, так и подошли бы без театра.

Муж ее, режиссер, досадливо морщился.

– Анюта, прошу тебя, не выражайся, как торговка на базаре.

Анюта была ослепительно хороша и походила на аристократку из древнего рода.

Не всех артистов я помню, не со всеми была знакома, но об одном не могу не рассказать. Я влюбилась в него с первого взгляда. Борис Карабанов! Талант, умница, душа труппы, скульптурная голова, в уголках рта мировая скорбь.

Он был прост и доступен, по ночам вместе с Годлевским колотил молотком по доскам, сбивая «хоть во что-нибудь удобоваримое» театральные декорации. Работал гримером на крупной французской киностудии, и все говорили, что в Париже ему сказочно повезло.

В тот день, в день моего первого выхода в свет, читали «За океаном». Читал Владимир Михайлович Дружинин. Он же собирался ставить эту пьесу. Про него мама рассказывала анекдот.

Они хотели взять что-то из наполеоновских времен. Размечтались, распределили роли. Потом только всполошились:

– Да, к стати, а кто же будет играть Наполеона?

Огляделись – нет никого на роль Наполеона.

– Пхи, – сказал маленький и толстенький еврей Дружинин, – Напольён, что такое Напольён? Напольёна вже таки могу сыграть я.

Стоял дикий хохот. Но, я думаю, Дружинин лукавил. Сильного еврейского акцента я у него не замечала.

Дружинин стал моим первым режиссером. Ко мне он относился бережно, никогда не сердился, если не получалось. Останавливал сцену, подолгу и серьезно говорил со мной, а все остальные, к великому моему удивлению, не роптали, не торопили Владимира Михайловича, а так же внимательно и сосредоточенно слушали.

Много он со мной возился. Наконец, на одной из репетиций свершилось! Ноги оторвались от земли, голос зазвенел.

– Хорошо, хорошо, – шептал под нос Дружинин, не сводя с меня пристального взгляда. После репетиции сказал маме: – Кажется, из этой малявочки будет толк.

На репетициях – Дружинин, а дома со мной занималась мама. Мы разбирали роль Генриха, придумали ему целую биографию, отработывали жесты, словом, трудились до полного изнеможения всего над несколькими положенными мне реплика-ми. Тетя Ляля робко стучала в дверь:

– Артисты, идите-ка ужинать. Все на столе и стынет.

Смирилась.

Потом наступил роковой день. Не маминой дочкой, а полноправной артисткой стояла я на выходе и испуганно смотрела на отрешенные лица партнеров, неузнаваемые, страстные. У Дружинина мелко тряслись руки, Читорина, вытянувшись в струнку, закрыв глаза, что-то шептала. Осторожно, на цыпочках, к маме приблизился Саша и негромко сказал:

– Полный сбор, можно начинать.

– Господи помилуй, господа помилуй! – не отвечая, крестилась мама.

Пошел занавес.

До конца моих дней не забуду атмосферу любви и дружбы, царившую в мамином театре. Артисты никогда не ссорились, никто не интриговал, не подсиживал. Что декорации, весь реквизит, костюмы – это тоже приходилось делать самим. Костюмами и реквизитом заведовал такой дядя Гоша. Не артист, просто человек, безгранично преданный театру, всякий раз с надеждой ожидающий прибыли от сборов, чтобы купить какой-то замечательный прожектор и набор инструментов для изготовления париков.

Сборы не приносили прибыли. Аренда помещения и налоги съедали все. На одни афиши и программы уходила половина Сашиного заработка, но он не роптал. Положение обязывало.

Зато дни премьер! Толпы народу за кулисами, поцелуи, поздравления и цветы. С громом открываемые бутылки шампанского. И после каждой премьеры – трепетное ожидание рецензий.

Неизвестно, кто писал эти рецензии. Возможно, это были некогда знаменитые театральные критики, подрабатывающие теперь от случая к случаю в русских газетах. О нас говорили всегда в поощрительном тоне. В рецензии на «Человека с портфелем» отметили даже меня. Но это уже позже.

Год двадцать девятый – расцвет театра и головокружительный мамин успех в «Макбете».

Не обошлось без нервотрепки. Платье для леди Макбет решили заказать у Ира де Беллин, довольно известной модельерши, державшей большую швейную мастерскую. При ближайшем рассмотрении «Ира де Беллин» оказалась Ириной Владимировной Белянкиной, но работали у нее превосходно.

Шили серо-жемчужное платье с квадратным вырезом, ниспадающими широкими рукавами, с золотой окантовкой по подолу.

За день до премьеры платье не было готово. Саша разрывался между театром, где шла генеральная репетиция, и мастерской Иры Беллин. Мама нервничала. Из-за нее останавливались сцены. Режиссер метал громы и молнии. В соседнем со сценой помещении дядя Гоша вколачивал дополнительные гвозди в трон, сломавшийся, как только король Дункан сел на него. Среди артистов назревала паника.

– Я не могу репетировать! – жаловалась в перерыве мама. – У меня не идет из головы это чертово платье! В чем я выйду завтра? В ночной рубашке?

– Душечка, – уговаривал ее Дружинин, одетый в костюм воина, – надо будет, пойдете в ночной рубашке. Пойдете и, как миленькая, будете играть. А кто явится с претензиями, скажем – так задумано.

И мама не могла удержаться от улыбки. Дружинин всегда умел разрядить обстановку.

К концу репетиции приехал Саша и сказал, что Ира Беллин поклялась всеми святыми – платье будет готово завтра к трем.

– Без примерки, без прохода... – ворчала мама.

Расстроенные, поехали домой. Там тоже все валилось из рук. Мама без толку ходила по комнатам, бросилась ничком на кровать и даже ужинать не захотела.

На следующий день Саша привез платье. Не распаковывая картонки, мы поехали в театр. На великое наше счастье, с нами увязался Фима. Ему было по дороге куда-то по своим делам до начала спектакля.

Не доезжая полквартиры Саша высадил нас в тихом переулке, а сам развернулся и, фыркая мотором, умчался в типографию за программами. Мы отправились дальше пешком. Впереди мама с картонкой, я следом за нею, за нами Фима.

— Куда вы летите, как на пожар?

И только ему оставалось сделать несколько шагов, чтобы свернуть к метро, как вдруг — о, ужас! — из подворотни выскочила и перебежала нам дорогу черная, как ночь, кошка.

— Все! — вскричала мама и встала, как вкопанная, уронив картонку. — Вот теперь все! Как хотите, а дальше я не пойду.

Ровно секунда потребовалась Фиме, чтобы оценить ситуацию. Изловчившись, цапнул он кошку, усевшуюся тут же под деревом, за хвост и протасил задом наперед до подворотни, сняв тем самым колдовское воздействие, приписываемое этим ни в чем не повинным животным. Не разгибаясь, не отпуская орудие существо, он сделал маме приглашающий жест:

— Прошу вас, мадам!

Опасливо подобрав картонку, мама во весь дух помчалась в сторону театра. Я за нею. А Фима, прижимая оскорбленную в лучших чувствах кошку к толстому животу, посасывал ошарапанный палец, сдвываясь и кричал:

— Ни пуха ни пера! Встретимся после спектакля!

Я обернулась на бегу. Какой-то француз удивленно таращился на Фиму и крутил пальцем возле виска.

В тесной маминой уборной, да и во всем театре было тихо. Часы только-только пробили три с половиной. Мы отдышались, потом развернули злосчастное платье, и мама надела его.

— По-моему, широко, — поворачивалась она перед зеркалом. — Да, широко!

Я сказала:

— Надо ушить по бокам, ничего, не видно будет.

Проверили, наметили, я схватила иголку с ниткой и стала шить прямо на ней. Мама стояла перед зеркалом, развела руки и зажав губами обрывок нитки. Тоже одна из примет.

— Хорошо, — сказала мама, когда процедура закончилась, — по-моему, хорошо, а?

Она стояла статная, устремленная ввысь, в сказочном платье с высоким подрезом и небольшим шлейфом.

В коридоре послышались голоса, в уборную заглянул Карабанов.

— Готовы, Надежда Дмитриевна?

Он пришел гримировать и причесывать ее.

Длинные мамины косы распустили. Затем волосы были собраны на макушке, ловкими движениями перевиты в две толстые пряди, сложены и закреплены узлом. Мама подавала шпильки, Борис Николаевич все время спрашивал, не тянет ли, удобно ли ей поворачивать голову.

— Хорошо, хорошо, — отвечала мама, наклоняясь навстречу протянутой сетке с крупными ячейками и вшитыми в них жемчужинами. Сетка плотно охватила прическу.

Я сидела на маленьком диванчике и следила, как он колдует над ее лицом. Потом мама повернулась ко мне, и я не узнала ее. Женщина с огромными, неистовыми глазами, с жестким ртом, высокомерно и гибельно смотрела мимо меня. Карабанов надвинул на мамину голову тонкий обруч.

Выпрямившись и положив ладони на деревянные ручки кресла, сидела леди Макбет, не видя никого — ни меня, ни Карабанова.

– Пойдем, Наташа, – потянул он меня за рукав, – не надо мешать. Мама должна сосредоточиться.

Я вопросительно глянула на нее, она одобрительно прикрыла глаза. Нет, все-таки это была мама! Я осмелилась прошептать:

– Ни пуха тебе, ни пера!

Мы шли по коридору мимо закрытых дверей уборных. На сцену пробежал озабоченный дядя Гоша с пучком каких-то веревок.

– Пора и мне одеваться, – сказал Карабанов. – Дай бог, чтобы все было хорошо. Ему предстояло играть Макбета.

Я отправилась в зал. Был он небольшой, вытянутый в длину, мест так на триста. Стены покрашены серой масляной краской, жесткие кресла составлены плотно. Зрители с трудом протискивались между рядами, но никто не роптал. В приподнятом настроении все чинно рассаживались, над публикой стояло привычное жужжание театральных разговоров обо всем и ни о чем. Я вдруг поймала себя на мысли, что все без исключения говорят по-русски. Это было так странно.

Я прошла в пятый ряд, предназначенный для своих. Бабушка и тетя Ляля усадили меня. В узком проходе стоял Фима и рассказывал дяде Косте историю с кошкой. Дядя впился в Фиму влюбленными глазами и изо всех сил сдерживался, чтобы громко не рассмеяться.

Я отвечала невпопад на теткин вопросы о маме, я отказалась от шоколада, протыгиваемого Петей, я боялась пропустить главный момент. И все же пропустила. На секунду закрыла глаза, а когда открыла – занавеса уже не было. В синем туманном мире три ведьмы делали свое дело – рассказывали Макбету грядущую историю его падения.

После спектакля, когда все кончилось, когда отходил туда-сюда занавес, я минут десять не могла пробиться к маме сквозь восторженную толкотню за кулисами. У двери в уборную стояла уже не грозная, не поверженная, не леди Макбет. Это снова была мама с размазанным от слез и поцелуев гримом.

Я мельком видела размягченные лица тети Ляли и бабушки. Пишала Татка, протискиваясь между чьими-то боками, Фима через головы тянул шевелящийся букет пунцовых роз. А возле стены, особняком, скрестив на груди руки, прямой и невозмутимый стоял отчим. Его глаза встретились с моими. Он неожиданно ухмыльнулся и мотнул головой в сторону поздравляющих. Грудь его поднялась от глубокого удовлетворенного вздоха. Ну, мама! Уж если Сашу нашего так проняло!..

Через полчаса мы, наконец, остались одни. Я должна была распороть крепко зашитые бока платья. Мама стояла смирно и все боялась, как бы я не порезала ткань, потом вздохнула, сняла с головы обруч и положила на гримировальный столик.

Я заставила ее прилечь хоть на пять минут. Не снимая платья, она послушно легла на диванчик, лежала спокойно и счастливыми глазами смотрела мимо меня.

Весной вернулся хозяин дома и попросил нас съехать с Виллы Сомейе. Тетя Ляля сняла хорошую квартиру в пять комнат. С Фимой, Петей и Таткой они уехали первыми. Снял неплохую квартиру и дядя Костя и перевез Марину с бабушкой. А мы с мамой и Сашей пошли скитаться по ненавистным отелям. Семья распалась, детство кончилось.

11

*Монпарнас. – Летние лагеря. – Мечтатели. – Церковь. –
Лекции на Монпарнасе*

Существовал в Париже Союз христианской молодежи, или сокращенно – ИМКА. Это слово легко входило в наш лексикон. ИМКА располагалась в особняке на буль-

варе Монпарнас. Импозантный снаружи, особняк был беден внутри. Во дворе была церковь, перестроенная из конюшни. Финансировали все это дело американцы.

Никаких американцев я в глаза никогда не видела, но русских детей и молодежи там набралось человек триста, не считая взрослых руководителей и всякого рода деятелей, так или иначе связанных с ИМКА.

В один прекрасный день к маме в театр явилась депутация с Монпарнаса с просьбой помочь костюмами для новогоднего представления, а позже возникла мысль организовать там детский театр. Маму потащили на Монпарнас и уговорили взять на себя это дело.

К тому времени я осталась совершенно одна. Сестры и брат жили в разных концах Парижа, мы встречались от случая к случаю да с Таткой и Мариной мельком в лицее. Не раздумывая, я помчалась за мамой участвовать в детской самодеятельности.

Наступил мертвый сезон. Как руководитель кружка мама обязана была ехать в летний лагерь. Естественно, она брала меня. Для лагерного костра собирались ставить «Сорочинскую ярмарку», и мама пообещала мне хорошую роль.

Поселились мы в запущенном поместье на берегу Атлантического океана близ Бордо. Лагерь был большой, многочисленный, в отличие от скаутского отряда. А тот сам собою распался к тому времени. Инна вышла замуж и уехала в Англию, мы выросли.

В новом лагере были солидные, взрослые воспитатели, был заведующий хозяйством, вечно озабоченный однорукий Пьянов, был повар дядя Миша, был священник отец Николай.

Временная церковь во всех монпарнасских лагерях устраивалась обязательно. В специально выделенном помещении делалась перегородка для алтаря. По бокам от входа в алтарь устанавливались на покрытых вышитыми полотенцами столиках иконы Христа и Божьей Матери. Несколько икон развешивалось на стенах.

Чтобы церковь не казалась пустой, ее украшали ветками можжевельника, на пол ставили кувшины с букетами полевых цветов. С потолка свешивался импровизированный светильник из железных обручей, перевитых еловыми лапами. Зажигались лампы и свечи, получалась уютная церковка.

Мальчиков в лагере не было, они находились в другом месте. Самые маленькие девочки поселились в залах пустующего дома. Они спали на полу, на чисто застеленных и пышно взбитых матрацах. Женщины-воспитательницы, по два-три человека, размещались в небольших комнатах, а для остальных разбили во дворе палатки. Я, разумеется, предпочла палатку. К маме ходила лишь в гости и часто встречала ее соседку, симпатичную девушку лет двадцати. Звали ее Тамара Федоровна, но более близкое знакомство нам предстояло через много лет. Тамара Федоровна хлопотала по хозяйству и была помощницей Пьянова.

В нашем полотняном домике поселилось семь девочек и воспитательница Анна Матвеевна Шумилина, жена священника.

Аннушка, как мы ее между собой называли, вовсе не походила на попадью. Молоденькая, хохотушка, затейница.

Она бегала вместе с нами в походы, вникала во все горести и радости, мы нисколько ее не дичились и принимали как равную. Да ей и было-то всего двадцать лет.

Мы окрестили нашу палатку «Зверинец». Вот полный ее состав:

Настенька Смирнова. За маленький (она была меньше меня) росточек мы прозвали ее Кузнечиком. Дома у нее была сумасшедшая мама и фанатически преданный Общевоинскому Союзу папаша. Настина мама сделалась человеком со странностями во время гражданской войны. Красные казаки на ее глазах изнасиловали, а потом убили старшую сестру.

Был в Настенькиной судьбе, как у многих, Константинополь, потом родители ее по контракту уехали во Францию. Жили в маленьком городке, отец работал на шах-

те; позже переехали в Париж. В Париже пришлось им туго, но по счастливой случайности Смирнову удалось устроиться швейцаром в дорогой русский ресторан, и жизнь наладилась.

Кузнечнику много приходилось возиться с больной матерью, когда на ту «накатывало». Бедная женщина начинала плакать, трестись и просить, чтобы ее спрятали. Сиделку нанимать во время таких припадков было не на что. Настя поила мать успокаивающими лекарствами, кутала в шерстяной платок, согревала руки.

Худенькая, светловолосая Настя со временем обещала стать хорошенькой. Большие светло-карие глаза ее сияли на бледном личике кротостью и привычкой к терпению.

Вторым номером шла у нас Нина Уварова. Полная противоположность крохотному Кузнечнику. Большая, с девичьей осанкой, вся в веснушках и огненно-рыжих кудрях. У этой была еще более дикий судьба.

Очень богатый до революции, ее отец приехал в Париж нищим. Через год он умер. Мать Нинкина оказалась на редкость неприспособленной и совершенно растерялась в новой жизни. Единственным достоянием бывшей вальяжной барыни остались маленькая Нина и чудный голос. Она взяла своего ребенка за ручку и отправилась петь под парижскими окнами.

Французы легко подают милостыню. Особенно горожане. А если просящий поет или выделывает антраша, то и подавно. Монетку в одно-два су обязательно кинут из окна. Еще и в бумажку завернут, чтобы не затерялась.

Мать пела русские романсы, дочь подбирала монетки. Тем и жили. Через некоторое время они каким то образом очутились на Монпарнасе. Мать устроили уборщицей и приютили в комнатке на задворках.

Более жизнерадостного существа, чем Нина Уварова, не было на свете. От нее исходила могучая энергия, неискоренимая радость и любовь ко всему живому.

– Нинок, ты чему радуешься?

– Ничему. Просто так. Хорошо... – и засмеется, страшно довольная.

Ингушка Фатима. Единственная на весь лагерь неправославная девочка. Когда мы уходили в церковь, она оставалась в палатке и читала привезенный с собой Коран. Я раз спросила:

– Фатя, ты там хоть что-нибудь понимаешь?

Она тяжело вздохнула.

– Что-нибудь понимаю.

Фатя жила с отцом и матерью и двумя младшими сестрами. Мать ташила весь дом и безропотно подчинялась мужу. Ее совсем девочкой выдали за пожилого человека. Теперь он состарился и часто болел. Фатина мама была неплохой портнихой, шила на дому, рискуя всякий раз попасть в неприятную историю. У нее не было патента. Немного помогла им кавказская колония, многочисленная и дружная, не в пример нашей русской.

Фатима была чудесным существом, говорила с легким гортанным придыханием, хоть и без всякого акцента, делала чертячьи глаза, если мы сговаривались на очередную шалость, кипела и бурлила больше всех.

Машу Буслаеву все раз и навсегда полюбили за веселый деятельный характер, единодушно признали мать-командиршей. Маша была круглая сирота, жила в семье бывшего однополчанина ее отца. Там Машку баловали, нежили и считали своим ребенком.

Под пятым номером шла у нас... Марина. Я уговорила ее ходить на Монпарнас, и теперь она была со мной.

И, наконец, Ирина Арташевская, ладненькая, сероглазая, самая быстроногая бегунья в лагере, и, как все мы, компанейская и неунывающая, из хорошей семьи. Мы дружили потом много лет. Не просто дружили, мы еще помогали друг другу в трудные минуты жизни.

Может показаться странным, как легко я рассказываю о летних поездках, почти фантастических. На Средиземное море, на океан. Для Франции в этом нет ничего особенного. Летом в Париже начинался мертвый сезон, большая часть предприятий закрывалась на полтора-два месяца, и все устремлялось на юг, к морю. Вот и мало-мощные русские организации, поддерживаемые материально из-за пролива ли, из-за океана ли, делали все возможное, чтобы увезти из душного города неприкаянных, болтающихся без дела детей. Родители наши только радовались возможности пристроить нас и доставить хоть какое-то удовольствие. Да и стоило это недорого. Сами они, конечно, никуда не ездили, сидели в раскаленном Париже, изнывали от безделья и тревоги, опасаясь, и не без оснований, остаться без работы в новом сезоне.

Лагеря были единственной отдушиной в монотонной, однообразной жизни. Всю молодость мы жили от лагеря до лагеря, в мечтах о будущем, в воспоминаниях о прошлом лете.

Не только яркое солнце, пахнувший йодом воздух и голубая морская волна заставляли нас говорить и говорить без конца о дорогих нашему сердцу летних лагерях. Лишь они давали нам ничем не заменимую русскую среду. То были крохотные острова в разливанном море зарубежья. На этих островах мы сохраняли язык и преданность призрачной, разоренной отчизне.

Мы не были поражены ностальгией. Мы даже несколько иронически воспринимали душераздирающие воспоминания взрослых о заливных лугах и пушистых снегах. Луга под Парижем мы и без того видели. С пушистыми снегами дело обстояло сложнее. Я, например, никогда не могла понять, как это можно – любить снег? Снег – это всего лишь смерзшиеся в хлопья капли дождя. От него стнуты руки и делается развезень под ногами.

ИМКА, ИМКА, разлюбезный наш Монпарнас! Мы сохранили в центре Парижа ощущение принадлежности к русской нации, хоть был еще дом, была семья, где говорили по-русски, мыслили по-русски, способ существования и привычки тоже были русскими. Но даже в нашу, исключительно русскую по духу, семью постепенно, исподволь вползало что-то чужеродное. Прошло всего несколько лет, но мы уже не полдничали, а «гутировали». В лавке покупали не молодое мясо – «ашэ». Посуду мыли не в раковине – в «эвье». К мясу подавался «легюм»⁴, политый «жюсом»⁵, мусор выбрасывали в «ардюрку», поздравления к праздникам посылались на «карт-посталь»⁶. Кто-то приобрел картавость, у кого-то неловкой без вкрапления французских слов становилась речь. Еще не французы, но уже не вполне русские. Странные, неизвестно за какие грехи подвешенные между небом и землей люди.

Да взять хотя бы Татку. У нас разница всего в три года, а летние русские лагеря ее уже не интересовали. Сделавшись старше, она превратилась еще и в русофобку. Если видела, к примеру, неказистое здание, обязательно говорила:

– Полубуйтесь, наверняка строил русский архитекторишка.

– Но почему же, Тата!

– А, у русских все кривобокое.

Даже внешность ее претерпела изменения. К шестнадцати годам она ничем не выделялась в толпе.

В детстве была обыкновенной русской девочкой, курносой, с круглыми глазами, а тут откуда что взялось! Весь облик переменялся. Она перестала походить на мать, отрастила челку, разрез глаз сделался немного вкось, как у белки, носик выточился и слегка приподнял верхнюю губку, как-то по-особому изящно приспособленную для французской артикуляции. Любимым ее занятием стало выискивать в нас французистость. По ее понятиям, это являлось признаком породы. А русские... так, ни то ни се – дворянжки.

⁴ Гарнир. (фр.)

⁵ Соус (фр.)

⁶ Почтовая открытка (фр.).

Зато мы, старшие, купались в лучах романтических грез и мечтали когда-нибудь, в будущем, но обязательно прославить во Франции свои русские имена. Нет, мы не собирались, как мама, утирать французам их занудливые носы, мы все-таки успели полюбить Францию, но выделиться, подчеркнуть свою принадлежность к великому народу России, к ее культуре, наивно и вдохновенно, ну, очень хотелось.

Марину удостоил вниманием «настоящий художник». Он побывал на Монпарнасе и одобрил ее работы. Теперь она думала только о художественной школе. Ирина Арташевская непременно хотела стать доктором и лечить детей. Маша больше склонялась к строгой инженерной мысли, ей хотелось проектировать, строить. Настя, правда, во время наших полетов в заоблачные выси смотрела на всех чуть испуганно. И только Нина Уварова твердо, обеими ногами, стояла на грешной этой земле.

— Ах, девочки, а вот я ничего этого не хочу. Вырасту, выйду замуж и нарожу двух мальчиков.

— У-у-у, — перебивали мы ее дружным хором, — выдумала тоже! Замуж. До этого еще далеко.

Но о чем мечтала я? Какие грандиозные планы кружили мою голову? Гадать нечего, — театр. Никакого иного пути я не видела. Мамино присутствие в лагере окончательно решило мою судьбу. Я всем доказала, что лучше меня никто не сыграет черта в «Сорочинской ярмарке».

Годам к пятнадцати я стала расцветать и уже могла безо всякого отвращения смотреть на свое отражение в зеркале. Даже слегка закругленный на конце нос не являлся помехой для сцены. Девочки отмечали красоту моих больших серых глаз, находили ладенькой фигурку. Даже мама, скупая на комплименты, однажды взяла меня ладонями за щеки, повернула к себе и, улыбаясь, сказала:

— Наташка, а ты у меня становишься хорошенькой.

С мамой мы составили дьявольский план. После лицея я поступаю в платную театральную школу. Таких школ было несколько, и поступить туда мог каждый желающий. Только деньги плати. А вот самых способных уже из этих школ брали в *Комеди Франсез* или в кино. Но я-то была, несомненно, способной!

Иногда, в пасмурные дни, мы уходили с мамой в дюны, устраивались в какой-нибудь ямке, чтобы не задувало с океана, и смотрели, как кланяются под ветром тонкие и жесткие камышинки, трепещут кусты вереска, как застревают у их основания маленькие горки сыпучего песка.

— Знаешь, — задумчиво говорила мама, покусывая сорванный стебелек, — искусство, оно как тать в ночи: жизнь или кошелек. Да отдай кошелек и живи. И будешь счастлива. Все наполнится смыслом, душа станет спокойной. Радостной будет душа. Понимаешь?

— Понимаю, — отвечала я и смотрела во все глаза на свою мать, обретшую и счастье, и покой.

Я хотела во всем походить на нее. Я давала зарок так же остервенело трудиться на репетициях, не шадя ни сил, ни нервов. Блюсти чистоту театральных законов. Не для славы, не ради букетов, почтительно подносимых благодарной публикой, но ради того хитрого маминогo ночного грабителя. Кошелек он, конечно, отнимет, но жизнь-то, жизнь оставит! Великую возвышенную жизнь. А если она не великая, не возвышенная, то зачем она?

— Так? Да? — пылливо смотрела я в мамыны изумительные глаза. — Ведь если не служить искусству, то и жить незачем, правда?

Она задумчиво грызла стебелек, медлила с ответом, словно раздумывала, стоит ли взваливать на меня неведомую тяжесть. Потом разлепляла чуть обветренные губы.

— Так. Да. Вот про это я тебе и толкую.

Я заново влюбилась в маму. Я помнила ее со стертymi на заводе Рено руками. Я помнила, как она плакала у моего изголовья в больнице. Она месила тесто для пасхальных куличей, штопала мои вещи или пыталась объяснить разницу между правиль-

ными и неправильными глаголами. Она уговаривала меня смазать ссадину на коленке... Все это была просто мама. Дорогая, любимая, нетерпимая к поллости, трусости и вранью. Это она, узнав о чем-нибудь неблагоприятном поступке, говорила:

– Все. Этот отныне для меня покойничек.

И вычеркивала из списка знакомых, и не было никакой возможности восстано-вить потом в правах провинившегося.

И вот эта мама стала вдруг артисткой! Не в грустных воспоминаниях, а наяву, взаправду. Она вышла на сцену, и зал замер при первых звуках ее полного, словно колокол, голоса.

Но и этого было мало. Она позвала меня за собой. Она вывела на дорогу, сказала:

– Вот твой путь. По нему иди.

Все обрело новый смысл. Каждая репетиция для лагерного костра, самый пустяковый разговор с моими новыми подругами, берег океана после отлива, ракушки на мокром песке, выброшенные из пучины морские звезды, мяч, летающий через сетку... И эти дюны. И вереск, и ветер, и милая русская песня.

Единственное, что отравляло эту райскую жизнь – да простятся мне все прегрешения! – церковь.

Вообразить только! Светит солнце, океан смирен, как дитя в колыбели, что с ним бывает не так уж часто. Но по лагерю бегают заведующая Римма Сергеевна и некая Антонина Ивановна, белобрысая, с тощими косицами венчиком и противно вякают:

– Девочки, все идут в церковь! Все идут в церковь! Настенька, мы тебя видим, ты стоишь за деревом! Наташа и Марина, сию же минуту вылезайте из палатки! Все идут в церковь!

Коротенькие утренние и вечерние молитвы мы переносили спокойно и даже благочестиво. Но идти средь бела дня в душное помещение, выстаивать утомительные службы... Сил не было. Мы отлынивали, мы проносили мимо ушей введливые замечания Антонины Ивановны. Наверно, поэтому ровно через год, в таком же веселом лагере, только устроенном на берегу Средиземного моря, я на многие годы совершенно отошла от церкви.

До пятнадцати лет я была очень набожной. Знала множество молитв, под бабушкиным руководством читала Ветхий и Новый Завет. Но бабушка – другое дело. Бабушкин Бог был добрый и умный. У него никогда не возникало желания ввергать в геенну огненную маленьких детей за их невинные шалости.

В то лето я стала тяготиться необходимостью ходить на исповедь, исповедовалась неискренне. Душевные сомнения предпочитала верить не попу в душевной церкви, а маме или Марине, или Насе где-нибудь на берегу под соснами. Все это мучило меня, выводило из равновесия.

В тот год в нашем лагере было два священника. Один – совсем молоденький, и не из белого духовенства, а монах. Мы любили вечерние беседы с ним и не всегда могли удержаться, чтобы не задать каверзный вопрос и не вогнать его в краску. Монашек легко краснел.

К нему я и пришла со своими сомнениями. Он внимательно выслушал, отнесся по-божески. Епитимью не наложил, каяться в грехах не заставил.

– Что ж, – задумчиво мял он в пальцах крошечный огарок свечки, – раз не чувствуешь потребности в исповеди, не ходи, не насилуй себя. Веруй. Жди. Бог тебя вразумит.

Я верую. Бог – везде. Он не только на иконе, не только в церкви. Он в каждом дереве, в каждой травинке, протянутой к солнцу. Я обращена к нему не словами молитвы, не мыслью даже, но всем существом моим, током крови.

Но на исповедь я не ходила много лет.

Перед отъездом в Париж «Зверинец» устроил совещание. Решено было не распускать нашу группу, а создать на ее основе новый кружок, каких было много на

Монпарнасе. Аннушка предложила название – «Радость». Мы подумали и согласились. «Радость» так «Радость». К зиме нас набралось двенадцать человек, и в таком составе кружок просуществовал три года. Не было на Монпарнасе группы дружней и сплоченней.

Зимой собирались по воскресеньям и четвергам в специально отведенной комнате на втором этаже особняка. Дурачились, устраивали беготню по лестнице. Решили нас приструнить и назначили новую руководительницу. Нам она не понравилась. Некрасивая, с длинным лошадиным лицом. К тому же еще заика.

Прошло немного времени, и мы полюбили Любашу Каратаеву и вместе с ней смеялись, вспоминая первоначальную неприязнь. У Любаши оказалось множество достоинств. Во-первых, она была прекрасной спортсменкой, а спорт занимал в нашей жизни далеко не последнее место. Во-вторых, она пела. Ее можно было слушать часами, во время пения пропадала некрасивость лица, исчезало заикание. Оставалась одна душа, чистая, трогательная, не испорченная тяготами повседневной жизни. Любаша много работала массажисткой и содержала мать, сварливую барыньку. А та измывалась над некрасивой дочерью как только можно. Дочь безропотно терпела сумасбродные выходки матери и подчинялась ей во всем.

Любаша стала водить нас в спортивный зал. Она предложила заняться самостоятельным изучением русской литературы. Поручала кому-нибудь приготовить к определенному дню доклад или отыскать хорошие стихи и прочесть вслух для остальных. Доклады наши были поверхностны и наивны, зато поэзией увлеклись все поголовно. Мы переписывали стихи Пушкина, Баратынского, Фета, Тютчева, Мережковского, Гумилева, Бальмонта, Ахматовой... Чьих только стихов не было в наших тетрадях!

В монпарнасском особняке на первом этаже находился зал и просторная сцена с системой кулис. Два раза в месяц на этой сцене разыгрывались наши спектакли, а по воскресеньям все желающие могли послушать лекции известных русских писателей, критиков, профессоров. Мы узнавали о Киевской Руси, о Петре Великом, о золотом веке Екатерины, о русских поэтах.

Маститые, серьезные лекторы не всегда были понятны, но мы питали к ним уважение, хоть и растеряли впоследствии их имена. Впрочем, нет, кое-кого помню. Бывали у нас в числе многих Бердяев, Ходасевич, профессор Одинец, профессор Дмитрий Иванович Ильин...

После лекции, ближе к вечеру, в том же зале устраивались вечеринки с танцами, но в первый год вечеринки нас мало интересовали.

А еще мы любили устраивать увлекательные поездки по Франции. В первую весну ездили в Амьен, смотреть знаменитый собор.

Как описать его? Какие найти слова? Мы ходили вокруг храма, задирали головы к изумительным, навеки застывшим статуям, дивились искусной резьбе, каменным кружевам и переплетениям в розетках. А гулкий полумрак внутри собора... Нет, не передать словами, – это надо видеть, этот полет стрельчатых башен в самую глубину неба. Казалось, они плывут среди застывших на месте кучевых облаков.

Уставшие, переполненные впечатлениями, мы ушли после экскурсии за город, там, прямо на молодой травке, расстелили походные скатерти, «гутировали», а потом был диспут на тему «Любовь и жалость».

Тогда я впервые увидела мать Марию. Была она уже в монашеском одеянии, сидела совсем близко. Она и вела диспут. Говорила увлеченно, интересно. Все кругом оживилось, заспорили. Я тоже изрекла что-то вроде того, что жалость без любви возможна, но любить, не жалея, никак нельзя. Матушка наклонилась ко мне, потрепала по руке и спросила с улыбкой:

– Сколько же тебе лет, что ты так по-взрослому рассуждаешь?

Стало немного грустно, – мне хотелось выглядеть солидней своих четырнадцати. Но матушка была так добра, улыбка ее с ямочками на щеках так прелестна – я не обиделась.

В той поездке была с нами и старшая дочь матери Марии – Гаяна. Она походила на мать, только глаза совсем другие – большие, круглые, светлые. А у матери Марии – карие. И, если она снимала очки, прищуренные.

Уже в годы войны, когда наши судьбы тесно переплелись, я узнала от матери Марии печальную историю Гаяны. В 1936 году она уехала в Советский Союз с Алексеем Толстым.

Из Москвы Гаяна писала матери восторженные письма, мечтала навсегда остаться в России. И осталась. Она тяжело заболела и умерла.

По Парижу ходили толки и пересуды, будто Гаяну утомили большевики, но мать Мария этим слухам не верила.

Да и я думаю, кому бы это понадобилось – убивать молоденькую девушку, никому не сделавшую никакого зла?

12

Тетя Вера. – Конец театра на улице де Тревиз

В 1930 году в Париж приехала тетя Вера. Она оказалась очень похожей на маму, только худенькая и ниже ростом, с коротко остриженными темными волосами.

Вера широко ходила по комнате, при разговоре рубила ладонью воздух. Раз сказанное было для нее как отрезанное.

За годы разлуки родственные связи с тетей Верой нарушились. Милой семейной обстановки по бабушкиным мечтаниям не получилось, хоть и собирались мы по праздникам в большой теткиной квартире. Но мы все были свои, а тетя Вера с мужем приходили как бы в гости.

Меня она оттолкнула от себя сразу. Как это вдруг я играю в мамином театре под фамилией Вороновых!

– У нее нос не дорос – становиться в ряд с профессиональными артистами! – сердилась тетя Вера. – Получается, будто бы я и она, и... – тут она делала паузу, – и ты, Надя, – одно и то же. Ан нет, пусть сперва поучится с наше.

Обидно было до слез. В тот момент я репетировала Гогу в «Человеке с портфелем», и все были мною довольны.

Играть в мамином театре тетя Вера не стала. Мужу позволила режиссировать. Мерцалов был сильным режиссером, это все понимали. Но он пришел в театр без должной деликатности, и это задело Громова. Громовы разобиделись и ушли.

Тетя Вера приходила на репетиции. Артисты перед нею тушевались, робели. На меня она действовала и вовсе как удав на кролика. Как увижу, что она усаживается, как направит она на меня внимательный взгляд – все! Заикаюсь, гасну, пропускаю реплики. Удивляло меня, право, мамино смирение перед нею. Тетя Вера часто ее поправляла. Замечания тетя Вера делала тихо, будто по секрету, показывала что-то проходами, жестами, а мама внимательно следила и повторяла в точности.

А вот с ее Алексеем Владимировичем Мерцаловым мне работалось легко. Он по пьесе играл моего отца. У нас была сцена – я сижу на стуле, он подходит, обхватывает мою голову, говорит монолог. На премьере в этом месте поднимаю глаза и вижу лицо его, залитое слезами, хотя голос, перемалывающий эти слезы, не срывается, не дрожит, держится на последней грани отчаяния. У меня от этих слез перехватило дыхание, все исчезло, не стало ни зала, ни публики. Только мы во всем мире, страдающие отец и сын. И ответные мои слезы.

После спектакля, когда я спустилась на землю, тетя Вера глянула мельком, скрыла что-то в глазах, буркнула:

– Неплохо.

И все. Зато наши чуть не задушили меня в объятиях. Я переходила от одного к другому, как пчела, собирая поздравления, пока не добралась до мамы. Усталая и

обессиленная, я уткнулась в ее плечо. Потом обернулась и встретила взгляд тети Веры. Она насмешливо вскинула бровь.

Через год она закрутилась и совершенно пропала для нас на парижских киноулицах. Много позже, посмотрев тетю Веру в отснятых с нею фильмах, я была покорена мастерством и выучкой этой вечно работавшей над собой артистки. Я поняла, что в детстве была непроходимой дурочкой и зря не прислушивалась к ее советам. Меня оттолкнула внешняя суровость ее, главное же пронеслось мимо.

Я видела тетю Веру в нескольких фильмах и могу сказать, положила руку на сердце, чтобы закончить этот вечный спор между двумя сестрами. Да, она была профессиональной мамы. И у нее, как у многих артистов старой школы, была излишняя пафосность. Но этот недостаток с лихвой покрывали выучка и отточенное, филигранное мастерство. Если сравнить их, можно сказать так: тетя Вера была артистом тончайшей техники, мама – артистом чувства.

Трудно судить, но, по-моему, они принадлежали к разным школам. Какая из них лучше, для них обеих уже не имеет никакого значения.

Французские фильмы с тетей Верой никогда не считались выдающимися. Роли ее были незначительны, иной раз маленькие эпизоды. Играла она пожилых, старше, чем сама была в жизни, мамаш. Но она запоминалась. Не только нам. Мы-то ради нее на эти фильмы и ходили. Но посторонние люди, никогда не знавшие тети Веры, спрашивали у мамы:

– Эта Вороновская в «Жанно» не родня ли вам, Надежда Дмитриевна?

И мама с удовольствием отвечала:

– Родная сестра.

Тетя Вера осталась артисткой одного фильма, снятого в России. В Париже показывали этот фильм. Французская критика признала его шедевром мирового кино. Но фильм Пудовкина «Мать» не облегчил жизни нашей тете Вере. За границей ей повезло больше, чем маме, но и это были крохи с чужого стола.

Весной тридцать пятого года тетя Вера попала в больницу. Ей сделали несложную операцию, никакими последствиями это не грозило. Мы с мамой ходили ее навещать. Тетя Вера была весела, все страхи остались позади, операция прошла успешно. Незаметно было, чтобы она за эти годы состарилась, да ей и стукнуло всего сорок пять. Как все в нашей семье, она не собиралась сесть, была в полном расцвете сил. Она несколько смягчилась с возрастом, подобрела. В тот день они с мамой ударились в воспоминания, рассказывали, перебивая друг друга, смешные истории из театральной жизни. В окно палаты заглядывало вечернее солнце, в веере рассыпанных сквозь оконный переплет лучей танцевали пылинки. Я ловила каждое слово.

Потом тетя Вера устала, мы заторопились уходить. Она взяла маму за руку и настойчиво удержала.

– Надя, скажи честно, ты не держишь на меня зла?

– Вера, господь с тобою, за что?

– Да ведь выжила я тебя тогда из Москвы...

– Вера, Вера, какое это теперь имеет значение! – мама нагнулась и поцеловала ее.

– Вот и славно, – откинулась та на подушках и поморщилась от неосторожного движения. – Ступайте с Богом. Спасибо, что навестили.

Мы вышли на улицу, я спросила у мамы:

– Расскажи ты мне, наконец, как это она тебя выжила?

– Ну, как. Злилась, упрекала: «Ты ломаешь мне карьеру, перебегаешь дорогу». Мы с ней схожи, фамилия одна – нас часто путали. Она сыграет, а поздравляют меня. Вот я и ушла, чтобы не доводить до раскола. У меня потом в Ярославле прекрасные два сезона были.

– Мама, а ведь я ее не люблю.

– Веру? Ну и глупо. Вера – прекрасный человек, прекрасный. Да, она сурова, прямолинейна. Ее, чтобы полюбить, понимать надо.

Но было уже поздно. На следующий день у тети Веры поднялась температура, открылось заражение крови. Через три дня она неожиданно для всех умерла.

Русская артистка Вера Вороновская была похоронена на французском кладбище в предместье Бианкур.

С рассказом о тете Вере я забежала вперед, чтобы больше не тревожить ее скорбную тень. А тогда она все время пророчила маме распад театра. И как в воду глядела. Напряжение двух с половиной лет начинало сказываться. Артисты выбивались из сил, все бедствовали. Да и сколько можно было на скудные заработки одного таксиста содержать не приносящее прибыли предприятие! Было продано мамино кольцо с бирюзой, заложил в ломбарде кольцо Борис Карабанов, Читорина и Дружинин продали какие-то ценные вещи.

– Продержаться бы, – обводила алчным взором нашу комнату мама, – еще пару месяцев продержаться бы, а там, глядишь, и пойдет.

Но когда ее взгляд упал на дедушкину шкатулку, тетя Ляля заявила, что она с мамой знаться навсегда перестанет, если та шкатулку продаст. Шкатулка была массивная, чистого серебра, а вместо украшений на ней были выгравированы автографы дедушкиных однополчан.

Весной тридцатого года мы сменили подряд три отеля. Однажды пришла тетя Ляля и взяла маму и Сашу в оборот.

– До каких пор будет продолжаться это истязание! Живете друг у друга на голове! Наташа, между прочим, уже большая девочка. Хоть угол отдельный ей нужен? А вы сами? Это что, достойное нормального человека житье?

Словом, устроила хорошую головоломку. Саша слушал, понурившись, мама смотрела на сестру потерянно, вертела в пальцах какую-то тесемочку.

– Я не принимаю ваших жертв! – бушевала тетка.

– Ляля, опомнись, что ты говоришь! – протянула мама руки, пытаясь остановить ее, бегающую по комнате и тычущую пальцем то в раковину, то на выбитые кирпичики пола, то на следы пребывания клопов на обоях.

– Нет, это ты опомнись! Любому нормальному человеку видно – театр не может существовать в таком виде. Вам – нет, вам не видно.

На следующий день Саша стал искать квартиру. Нашел в Бианкуре приличный отель с пышным названием «Гортензия». Сняли две смежные комнаты с газовой плитой в нише. Одно смущало Сашу – окна обеих комнат выходили на кладбище. Мама посмотрела и сказала:

– Ну, и что такого особенного, собственно говоря? Тихое мирное кладбище. И мертвые живым не мешают.

Поселившись в отеле, она каждое утро, открывая окно, говорила:

– Здравствуйте, покойнички.

Отель «Гортензия» обескровил Сашин бюджет. Впервые за два года арендная плата за зрительный зал не была внесена вовремя. Мама получила предупреждение. Театральный сезон умирал, едва начавшись. Успели сыграть два спектакля, отпечатать афишки на «Зойкину квартиру» и прогорели окончательно.

Артисты прощались и уходили в слезах. Карабанов бродил среди разгромленных декораций, твердил:

– Неужели все? Неужели конец?

Мы встретились с ним спустя много лет, на каком-то благотворительном концерте. Он постарел, куда девалась его величественная осанка. Как он мне обрадовался! Мы расцеловались по театральной обычая. Он сразу спросил:

– А как же мама, Наташенька? Мы тут копошимся, хотим парочку спектаклей в пользу сирот... Нам так ее не хватает.

Я сказала, что мама в сороковом году умерла. Он низко наклонил голову, зажмурился. Потом не выдержал, заплакал. Я увела его на балкон.

– Боже мой, – не стыдясь, вытирал он слезы, – а я ничего не знал. Какой это был

прекрасный человек, Надежда Дмитриевна, царствие ей небесное. Кристальный человек, честнейший. А какая артистка! Теперь и нет таких. Ах, Надежда Дмитриевна, Надежда Дмитриевна...

О себе говорил скупой. Работает по-прежнему гримером на киностудии, неплохо зарабатывает, все хорошо.

Ах, Борис Николаевич, Борис Николаевич, какой артист был...

Да только ошиблись мы с ним в одном оба. Не в сороковом году мама умерла, не в сороковом. Тогда, в тридцатом, когда ходила среди раскрытых сундуков с костюмами. Перебирала, перетряхивала, для чего-то записывала никому не нужное тряпье по номерам, суетилась. Вот тогда умирала ее душа.

О возвращении на завод или на мыльную фабрику не могло быть и речи. Саша купил хорошую зингеровскую машинку, и мама стала брать работу на дом из мастерской.

Были такие небольшие мастерские, где шили несложные вещи по частям. Ночные рубашки, а то и просто наволочки. Девочка на побегушках, по-французски *арпетка*, разносила надомницам отдельные детали. Скажем, только спинки рубашек. Но много спинок. Раз – пристрочил кокетку – следующая. И так весь день.

13

Мечты и реальность. – У тети Ляли. – Вид на жительство. – Прощание с Фимой

Наш лагерь в то лето удался как никогда. Снова жили в палатках, снова сияло солнце. Нагулялись, наплавались и только первого сентября возвратились в Париж. Он встретил проливным дождем и кучей неприятностей.

Только я заикнулась о новом учебном годе, о новых учебниках и хотя бы об одном новом платье, тут-то оно и началось.

– Твоя разлюбленная тетушка, – заявил Саша, – больше не в состоянии платить за тебя в лицее. Я категорически против твоей дальнейшей учебы. Достаточно. Сколько проучилась, столько проучилась. Никакой особой пользы, если ты будешь учиться дальше, это не принесет.

Он отказался платить за лицей, а тем более покупать дорогие учебники.

– И коль скоро тебе необходимо новое платье, так пойди заработай и купи хоть дюжину.

– Саша! – взмолилась я. – Остался один год! Один только год, и все. А потом я поступлю в театральную школу. Я буду работать и сама платить за учебу. Я не попрошу у тебя ни копейки. А так... Я же никуда не смогу устроиться прилично.

Но он остался непреклонным. Мой разлюбленный отчим отнимал у меня все. Я впала в отчаяние. Но вместо того, чтобы снова и снова молить его, я раздулась от гордости и заорала:

– Если так, я вообще могу уйти из дому!

Мама бросилась ко мне, схватила за руки, зашептала в мое перекошенное от злобы лицо.

– Наташа, Наташа, Наташа! Никто тебя из дому не выгоняет, ты не должна так говорить!

Я вырвалась, схватила зонтик, пыталась одеться, но, не попадая в рукав, продолжала кричать:

– Ты мне всю жизнь испортил! Ты все зачеркнул! Я тебе этого никогда не прощу! Никогда!

А он пытался отнять у меня этот злосчастный зонтик и кричал в ответ:

– Да открой ты глаза, несчастная! Какая театральная школа? Кому ты нужна со

своей русской физиономией! Без связей, без подданства! Кто тебя возьмет в театр, будь ты хоть семи пядей во лбу? Чем раньше ты пойдешь работать, тем лучше для тебя же самой!

Последнее видение перед тем, как захлопнулась дверь. Медленно, а может, мне показалось, мама поднесла к голове закинутые руки и рухнула ничком на широкую с медными шишечками кровать.

Я слетела с лестницы напрямик под дождь. Я помчалась, не разбирая дороги. Я кого-то обрызгала. Черт с ним!.. Куда мне?

Через два квартала опомнилась и поехала к тетке. Она была дома. Открыла, ничего не сказала и сразу подошла к телефону звонить к маме, чтобы та за меня не волновалась. Потом повела в столовую.

Разговор не начинала, сидела напротив, по-бабьи пригорюнясь, смотрела, как я мелкими глоточками пью чай. Придвигала то тарелку с бутербродами, то блюдечек с вареньем. Когда я наелась и почувствовала тепло, она грустно сказала:

– А теперь, Наташа, поговорим. Тебе уже шестнадцать. Большая, умная, все понимаешь. Так уж получилось, и ты должна меня простить, но денег на твоё образование у меня больше нет.

Стало неловко, неудобно, кончики пальцев снова застыли. Словно все эти годы я просидела у нее на шее, а она вдруг говорит мне об этом.

– Да я... – руки стали лишними, я не знала, куда их деть. – Я же не просить пришла, а просто...

– Дурочка, – сказала тетка. – Если бы ты знала, какое это было для меня счастье – дать вам всем возможность учиться. Это испугало все. Наташа, голубушка, наша совместная жизнь с Фимой не получилась. Мы решили разойтись.

Она меня огорошила. Она добила, а казалось, на сегодня уже хватит. Как разойтись? С Фимой? С умным, добрым Фимой, ставшим для нас всех близким и родным человеком? Она же казалась всегда такой довольной, такой счастливой.

– Зачем? – с ужасом смотрела я на нее.

– Зачем, – эхом отозвалась она и пожала плечами. – Наверное, я сама виновата. Я заела его. Замучила, – она низко наклонила голову. – Мне тяжело переносить его достаток. Знаешь, деньги разделяют людей.

– Ну и глупо, – неловко сказала я.

– Возможно, – сразу согласилась тетка. – Но у меня этого достатка нет. И если бы его не было никогда, я бы так не терзалась. А он был.

– Я ничего не понимаю, – затрясла я головой. – Прошлое. Было, да. Но оно прошло.

– Прошло, – криво усмехнулась тетка. – Маленькая ты еще... Станем говорить о тебе, Наташа. Ты пойми, мы живем в чужой стране, на чужих хлебах, из милости. Французы – чуждые люди. Но мы им не нужны. В шестнадцать лет спустись, Наташа, на землю и знай – театр надо забыть. Это ошибка, это преступное наше с матерью твоей попустительство. Она размечталась, я не воспротивилась. Мы обе, Наташа, виноваты перед тобой. Мы должны были готовить вас к более жестокой жизни. Надо думать о ремесле, об элементарном куске хлеба. Иди, девочка, ищи работу. Саша прав. Дальше будет только трудней.

Я заплакала. Она не стала утешать, не обняла за плечи, не погладила по голове, как делала всегда, не различая ни своих детей, ни нас с Мариной. Вместо этого перебросила через стол платок и продолжила:

– У Фимы я больше не возьму ни копейки. Мы договорились. Мы попробуем еще немного пожить, но чтобы деньги нас не разделяли. Он просит меня об этом. Трудно сразу. Нас столько связывает. Петя, по всей вероятности, пойдет работать. Татка мала, пусть учится. Вдвоем с Петей мы попробуем ее выгнать. Согласись, из всех вас она самая способная.

Я согласно кивнула.

– Значит, во Франции для нас дороги нет?

– Нет, – отрезала тетка, маленькая женщина с нежным, как у ребенка, лицом. – Я тебе говорю – это чужая страна. Это их страна. А мы всего лишь эмигранты. Мы пришли – они нас приняли. Они терпят нас. Но и только, и только. Всегда помни об этом и не требуй от французов больше, чем они могут дать. Обилят – терпи. Хорошее... радуйся, если будет что-то хорошее.

– Но тогда нам надо вернуться! Ведь многие теперь едут.

– В Советскую Россию? – насмешливо и грозно спросила тетка. – Другие – пожалуйста. Это их дело. Я в СОВЕТСКУЮ Россию, – она сделала ударение, – никогда не вернусь. Тех, кто едет, великодушно прощают. Скажите на милость! Меня не надо прощать. Я перед ними ни в чем не виновата. Виноваты они. Это их я простить не могу. Это они выгнали меня из дому и убили моего мужа. А я вот этими руками похоронила его. В чужой могиле под чужим именем. Чтобы не отыкали.

– Но не все же убивали.

– Что-о? Нет уж, все! Все они, позабыв совесть и стыд, убивали и грабили. Они называли это экспроприацией! По-русски это называется воровство. Я с ворами жить не намерена. И обожать этот «разнесчастный» народ, в отличие от твоей мамы, тоже не намерена. Я тоже народ. Причем, не худший его представитель... – Она снова подошла к окну. – В Россию ехать! К большевикам! Да никогда в жизни!

Тетя Аля оставила меня ночевать. Вскоре пришли из гостей Петя и Татка, и мы серьезных разговоров больше не затевали. Я рассказала про все и попросила поздравить с началом свободной жизни. Шутка получилась грустная.

Поздно вечером, словно виноватый в чем-то, пришел Фима. Тетя Аля была с ним предупредительно ласкова, но все это мне не понравилось. Говорили о чем угодно, старательно избегая острых углов. Случайно выяснилось, что у меня для устройства на работу до сих пор нет паспорта. Фима вызвался помочь. Без него я бы никогда не распутала это дело.

Когда мы уезжали из Константинополя, взрослые получили нансеновские паспорта. Был такой паспорт и у мамы на девичью ее фамилию. Мои метрики в переездах затерялись, и меня просто вписали в мамин паспорт: Наталья, дочь Вороновской.

В Париже нансеновские паспорта уже не имели силы и были заменены на французские. Потом мама вышла замуж за Сашу, и меня снова вписали к ней, не вдаваясь в подробности. Я получилась уже не Вороновская, а Корнеева. По отчиму. Хотя официально он меня никогда не удочерял. Все эти годы я жила под его фамилией и терпеть ее не могла. Теперь, когда настало время получать паспорт, я решила вернуть свою законную фамилию, фамилию моего родного отца – Сумарокова. С этим мы и отправились с Фимой в эмигрантское консульство на улице Генеге. Было такое консульство уже давно не существующей Российской империи. Оно мнило себя законным и возглавлялось Маклаковым.

После долгих переговоров там согласились дать мне метрику, если я приведу двух свидетелей моего рождения. Тетя Аля отозвалась сразу, дядю Костю пришлось уламывать. На следующий день они явились в консульство, засвидетельствовали факт моего рождения, и мне выдали метрику на Сумарокову. Теперь нужно было идти получать паспорт во французскую префектуру.

Я все говорю – паспорт, паспорт. Это не было настоящим паспортом. Никаких паспортов эмигрантам не выдавали. Это было всего лишь удостоверение личности для апатридов, так называемое *carte d'identité*, вид на жительство.

Их было три сорта. Удостоверение первого сорта стоило двадцать франков и давало право на работу. Оно так и называлось – рабочая карта. Второе – студенческое. С таким удостоверением ты мог поступить и учиться в любом учебном заведении Франции, если тебе позволяли средства. Но права на работу такая карта не давала.

Третья карта стоила дорого – сто франков. Но без права на работу и учебу. Получив такое чудо-юдо в руки, человек невольно задавался вопросом: а как существовать? Но это никого не интересовало.

Тайна стоимости *carte d'identité* заключалась в следующем. Ну, со студенческим понятно, — человек учится. А вот рабочую выдавали лишь в том случае, если у тебя есть бумага, что тебя берет на работу такое-то предприятие с таким-то жалованием. Но получить такую бумагу без *carte d'identité* было практически невозможно. Создавался порочный круг, и в нем крутилась добрая половина эмиграции.

Ясно, что на работу устраивались. Нелегально, на самую тяжелую, с драконовскими условиями. И не пикни. Что угодно могли с человеком сделать, а он молчаливо соглашался, лишь бы не потерять и этого. Да, и еще. Всем прибывшим в Париж по нансеновскому паспорту автоматически выдавали рабочую карту.

Удостоверение с производства, липовое, конечно, достал Фима. Он же отправился со мной в префектуру.

И вот стою, опершись на деревянный барьер, а чиновник, с расчесанной на прямой пробор головой крутит мои бумаги.

— Ничего не понимаю! Податель один, а документы на две фамилии. С этими вашими русскими историями никогда не добьешься толку.

А Фима с улыбочкой:

— И не пытайтесь, дорогой друг. У вас только голова заболит. Русская история и впрямь до того запутана... Выдайте лучше этой милой девушке рабочую карту — и дело с концом.

И под метрику мою сто франков ему — шашь! А это большие деньги.

Чиновник почесал кончик носа, погладил височки, сморщился, иронически посмотрел на лучезарного Фиму и... выписал *carte d'identité* с правом на работу. Я за все это время не проронила ни звука. Стояла и смотрела, как дурочка.

Вышли мы из префектуры. Я бросилась Фиме на шею и разревелась. Прямо на улище.

— Ну, ну, ну, Наталья, глупости какие! — смутился он и повел меня в ближайшее кафе кушать мороженое.

Себе заказал рюмку коньяку и кофе. Я ела мороженое и расправлялась с остатками слез. А Фима сидел напротив, смаковал коньяк, но глаза у него были грустные. Такого большого, благополучного, стало его вдруг нестерпимо жалко. Сказать ему я ничего не могла, помочь было нечем. Мы говорили о пустяках, а я вспоминала давнее. Мы тогда на Вилла Сомеие жили.

Дома Фима любил поразглагольствовать. На любую тему. В том числе и о России. Он нет-нет, да и скучал по ней. А еще он любил вспоминать Украину.

— Что ты, Фимочка, такой грустный? — спрашивал кто-нибудь.

— Так... Сплин. По Крешатику бы теперь, по снежку пройтись.

Когда на Вилла Сомеие приходили гости, бабушка, не имея возможности разместить всех в столовой, разрешала нам взять еду и отнести наверх с условием не шалить. В то время мы предпочитали отдельные ужины общим, а теперь я жалею. За столом можно было услышать массу интересных вещей.

Но, бывало, народу собиралось немного, нас оставляли, и мы слушали взрослые разговоры. Один вечер запомнился. Бабушка тогда сделала маме замечание:

— Да что ты, Надежда, в самом деле! Тянешь и тянешь рюмку за рюмкой. Это, считай, пятая уже.

Помню, она страшно сконфузилась.

— Ну, фу, мама, что такого! Да и какое это вино? Водичка.

Чтобы не обострять отношений, Фима заговорил о другом.

— Вот я расскажу... Иду по авеню де Версай сегодня, и обгоняют меня двое русских.

— С чего ты взял, что это были русские? — спросил дядя Костя, чтобы распалить хорошенько Фиму. А еще он любил сглаживать его с Сашей.

Фима снисходительно отозвался:

– Если два человека орут на всю улицу «Россию надо спасать! Россию надо спасать!» – то это наверняка русские. Даже если они при этом говорят по-французски. Или я не прав?

Спорить с Фимой никто не стал. Фима умолк, увлекшись обсасыванием куриной косточки.

– Ну, и что? – не выдержал Саша.

Словно специально дождавшись реплики, Фима положил косточку на тарелку и вытер салфеткой руки.

– Так вот я и говорю, русские испокон веков только и делают, что спасают свое постоянно погибающее отечество. Смотрите: Петр Великий. Спасал? Спасал. Господа с Сенатской площади? Народнолюбцы? Анархисты? Монархисты? Кадеты, эсеры...

– Ну, и что? – тоном выше задал повторно свой вопрос Саша.

– Подожди, Саша, не мешай, – остановил его дядя Костя.

– Почему, я спрашиваю, – наклонился к Саше Фима, – никому из них не удалось довести дела до конца и все-таки спасти, наконец, Россию?

– Потому что болваны, – буркнул Саша.

– Любопытная мысль, – склонил голову Фима. – Но я бы при этом прибавил: несколько упрощенная. Вот мне кажется, все происходит оттого, что благородные спасатели, при всем благородстве их начинаний, рвут в клочья любого, кто имеет противоположную точку зрения на способ спасения любезного отечества. Петр тянет жилы из стрельцов и рубит им головы. Каховский стреляет в Милорадовича. Николай I вешает Каховского. Народнолюбцы, анархисты, террористы подкладывают бомбы. Их тоже вешают. Я уже не говорю о малочтенных большевиках, в результате деяний коих вы сидите не на Тверском бульваре в Москве, а на Вилла Сомерсет в Париже.

Он кончил ужинать, солидно поднялся из-за стола и стал ходить по неширокому свободному пространству столовой, размахивая зажатой в пальцах зубочисткой.

– Ладно, все, что я имел честь перечислить, – история. Но вот уже несколько лет мы имеем удовольствие наблюдать за русской эмиграцией. Вне родины, черт знает в каких трудных условиях, не имея ни кола ни двора... Чем занимаются? Грызутся! Непримиримо, жестоко. Остервенело! Какая-то, я бы сказал, патологическая наклонность к взаимному уничтожению.

Он говорил, а сидевшие вокруг стола смотрели, вздыхали, и возразить было нечего. Фима продолжал:

– Гражданская война может возникнуть лишь в той стране, где единственно доступным способом выяснения отношений являются мордобой, бомба и намыленная веревка.

Мама слушала, слушала да вдруг как скажет!

– А что если большевики как раз и спасут Россию?

Боже, что поднялось! На маму кричали, тетя Ляля утверждала, что ее сестра окончательно сошла с ума, дядя Костя вскочил и забегал все по тому же свободному пространству столовой, пересекая Фимину дорогу, сталкиваясь с ним, воздевая руки и не замечая тонкой Фиминой усмешки. Дядя кричал:

– Как могут большевики спасти Россию, если у них у самих уже начались процессы, суды и расстрелы?

– Вот и прекрасно, – холодно отрезал Саша. – Перестреляют друг друга, на том их большевистская эпопея и завершится.

– Оп-ля! – довольный, заорал Фима, призывая всех посмотреть на Сашу. – Я про то и толкую! Вот оно, вот! Перестрелять! Друг друга. Русские. Бах-бах-бах! Кто на вашей шестой части света после всего этого бабаханья останется? Да вы на себя посмотрите! Ляля, Ляля, Надежда Дмитриевна твоя сестра, а ты, гляди, от злости позеленела!

Тетя Ляля опомнилась, потеряла висок.

– Ну тебя к шутам, Фима. Вечно ты со своими парадоксами.

– Вот такой уж я, – уселся за стол Фима, – парадоксальный человек. Кстати, а где компот? Вы же обещали компот.

Знали мы и другого Фиму. Заботливого, всегда готового прийти на помощь. Или вдруг притащит в дом букет дорогих цветов.

– Фима! Да разве же можно так транжириться! Зачем столько?

– Для красоты и поддержания духа.

Иногда он подолгу говорил с мамой. О чем-то они шептались, уединившись в углу столовой. Мама все пыталась беспристрастно разобраться в причинах постигшей нас катастрофы. Зачем-то ей это было нужно. Искала истину, копалась в «грехах отцов», рылась в книгах. Фима ей помогал. При всем его уме и ему многое было неясно. Они отбирали друг у друга толстые тома, быстро-быстро листали, читали отрывки вслух. Потом мама закрывала книгу, задумчиво говорила:

– Он знал. Он все это предвидел. Федор-то Михайлович.

Уставив взор в пол, Фима шевелил толстыми пальцами:

– Грустно. Печальная история, господи.

И мне было грустно в тот день, в маленьком кафе, за порцией прекрасного клубничного мороженого. Зачем они поссорились с тетей Лялей!

Через несколько месяцев Фима вернулся к законной жене, и мы навсегда потеряли его из виду.

14

Молочная лавка. – Непонятное. – Дядина невеста. – Новая работа

Получив *carte d'identite*, я бросилась искать место. Безработица только-только начиналась, но уже видна была ее глумливая рожа. Куда ни сунься – ничего. Нуль. Для манекенщицы рост не подошел, пяти сантиметров не хватило. Там – отказ, там: «Подождите, мы вас известим», – а это все равно что отказ. И только в одном месте мне повезло.

По объявлению требовалась ученица в молочную лавку. На месте выяснилось – никакая не ученица, а просто девочка на побегушках. Хозяин, пожилой, обстоятельный дядя, показал каморку на задах магазина и сказал, что я должна буду жить здесь, чтобы успеть в пять утра разнести молоко клиентам. Потом я должна буду мыть полы в лавке, а все остальное время драить бутылки, бидоны, банки.

Словно во сне я дала согласие работать в молочной лавке. Пришла в отель «Гортензия», стала собирать вещи. Мама металась по комнате, уговаривала, умоляла не уходить из дому. Я просто ненавидела ее тогда. Я должна была доставить себе хоть это удовольствие: «Вы хотели? Вы довольны? Вот вам моя карьера! Нател!»

Мама побежала следом за мной в лавку, но вытащить оттуда не смогла. Вид симпатичного и рассудительного хозяина успокоил ее. Он пообещал сделать из меня со временем вторую продавщицу, если я проявлю достаточное усердие. Мама ушла, глотая слезы.

Около трех месяцев проработала я в молочной лавке. Домой приходила в субботу и оставалась до воскресного полудня. Приходила довольная жизнью, веселая, небрежно оставляла на буфете часть заработка, любезно отвечала на Сашины вопросы.

Через три месяца мама взбунтовалась. Она набросилась на отчима с упреками, что он выжил меня из дома. Саша струсил, стал оправдываться и прибежал за мной в лавку. Хозяин огорчился, но против родительской власти поделаться ничем не мог. Он честно рассчитался со мной, хоть я и нарушила контракт.

Надо сказать, относился он ко мне неплохо. Следил, чтобы никто не обижал, каждый день оставлял баночку йогурта, приговаривая:

— Маленький рост для женщины — это не так уж плохо, но вам, мадмуазель, все-таки следует немного подрасти.

Дома было тихо. Машинка стояла закрытая, никто на ней не строчил. Мама казалась больной. Непонятно было, в чем заключалась ее болезнь. Она не жаловалась, не глотала пилюли. Весь день лежала лицом к стене и на все мои домогательства коротко отвечала «нет».

— Мамочка, у тебя что-нибудь болит?

— Нет.

— Хочешь, пойдем пройдемся?

— Нет.

— А хочешь, я сбегаю в лавку, куплю чего-нибудь вкусенького?

— Нет.

Перепуганная, я отправилась к тете Ляле. Тетка уже месяц как съехала со старой большой квартиры и поселилась в более скромной на Порт Сен Клу. Я пристала к ней:

— Что с мамой?

Странно, к маминому состоянию она отнеслась, как мне показалось, даже с пренебрежением. Отводя глаза, казенно твердила о полном отсутствии малейшего повода для беспокойства. Со здоровьем у мамы все в порядке, просто напала хандра, а противиться хандре не в силах — слаба. И тетушка нарочно стремилась перевести разговор. Расспрашивала о делах, выводила мои планы. Я гнула свое. Тогда она рассердилась:

— Да ну тебя, Наталья, в самом деле! Да было бы что серьезное, я бы вот так сидела и точила с тобою ласы?

Я немного успокоилась. Поговорили о моих делах, потом, спохватившись, тетя Ляля сообщила потрясающую новость. Дядя Костя решил жениться. Мы всесторонне обсудили этот вопрос и намерение дядино одобрили. Сколько можно жить бобылем! А Марина уже большая, все поймет.

— Но вот как будет с бабушкой? — спросила я.

— А маму я заберу к себе, — ответила тетка.

Я почувствовала скрытую ее неприязнь к будущей жене брата и стала более подробно выпрашивать про эту Валентину Валерьяновну.

— Что тебе сказать, — задумалась тетя Ляля, — она портниха, очень хорошая. Работает у Одинцовой в швейной мастерской и дома подрабатывает. Недавно разыскала младшего брата и выписала его к себе из Болгарии, кажется. Она и ее муж (он умер давно) жили с нами на Антигоне.

Я порылась в памяти, но никаких следов ни Валентины Валерьяновны, ни мужа ее там не было.

Тут появился из соседней комнаты Петя, возвратилась из лицея Татка, и о предстоящей свадьбе я больше ничего не узнала.

Татка потащила меня в свою комнату, тормошила, обнимала, прижималась личиком и не уставала повторять:

— Как я по тебе соскучилась!

Петя ходил вокруг нас, все рассказывал про какого-то нового приятеля.

— Я тебя обязательно с ним познакомлю.

Я отмахивалась. Примерно через полчаса в комнату вошла озабоченная тетя Ляля, стала рыться в аптечке, звенеть пузырьками и ампулами. Мне сухо сказала:

— Позвонил Саша, просил приехать.

Я всполошилась:

— Маме плохо!

— Знаешь, — сказала тетя Ляля и отвела глаза в сторону, — будет лучше, если ты останешься у нас. Понадобишься дома — я позвоню. Тогда приедешь.

Я запротестовала, кинулась одеваться, но тетка осталась непреклонной.

— Я сказала, сиди здесь, значит сиди здесь. Все.

Она ушла, а я долгих два часа не находила себе места. Они окутали мамину болезнь тайной! Мерещились ужасы — туберкулез или что-то в этом духе. Тата раз-влекала меня, как могла, да только плохо у нее получалось.

Вернулась тетя Ляля, привезла записку от Саши. Он писал: «Наталя, очень тебя прошу, поживи у Ляли, она согласна. Домой приезжать не надо, с мамой ничего страшного нет, но будет лучше, если ты несколько дней проведешь на Порт Сен Клу».

Что за чертовщина! Тетя Ляля все время была недовольна, отвечала невразумительно, потом не выдержала и раскричалась:

— Хандра у нее! Хандра, ясно или нет? Будешь сидеть у нас, пока она не соизволит справиться со своим настроением. Не хватало, чтобы она еще и тебя принялась мучить!

Вон оно что. Они боялись, как бы мамина хандра на меня не перекинулась. Я сказала тетке:

— Ляля, ты на маму сердилась. За что?

— Пусть не распускается! Ишь, впала в черную меланхолию! Будто другим легче. Будто другие живут в раю.

Если бы она беспокоилась, намекала на пошатнувшееся мамино здоровье, я бы не осталась ни минуты. Но она явно злилась, бурчала под нос: «Тоска у нее, видите ли, затосковала». Хлопала дверцами буфета, накричала на Петю, что он три часа сидит в ванной, а она не может помыть руки, хотя Петя зашел туда пять минут назад. Чем больше она буянила, тем ровнее стучало мое сердце. На людей по-настоящему больных так не сердятся. Я решила подчиниться Сашину распоряжению, лишь бы никого не гневить. В результате я провела у них целую неделю.

С братом и сестрой мы как бы заново обрели друг друга. Нежно целовались с Таткой. Потом я рассказала им про свою работу в молочной лавке, и Татка смотрела на меня с ужасом. Петя — боже мой, да он стал совсем взрослым, усы вон пробились, — слушал, шурился:

— Эх, Наташа, скоро нас всех это ждет.

— Вот такая же лавка? — широко раскрывала глаза Тата.

— Да, что-нибудь в этом роде.

Улучив момент, он шепнул:

— Только честно скажи. Ты в лавку назло пошла?

— Ага! — неизвестно чему радуясь, ответила я.

Было приятно, что он по-прежнему лучше всех понимает меня и сочувствует. И в отношениях с сестрой у него появилась нежность. Татка тоже смотрела на брата любовно, а когда тетя Ляля позвала его зачем-то в другую комнату, спросила:

— Правда, Петенька стал очень милый? И на француза похож, ты не находишь?

Чтобы не огорчать ее, я подтвердила:

— Да-да, верно, я сразу это заметила.

Поздно вечером, когда тетя Ляля, уходя спать, крикнула, чтобы мы не засиживались, разговор зашел о Фиме.

— Знаешь, — признался Петя, — мне его не хватает.

— И мне, — вставила Татка. — Обидно очень. То «любите его, любите, он вам второй отец», то вдруг — раз и разъехались.

— Не суди, Тата, — строго прервал Петя, — это их жизнь, их отношения.

Далеко полночь мы улеглись с Таткой в одной кровати, как когда-то в детстве, в монастыре. Закинув руки за голову, Татка говорила:

— Я придумала, Наташа, я никогда не выйду замуж за русского. Я не смогу жить в бедности. А русские все бедные.

Я смеялась, обнимала ее, говорила, что в тринадцать лет рано думать о замужестве, но она серьезно вздыхала:

– Рано-то рано, а все же надо готовиться. Только ты не думай, что я из выгоды. Нет. Я только лавки боюсь. И ты не ходи больше на такую работу.

В эти дни я познакомилась с будущей женой дяди Кости. Валентина Валерьяновна гладко зачесывала волосы, напертев на затылке кулек. Косметикой не пользовалась принципиально.

А подкраситься ей бы не мешало. Подчернить бровки, припудрить краснеющий от малейшего волнения носик. Неяркие губы ее тоже не проиграли бы от губной помады.

Из наших разговоров Валентина Валерьяновна поняла, что я сижу без работы, и стала бросать на меня испытующие взгляды. И вдруг пообещала устроить в мастерскую Одинцовой ученицей. Я стала благодарить, но она наклонила голову и подняла ладонь:

– Пока ничего не обещаю. Спасибо скажешь, когда уладим дело.

Жилось у тети Ляли приятно и легко, но устраиваться на работу было просто необходимо. И как только Валентина Валерьяновна через два дня позвонила, я сразу поехала в мастерскую знакомиться с хозяйкой.

Условия оказались не ахти. За период ученичества мне не полагалось никакой платы, а продлиться этот период мог сколько угодно.

– Зато, Наташа, вы получите хорошее ремесло, а это главное, – сказала хозяйка мастерской Одинцова.

Я не стала возражать.

После визита в мастерскую прямым ходом отправилась домой. Дома было тихо, мирно. Мама сидела за машинкой и строчила рубашки, под салфеткой отдыхали румяные пироги. Мама встретила ласково.

– Нагостились у Ляли? – погладила она мои волосы.

– Прошла твоя хандра? – прижалась я к ней.

– Прошла. И ты больше не напоминай об этом. Садись покушай, смотри, какие чудные.

И положила на тарелку кусок пирога с клубничным вареньем.

– Куда, куда столько! – отмахивалась я.

Вечером приехал с работы Саша. Мы обсудили мою новую работу. Пришли к заключению, что ремесло получить – вещь полезная. Саша ввернул про мои выкрутасы, мол, из дому меня никто никогда не выживал, а с деньгами, пока идет обучение, можно и подождать. У меня хватило ума не перечить. Наутро я отправилась учиться на портниху.

Но учить, как я поняла, никто никого не собирался.

– Наташа, выдерни наметку!

– Наташа, сбегай в лавку за круасанами!

– Наташа, вдень в иголку нитку!

– Наташа, нагрей утюг!

Целый день – Наташа туда, Наташа сюда, а проку никакого. Саша начал ворчать:

– Что это за учеба такая?

По штату в мастерской была такая должность – курсьерка. Девушка, исполнявшая эту должность, неожиданно вышла замуж и уехала, оставив мастерскую на произвол судьбы. Ее проводили с поцелуями и пожеланиями всех благ, а я стала думать.

Курсьерка – это не девочка на побегушках. Это рангом выше. Курсьерка отвозит клиентам готовые платья, ходит по магазинам – набирает образцы материй. Словом, курсирует.

Думала я думала и, набравшись храбрости, отправилась к Одинцовой. Просить на освободившееся место.

– Наташа, – удивилась хозяйка, – ты же хотела учиться шить, а совмещать одно с другим невозможно.

Хотела я сказать: «Хорошенькая у вас учеба», – но промолчала.

– Мне нужен постоянный заработок, – сказала я.

Одинцовой было решительно все равно, научусь я шить или нет, – курсьерка требовалась позарез. Меня сделали курсьеркой.

Вечером, получив новое место, я пошла без цели бродить по Парижу. Домой почему-то не хотелось.

Темнело, зажигались фонари. С деревьев в полном безветрии падали на тротуар последние пожухлые листья. Иногда фонари расплывались в глазах, от ламп во все стороны начинали ползти дрожащие лучи. Тогда я со злостью вытирала набежавшие слезы, и фонари становились обычными фонарями, без всяких дополнительных сияний. Они спокойно висели на чугунных столбах с завитушками. Я шла вдоль Сены, почти уснувшей, с редкими огнями на неподвижно стоящих баржах. Черную воду до самого дна протыкали золотые копы – отражения этих огней. В небе вспыхивала реклама на Эйфелевой башне. Сначала появлялись звезды и концентрические круги из разноцветных лампочек, на секунду все пропадало, потом снова во всю длину огромными замысловатыми буквами вспыхивало: «Ситроэн».

Я шла в сторону Шан де Марс. Мостовые казались влажными, словно прошел дождь. Но это только казалось. Так бывает в Париже. Ты думаешь, что прошел дождь, а на самом деле никакого дождя не было.

15

Дядина свадьба. – Переезд. – Мы еще дети. – Мамины видения

В декабре состоялась скромная дядина свадьба. Событие отметили праздничным ужином, молодых поздравляли, Саша громко (что было на него совершенно не похоже) кричал «горько». Он произвел дядю Костю в генералы. Это было не по правилам: из капитанов сразу в генералы, и все смеялись. Дядя Костя махнул рукой.

– Генерал так генерал – все едино.

А дядечка наш за эти годы крепко сдал. Сила его ушла. Вряд ли бы он теперь смог согнуть и разогнуть кочергу.

После десерта взрослые заговорили о чем-то своем, я удлила момент и встала из-за стола. Следом за мной побежали Татка и Марина. Мы ушли в Маринину комнату. Татка потребовала показать новые платья. Марина разложила их на кровати и робко сказала:

– Это Валентина Валерьяновна так хорошо шьет.

Татка шупала материю, прикидывала платья на себя, потом ткнула в Маринку пальцем.

– Смотри, она к тебе подлизывается!

Я возмутилась.

– Зачем ты так говоришь! Ты же ее совершенно не знаешь. Жить не тебе с ней, а Марине. Правда?

Марина стала молча собирать обновы.

Поздно вечером, когда немногочисленные гости разошлись и остались только свои, заговорили о переезде. В Бианкуре можно было снять недорогие, вполне приличные квартиры. Дядя Костя был полностью согласен с таким решением:

– Довольно, довольно жить в разных концах Парижа. Поселимся рядом, станем помогать друг другу.

Видимо, неловко ему было из-за бабушки, из-за молчаливого согласия остальных на ее переезд к тете Ляле. Сама бабушка рассуждала мудро, всех успокаивала:

– Не тревожьтесь напрасну. Поживу у Ляли, а Костенька и Валентина Валерьяновна пусть пока устраиваются. А там видно будет.

И все притягивала к себе Марину. За руку брала, оглаживала, заглядывала в серьезные внучкины глаза.

Через неделю состоялось великое переселение народов. Было много хлопот и волнений. Мы все стали жить в Бианкуре, на Жан-Жорес, неподалеку от станции метро. Дядя Костя с женой и Мариной за два квартала от нас, а мы с мамой и Сашей и тетей Лялей – в соседних домах, белых, семизэтажных, с многочисленными подъездами. Наши одинаковые, как близнецы, корпуса разделял неширокий пассаж, засаженный высокими платанами. Летом они заслоняли от нас окна теткиной квартиры на втором этаже, видимые из маминой комнаты. Остальные окна выходили на улицу. Теперь у нас была отдельная кухня и, к великому всеобщему счастью, – ванная. Прикупили мебель, обустроились и стали жить. Саша попеременно работал то днем, то ночью, мама строчила рубашки и наволочки, я курсировала. Втянувшись, привыкла, и уже казалось, так было всегда. Домашние разговоры, стоило собраться втроем, велись вокруг безработицы, ползушей дороговизны.

По четвергам и воскресеньям я неизменно ходила на Монпарнас. Кружок «Радость» процветал, а вот театральное дело заглохло. Жизнь засасывала то одного, то другого артиста, либо денег на постановку не хватало, либо никак не могли собраться в полном составе. Мама сердилась, нервничала, потом махнула рукой и засела в новой квартире.

Вечерами, если Саша бывал дома, я большей частью торчала у тетки. Здесь был наш клуб. Будь нам по шесть лет, поиграли бы в Страшного Турка или Ноев ковчег, но от всего этого остались одни воспоминания.

Иной раз выгоняли Петьку и устраивали девичник. Подводили брови, румянились, раз за разом укорачивая Маринину косу.

Почему-то не у нас дома, а у тети Ляли хранились мамины театральные украшения. Мы рылись в старом облезлом чемодане, надевали на себя фальшивые драгоценности – жемчуга, изумруды, рубины. Приходила тетя Ляля, критически разглядывала разряженных «принцесс», фыркала:

– Делать вам, девки, больше нечего.

Нам и вправду нечего было делать.

Потеряв терпение, тетка выгоняла нас в кино, на вечерний сеанс. Хихикая и толкаясь, мы выбегали на бульвар с его широкой проезжей частью, деревьями вдоль тротуаров, сразу становились солидными, взрослыми, чинно шли до первого перекрестка, где находился кинотеатр.

Но если Саша уезжал в ночь, я оставалась дома, и мы засиживались с мамой, пока край неба над городом не начинал зеленеть.

В этих незабываемых ночных бдениях говорили о чем угодно, только не о театре. Мы не сговариваясь, сожгли мечту, погребли ее под толстым слоем серого пепла. Занавес опустился и скрыл маленькую далекую сцену на улице де Тревиз.

Мы не говорили о будущем. Его не было. Мы уносились в давнее, прошедшее. Из прошлого выветрились уже и злоба, и смута, осталась одна печаль и любовь.

Иногда мама пыталась смягчить мою обиду на отца. Уверяла, что не будь с нами Саши, нам жилось бы гораздо трудней. Я не пыталась с ней спорить. Саша был предан маме беззаветно. Но разговор о нем я старалась как можно быстрее закончить. Я не хотела о нем говорить. Он был дан в мужья маме, но мне отцом стать не смог. Я его ни любила, ни ненавидела. Он был мне безразличен с его остриженной ежиком головой и отрицательным отношением к красному цвету.

Но чаще мама улетала мечтой в страны дальние, чудные. Глаза ее становились отрешенными, с губ слетали странные названия городов. Они звучали, словно магические заклинания. То были сказки о тридесятном царстве. То казалось совершенно неправдоподобно, чтобы человек мог жить в Одессе, Казани, Ташкенте, Верном... Но дедушка был военным, им доводилось много странствовать.

Рассказывая, мама обязательно должна была что-то делать. Вязала или принималась вдруг вытирать невидимую пыль с многочисленных фотографий в рамках на стенах.

Был на одной такой фотографии дедушка в генеральской форме, в орденах. Он смотрел на нас спокойными, очень светлыми глазами. Была фотография тети Веры в «Трех сестрах» с Качаловым. Была бабушка, еще девушкой снятая на дагерротип, в платье с буфами. На другой стене висела дедушкина шашка в ножнах черной кожи, перехваченных медными скобками. В углу помещалась икона в серебряной ризе, неизвестно как сохранившаяся в бесконечных переездах. Протирая серебро, мама целовала икону, подолгу задерживала в руках.

Часто я говорила маме:

— Вот ты заперлась в четырех стенах, никуда, кроме тети Аяли, не ходишь, ни с кем не встречаешься.

Вглядываясь в чей-нибудь портрет, мама отвечала:

— Мне и здесь хорошо. Здесь у меня маленькая Россия. А там, — безнадежно махала в сторону окна, — там одни французы.

— Не любишь их?

— Нет, почему же? Они очень милые. Но они — это они. А мы другие. И ты меня не тревожь. Здесь у меня, — обводила глазами комнату, — тишина. А больше ничего и не надо.

Я начинала злиться:

— Но так же можно с ума сойти! Дом, рубашки, Достоевский. «Бесы» твои!

Я пробовала однажды читать этот роман — показался скучным. Бросила на десятой странице. Зато мама этих «Бесов» внимательнейшим образом изучала, штудировала.

Она по-прежнему искала ответ на вопрос, почему мы оказались изгнанными из России и сидим на окраине ненавистного Парижа. В Париже все раздражало маму. Даже архитектура, даже Сена, забранная в гранит. Несчастливым химерам на Нотр-Дам и тем от нее доставалось. Она уверяла, что извять таких чудищ могли только люди с горячечным воображением. Французский язык, «ненастоящий, игрушечный», существовал специально, чтобы вогнать ее в могилу. Убедить, что она не права, было так же невозможно, как заставить Сену потечь вспять или предложить всем французам начать изъясняться по-китайски.

Со временем в причинах нашей катастрофы мама разобралась и вывела следующую теорию. В бедствиях России виновной, по ее мнению, была интеллигенция. Она недостаточно любила НАРОД и позволила довести его до полного отчаяния.

Мамина интеллигенция представлялась мне портретом Менделеева с бородой, а НАРОД вползал в сознание темной мохнатой массой. Мужики в армяках и лаптях и раскисшие бабы в платочках.

Когда на Монпарнасе кто-то говорил: «Пойдемте скорее, народ собрался, нас ждут», — это было понятно. А эти, мамыны... НАРОД. Кто такие?

Главная вина интеллигенции заключалась в том, что она не сумела предотвратить появление БЕСОВ. Бесы внезапно, как им и положено, выскочили перед НАРОДОМ, прельстили, соблазнили — НАРОД схватился за топоры и вилы. А нам, бежавшей за границу интеллигенции, предстоит теперь казнь и расплата, а России суждено погибнуть.

Словно ведьма в «Макбете», мама замешивала зелье в гибельном котле. Тонули там города с чудными названиями, проваливались купола церквей, исчезали засасываемые в трясину люди. Она словно видела это и видение свое передавала мне.

— Мама, — бралась я за начинавшую болеть голову, — зачем ты ужасы такие рассказываешь!

— Да, да, — спохватывалась она, — ты маленькая еще, ты ничего не понимаешь. Но посмотри, посмотри, он знал, знал! Здесь все про это написано.

Хватала том Достоевского, судорожно листала, отыскивая потрясшие ее строки, а я ругала про себя Фиму. Это он показал ей когда-то на Вилла Сомея этот роман. Не обращая внимания на мои протесты, она начинала читать:

— «Каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом... Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное равенство». Понимаешь?

— Нет.

— Да как же не понимаешь! Они там, в России, строят равенство. А равенства как раз и не может быть. Все люди разные! Слушай дальше. «Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, ни братства».

Я бросалась к ней, пыталась отнять книгу. Она защищалась отведенным локтем и продолжала читать страшные слова:

— «Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроиться послушанию. В мире одного только недостает: послушания. Жажда образования уже есть жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве». Вот! Вот! Слышишь? В младенчестве!

Мама отбрасывала на кровать книгу корешком вверх, пустыми глазами смотрела в пространство. Я спрашивала:

— Ну и что?

Она не двигалась, не моргала.

— Все так и есть. И в этом гибель России. Без гениев...

Я выбиралась из кресла, подходила к ней, обнимала окаменевшие плечи. Она накрывала мою руку ладонью и продолжала, не имея силы остановиться:

— Он не понимает, не понимает...

— Кто?

— Саша. Он верит в переворот. Тогда все вернется на круги своя. Но это невозможно. Там теперь все другое. Там все развращены, там все разрушено. И никакая нищая старушка не придет зашептать больному ребенку ножку. И милостыню ей никто не подаст, и никто не захочет приютить ее. Даже если переворот. Восстановить, как было, некому. Погасли в младенчестве.

Вскрикнув, как от боли, она бежала в кухню, лила в стакан ледяную воду, запрокинув голову, пила, словно хотела потушить сжигавший ее пожар. Возвращалась сникшая, постаревшая и начинала раскаиваться.

— Ох, зачем я все это тебе говорю. Ты не слушай. Я, наверное, схожу с ума. Тебе все это ни к чему. Ты даже не понимаешь. Ты лучше иди по другой стезе. Выходи замуж за француза. И пусть дети твои никогда не вспомнят о несчастной России, пусть они живут, не отравленные ничем русским.

О, тут уж я протестовала:

— Да никогда в жизни!

Тогда мама бросала на меня лукавый взгляд, начинала хохотать, тыча пальцем:

— Русская! Черт поberi, русская! Неискоренимо...

Позже я выписала из Достоевского потрясшие маму строки и показала на Монпарнасе профессору Ильину. Он посмотрел, сказал:

— А-а, шигалевщина. Не забивайте себе этим голову, милая барышня. Это воспаленный бред Федор Михалыча. Русский народ ко всем этим ужасам не склонен.

Я послушалась. Листочек тот сунула в тетрадку со стихами, так он там и остался.

16

Узнаю правду

Декабрь кончался. Похолодало. Несколько раз выпадал тончайшим слоем снежок и сейчас же таял. Париж нарядился к Рождеству и Новому году. Засверкали витрины, заскакало повсюду разноцветное электричество. Мама купила коробку

елочных игрушек, взялась за генеральную уборку, хоть в нашем доме и без того все сияло.

Накануне Рождества, в последнее воскресенье, я собралась на Монпарнас, а перед уходом мама попросила меня сбегать в лавку.

– Да, и купи бутылку вина. Две! – крикнула мне вслед.

Я подумала, что вечером придут гости, я в точности выполнила поручение. Пришла из лавки полную сумку. Мы разгрузили ее.

– А это спрячем подальше, – приняла мама бутылки с вином и шаловливо погрозила, – смотри, Саше не говори, пусть это будет наш маленький секрет.

Нет, в гости она никого не ждала, просто решила, видно, сделать ему сюрприз по какому-то случаю. Я поцеловала маму и отправилась на Монпарнас.

В тот день в нашем большом особняке царили шум и веселье. Готовились к елке, золотили орехи, привязывали к конфетам в красивых бумажках петельки, носились из комнаты в комнату с ворохом бумажных цепей, разбирали коробки с игрушками. Вечером все побежали танцевать под граммофон.

Мальчики уже приглашали нас. На меня поглядывал некий Толя Залесский. Пусть он мне не очень нравился, длинношей, но танцевала я с ним охотно. А вот ради Нины Уваровой на Монпарнас стал приходить Славик Понаровский, взрослый парень, интересный, но страшно болтливый. Всем было ясно, что Нинины планы выйти замуж и народить кучу детей вот-вот осуществляться.

В толчее, за общим весельем и предпраздничными разговорами, я потеряла представление о времени и только к одиннадцати часам добралась домой.

Поднялась на второй этаж, достала ключ, открыла, вошла. Странно, в квартире было почти темно. Только неверное сияние, словно там горела одинокая свеча, виднелось сквозь шелку в маминой двери. И еще я услышала тихий, назойливый стук.

Сама не зная почему, я не стала зажигать свет и никак не могла нащупать крючок, чтобы повесить пальто. Так и не повесила. Оно мягко упало на пол. На цыпочках я приблизилась к маминой двери, открыла.

В комнате и впрямь горела свеча, уже наполовину оплывшая, вставленная в бронзовый подсвечник с тремя атлантами. Теткин подарок на новоселье. Я вошла и сразу стала, прижавшись к стене. На столе, освещенные свечкой, стояли две купленные днем бутылки. Одна совсем пустая, вторая начатая. Валялась опрокинутая рюмка, лиловое винное пятно на голубой скатерти.

Заслонившись ладонью от свечи, мама сидела в придвинутом к столу кресле. Сидела, неловко развалилась, вытянув ноги. Она размеренно стучала носком по ножке кровати, отчего происходил этот тупой, до смерти напугавший меня стук.

Видно, она почувствовала мое присутствие и отняла ладонь. Нет, это была не она! Спутавшиеся волосы окружали красное лицо, чужое, одутловатое, залитое слезами. Слезы градом текли по щекам, но она не всхлипывала, как это бывает, когда плачут. На миг в этой распухшей маске мелькнул мамин взгляд и погас. Значит, это все-таки была она. Но она была просто ужасна.

Как всегда, когда со мной случается что-то неожиданное, я окаменела, перестала что-либо чувствовать. Я зажгла свет.

– Ай, зачем! – вскрикнула мама и сморщилась, как от боли.

Она подобрала ногу, стук прекратился. Я подошла к столу, согнулась, оперлась на скатерть локтями и стала внимательно и испытующе смотреть на маму.

– Я в Россию хочу! – капризно и, словно обвиняя меня, сказала она.

Голос ее был натружен, как от долгого и безнадежного крика. Я отпрянула от стола. Нашла под подушкой носовой платок и стала вытирать ей лицо. Голова ее моталась по спинке кресла. Она с трудом выдавила еще три слова:

– О, как мне тяжело! – и сникла, повиснув у меня на руках.

У меня хватило ума понять, что говорить с ней бесполезно. Я стала приподнимать маму, силась вытащить ее из кресла. Подняла, протасила два шага, и мы вместе повалились на кровать.

– Потерпи, потерпи, – бормотала я, – я раздену тебя, уложу. Будешь спать, спать. Прodelа под нее руку, чтобы расстегнуть на платье крючки, и почувствовала, как она слегка приподнимается, чтобы помочь. Значит, она еще что-то соображала. Я расстегнула до пояса платье, стащила его через ноги, закинула маму на кровать, к стене. Открыв постель, перевернула обратно на простыни и укрыла.

– Спасибо, – выдавила она и провалилась в сон.

Я убрала бутылки, сменила скатерть, а ту, с пятном, замочила в холодной воде; выбросила окурки, открыла окно. Сильной волной пошел свежий воздух, на полкомнаты оттянуло занавеску парусом. Огонек свечи наклонился под ветром, затрепетал и погас. Стояла на холоде, смотрела на улицу, на редкие автомобили, на редких прохожих. Облетевшие ветки деревьев стили в зимнем небе. Потом захлопнула окно.

Зачем, не знаю, но я взяла со стола подсвечник, нашла спички, снова зажгла свечу и побрела к себе. С порога обернулась на маму. Она спала. Как всегда, не слышно было ее дыхания. Я погасила электричество.

У себя я не стала зажигать свет. Казалось, зажгу, он ослепит, я стану кричать от рези в глазах, как только что кричала мама.

Ни горя, ни страха, ни тревоги – ничего не было. Время от времени я протягивала пальцы и снимала нагар с фитиля. Потом свеча догорела.

Не знаю, сколько прошло времени. Очнулась от яркого света. В дверях стоял отчим.

– Уже шесть часов? – спросила я первое, что пришло в голову. Из ночных поездок он всегда возвращался в шесть.

Глядя, как он идет от двери ко мне, я пожалела, что не выбросила бутылки, а оставила их на виду в кухне. Их обязательно надо было выбросить, тогда бы он ни о чем не догадался. Через миг до меня дошла вся бесполезность этой мысли. Саша взял стул, сел напротив.

– Значит, и ты теперь знаешь.

Я не ответила, перевела дыхание. Потом спросила:

– Давно это началось?

– С лета. Ты была в лагере.

– А осенью, когда ты отослал меня к тете Ляле?

– Тогда тоже.

Я молчала. Он внимательно смотрел на меня. Вдруг я разобрала, какого цвета у него глаза. Не зеленые, как мне всегда казалось, а светло-карие. Он нагнулся и вдруг сильно сжал мои пальцы. Стало неловко, больно.

– Ты не должна осуждать маму, слышишь! – настойчиво, словно внушая, сказал он, глядя в мои зрачки. – Не должна осуждать. Это болезнь. Это страшная, лютая болезнь. Мама не виновата. Вся наша жизнь, наша трижды проклятая жизнь... – и сморщился, лицо исказилось мукой. Он повел шеей, чтобы не зарыдать. Большой, наполовину седой мужчина.

Я не отвечала. Смотрела на него и на всю оставшуюся жизнь уже знала: за эти несколько слов... навсегда... без упрека и сожаления, я простила ему все. А за стеной в соседней комнате спало то, что осталось от нашей мамы.

Он потребовал, чтобы я легла спать. Он вышел, пока я раздевалась, потом вернулся, сложил мои вещи, брошенные как попало, погасил свет. Пообещал утром позвонить в мастерскую и сказать, будто я заболела.

На следующий день в полдень мы сидели с ним на кухне и ели что-то холодное. Он уговаривал меня идти к тете Ляле, хотя бы на самые трудные дни.

– Зачем, Саша? – сказала я. – Я теперь все знаю, я буду тебе помогать. И зря вы от меня это скрывали.

– Наталья, Наталья, – качал он головой, – будет тяжело. Уходи к Ляле.

Но я настояла на своем.

Он стал ездить только на ночную работу. Так, сменяя друг друга, мы проходили

через эти страшные дни. В квартире стоял непроветриваемый дух винного перегара. Мы были деловиты и озабочены. Через три дня, уезжая на работу, он сказал:

– Попробуй не давать ей вина. В крайнем случае. Если уж никак не получится.

Весь день в запахнутом кое-как халате, со свалившейся, не заколотой косой, мама или сидела в кресле, или спала, завалившись к стене, и не говорила ни с отчимом, ни со мной. Проснувшись в сумерках, она бросилась что-то писать, рвала исписанные листы. Вечером стала просить вина. Я мотала головой.

– Нет, мама, нет. Нельзя.

Тогда мама, моя чудная, светлая мама, упала на колени, поползла, вцепилась в меня и стала молить:

– Светик мой! Радость! Одну! Только одну бутылочку! Это в последний раз! Одну и все! И все! Я брошу, брошу, клянусь тебе! Я кончу на этом!

Я опустила рядом с нею, стала гладить, перебирать и укладывать ее спутанные, но все еще прекрасные волосы. Ее бил озноб, руки ходили ходуном. Я шептала, как ребенку:

– Нельзя, мамочка! Мамочка моя, роднуля, ты потерпи. Я так тебя прошу, так прошу...

Тогда она начала не рыдать, нет, она начала выть, как воеет простреленная навывлет собака. Она пыталась унять этот вой, закусив на запястье кожу. Я не выдержала. Я достала спрятанную бутылку.

А на другой день она проснулась с головной болью, долго плескалась в ванной, вышла бледная, как после тяжелой болезни, переоделась во все свежее и сама заговорила с нами.

– Потерпите, милые. Это пройдет. Я чувствую – пройдет. Я стану лечиться. Аля уже все придумала. Она молодец, она требует, чтобы я лечилась. Я буду, буду лечиться. Нельзя же так, в самом деле.

Мы ходили вокруг нее, уговаривали лечь.

– Нет, нет, не хочу лежать. Мне уже хорошо. Вот только голова. Боже мой, как болит голова!

В тот день я спокойно ушла на работу и уже не звонила каждую минуту Саше. Черная полоса прошла. Вечером нас ждал вкусный ужин и красиво украшенная елка. Мы ругали маму, зачем она с головной болью все это делала, а она радостно повторяла, что ей хорошо. И голова прошла, и на душе спокойно, и все-все хорошо.

Словно ничего не случилось, мы говорили весь вечер о пустяках. Какие подарки подарим нашим на Рождество и как будет славно – собраться всем вместе завтра, как в старые добрые времена.

Вечером, разбирая на ночь кровать, я нашла под подушкой письмо.

«Наташа, дорогая моя девочка! Мой бедный, несостоявшийся гений. Я подвергла тебя страшному испытанию, я истерзала тебя, я – грешная, преступная мать. Совесть моя вопит от ужаса. Что я с тобой сделала? Нет мне прощения, да я и не прошу его. Меня простить невозможно. Я сломала тебе жизнь. Завлекла, наобещала и бросила. И эти дюны! И пасмурный день на ветру. Сколько времени прошло – помню. Ах, если бы Бог смиростивился надо мной и отнял у меня память! Забыть, все забыть. И дюны».

Я ничего не могла понять. Читала, перечитывала. Я сразу сообразила, о каких дюнах она говорит. Я хорошо помнила часы, проведенные с нею в дюнах, летом в лагере близ Бордо. Но какое это могло иметь отношение ко всему, что происходило в нашем доме?

«Бедный мой ребенок. Я тешу себя надеждой на лечение. Сама не справлюсь, нет. Я слаба, я безвольна. У меня не останется сил. Но клянусь тебе, клянусь самыми страшными клятвами...»

Так на полутора страницах.

Рука ее после запоя еще не обрела твердости, почерк был местами неразборчив,

буквы лезли одна на одну. Она клялась, что это было в последний раз, и больше никогда в жизни не притронется она к проклятому зелью, которым заливала тоску, крик свой по загубленной жизни.

К концу письма она, видно, совсем устала. Слова слились, смысл утратился, она уже не дописывала, ломала фразы. Я так и не смогла понять, что значит «умиритир», что ли? Умереть или умиротворить? Скорее всего, умереть. Умиротворить ее уже ничто не могло.

Я спрятала письмо в бювар и сделала вид, будто ничего не получала. Видно, правильно поступила: мама ни словом, ни знаком не напомнила мне о нем.

Пишу сейчас эти строки, а передо мной лежит перевязанный выцветшей лентой пакет таких писем. Их около двадцати. Начиная с седьмого, в них невозможно разобрать ни единого слова.

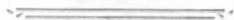
Я никогда не пыталась расшифровать эти письма. Зачем? Иногда в минуты нахлынувших воспоминаний достаю альбом и разглядываю две наклеенные рядом фотографии. Такие фотографии делались для *carte d'identite*. На одной даже видна печать, вдавленная в картон.

На первой снята женщина с тонкими чертами лица. Голова осенена пышной короной прически. Глаза печальные, чуть испуганные, но в самой глубине их таится нерастратенное еще любопытство к жизни. На второй – худенькая старушка, с опустившимися щеками, запавшим, безрадостным взором. Изреженные, кое-как зачесанные со лба волосы и согнутые, безвольные плечи. И первая и вторая фотографии изображают одного и того же человека. Мою мать – Надежду Дмитриевну Вороновскую.

Сфотографировавшись сразу после замужества в 1925 году для новых документов, она ушла от фотографа, не зная, что до второго такого посещения ей осталось пройти дорогу длиною всего в пятнадцать лет.

Не знала она, что успокоится на том самом кладбище в Бианкуре, на которое каждое утро смотрела из окна отеля «Гортензия», говоря:

«Здравствуйте, покойнички!»



ПОЭЗИЯ

Владимир БАГРАМОВ

Тень от лампы на пороге...

* * *

Александр Файнбергу

Хрипи стихами, только не молчи,
раз нужен всем – любимой и народу.
Ты словно корень вековой арчи,
пробивший грудью скальную породу.

Рассвет в Ташкенте несказанно тих,
и первый луч прошел созвездье Девы.
Пегас приходит пить из рук твоих,
стучит копытом в такт твоим напевам.

Нам век двадцатый обелиском стал,
поэзия – товар не очень ходкий.
В кафе на сквере ты стихи читал,
я замирал, вцепившись в рюмку водки.

Да, двадцать лет, как старое кино,
где крик «Ура!» и наши победили.
Все это, Саша, было так давно
не разглядеть под толстым слоем пыли.

Твой хриплый голос, словно клич в ночи,
иду к нему в ненастную погоду.
Ты мощный корень вековой арчи,
пробивший грудью скальную породу.

СВЕРЧОК

В изумленном этом мире, ошалевшем от тревог,
в центре города в квартире жил да был один сверчок.
Поселился в кабинете, где мудреных книг завал
ничего на белом свете кроме песен он не знал.
И когда во мраке зыбком осторожно бьют часы,
он, настраивая скрипку, улыбается в усы –
стает лед, все пройдет пусть душа не мается,
жизнь была так светла, жаль, что все кончается.

Тень от лампы на пороге, дверь простуженно скрипит,
за столом хозяин строгий папиросами чадит.
Струйка дыма серебрится и слегка дрожит рука,
с недописанной страницы гонит крошки табака.
А смычок взлетает гибко, тянет сердце на излом,
вдохновенно плачет скрипка о несбывшемся своём.

Сколько таинств в Книге Судеб, и сверчок узнал о том,
что никто курить не будет за обшарпанным столом,
а хозяин, беспокоясь, что запутался в словах,
вдруг решил земную повесть дописать на небесах.
И взлетает невесомо над землею звездный дым.
Уходил сверчок из дома за несбывшемся своим.
Стает лёд, все пройдет, пусть душа не мается,
жизнь была так светла, жаль, что все кончается.

* * *

Значит это тоже дар – разглядеть прекрасное.
Вот смотрю я на рассвет, ковшиком рука,
а по небу синему ходят кони красные,
клонят шеи стройные, шиплют облака.

Вишня за околицей белым цветом выцвела,
Надышавшись допьяна пряной лебеды.
Только мне все чудится – мама в платье ситцевом
из калитки в ковшике вынесет воды.

Речка большеглазая моет ноги тополю.
Все такое нежное – сердце не унять.
Только мне все чудится – побегу я по полю
зорькой лебединою детство догонять.

* * *

Как бесконечна и прекрасна жизни лента,
как часто рвем её на беды сгоряча.
На чистых улочках полночного Ташкента
поют фонтаны до рассветного луча.

Когда-то время было – чистые, тугие
лицо прохладили ветра семи морей.
Мы были в юности совсем-совсем другие,
наивней, проще и немножечко добрей.

Друзья уходят, к ним вовек не достучаться.
Скатилась юность, как вечерняя звезда.
Быть может, завтра мне в дорогу собираться
к конечной станции, где плачут поезда.

Мы находим и теряем.
И куда спешим – не знаем.
Нам авоську наших бед не донести.
Я разлуки не приемлю,
тормозни, кондуктор, Землю,
я сойду как раз у Млечного Пути.

* * *

Избавь нас, Боже, от советов,
берущих в пустоте разбег.
Среди поэтов у поэтов
друзей не может быть вовек.
Все шепотком и «между нами»,
качая скорбно головой,
что этот – пьянствует годами,
а тот – женился на кривой,
того совсем забыла Муза,
но денег куры не клюют,
а этому за счет Союза
четвертый сборник издают.
Но как они милы при встрече!
Поэт поэту друг и брат.
Нырнут в глаза, возьмут за плечи:
«Привет, дружище, очень рад!
Читал, читал, слова – летают,
как ты умеешь души рвать!
Есенин с Блоком отдыхают,
пора Народного давать».
Сквозь шёпот, дразги, пыль наветов
так трудно продолжать свой бег.
Среди поэтов у поэтов
друзей не может быть вовек.

* * *

Стынет облака пенка неснятая.
Ветер лужи поставил ребром.
И луна ошалела, проклятая,
заливает глаза серебром.

Сушит тополь пуховые валенки,
он на дождь мимолетный сердит.
А на Млечном пути, на завалинке,
чья-то юность босая сидит.

Дремлет города линза бездонная
в хитром кружеве светлых окон.
У фонтана кикимора сонная
ловит высохших струй перезвон.

Прикорнула церквушка убогая,
рядом терем цветного стекла,
тишина лопухая трогает
золотые ее купола.

Я в твои привидения верую,
вечер зрелости трудной моей.
Кошка хитрая – облако серое –
намывает на крыше гостей.



караван истории

Владимир ШУМКОВ

«Via est vita»

Жизнь, труды и странствия
Николая Каразина,
писателя, художника, путешественника¹

*«Надо, чтобы славные и добрые дела
глубоко врезались в душу современников...»*

Н.Н. Каразин

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Николай Николаевич Каразин – популярнейший человек своего времени. Один из лучших в России рисовальщиков, самообытный, неподражаемый художник, один из учредителей Общества русских акварелистов, академик живописи, талантливый писатель, путешественник, первый в России военный корреспондент-иллюстратор, первый иллюстратор Ф.М. Достоевского, создатель первых отечественных художественных открыток, неутомимый общественный деятель. И.Е. Репин называл его в числе «запевал» русской художественной интеллигенции. О его творчестве, где все было «запечатлено вкусом, талантом, ярким колоритом, любовью к Родине», писал молодой И.Грбарь. «Русским Густавом Доре» нарекли его современники-критики. Его любил и почитал знаменитый баталист Митрофан Греков.

Слова «первый», «в числе первых» или «один из первых» на каждом шагу встречаются в творческой биографии Н.Н. Каразина.

«Даже посредственный художник создает за свою жизнь хотя бы одну хорошую

вещь, один шедевр, – сказал как-то старейший искусствовед, член-корреспондент АН России А.А. Сидоров. – У Каразина таких шедевров много. Каразина не забыли, его у нас просто не знают...».

НАЧАЛО

*«Собрание... это вечный источник
подлинного знания для юноши,
усиления чувств и добрых принципов
для мужа и для каждого... благотворно»*

Гете

Однажды, путешествуя по Подмоскovie, я забрел в деревню Федоровское, к своим дальним родственникам. Зашел с тайной мыслью. Люблю старые книги, а дед моего родственника был когда-то единственным грамотеем в этой деревеньке и имел богатую по тем понятиям библиотеку.

Поговорили, как водится, о том, о сем. Наконец завел я разговор о книгах.

«Что-то, кажется, есть, – говорит хозяин, – сейчас посмотрим», – и полез на чердак.

«Держи», – раздалось вскоре оттуда.

И полетели вниз книги – в основном духовного содержания.

«Забирай и это, если хочешь, – протя-

¹ «Звезда Востока», № 6, 1975 г.

«Via est vita» – ...дорога – это жизнь (латинское изречение)

нул мне хозяин остатки старой книги большого формата, – бабка этой книгой самовар разжигала, бумага горит хорошо очень...».

Так попал мне в руки один из двенадцати томов великолепного издания «Живописная Россия», выпущенного М.О. Вольфом и ставшего ныне библиографической редкостью.

Вернувшись домой, я вычистил пылесосом застарелую пыль и паутину из жалких остатков когда-то роскошной книги формата «ин-фолио», отпечатанной на прекрасной веленовой бумаге. Издание было богато иллюстрировано.

Тогда и обратил я внимание на рисунки в тексте и эффектные заставки в начале каждой главы. Запомнилась и размашистая характерная подпись на этих рисунках: «Н.Каразин».

Так состоялось мое первое знакомство с этим человеком и его творчеством.

Прошли годы. Простой интерес к неизвестному художнику перерос в увлечение, а последнее, пожалуй, во вторую профессию. Пришлось перервать массу литературного, научного и художественного материала, вести переписку со всеми художественными музеями и галереями страны, работать во всех главных архивах в Москве и Ленинграде.

Не всегда легко и гладко шла эта работа. Бывали у меня и тяжелые минуты, разочарования. Но много было и радостных встреч, открытий. Добрые советы и помощь заслуженного деятеля искусств (бывшей) РСФСР А.А. Сидорова, известного московского собирателя живописи и графики Ю.В. Невзорова, доброжелательное отношение сотрудников Русского музея И.П. Лапиной, Л.П. Рыбаковой, Г.В. Смирнова, заместителя директора Саратовского художественного музея им. А.Н. Радищева – Э.Н. Арбитмана, главного хранителя музея изобразительных искусств Киргизии Р.Д. Орешкина и других, теплые письма В.Ф. Пановой и переписка с бывшим директором картинной галереи им. И.К. Айвазовского в Феодосии Н.С. Барсамовым, поддержка корреспондента газеты «Советская культура» Ю.А. Бычкова и, наконец, сотрудничество с редактором газеты «Московский художник» Г.М. Кустовым, – все это знаменательные вехи в многолетней работе, в результате которой удалось поднять и систематизировать материал о художнике и писателе Н.Н. Каразине.

ПЕРО И КИСТЬ – ВЕЛЕНИЕ ДУШИ

«Этот совершенно неизвестный тогда мир и его изучение – было постоянной моей мечтой...»
Н.Н. Каразин

В 70-х годах прошлого² столетия в России появилась целая плеяда писателей, специализировавшихся «на описании жизни тех или других малоизвестных местностей нашего обширного отечества». П.И. Мельников-Печерский – знаток русского раскола, Д.Н. Мамин-Сибиряк, В.Г. Короленко, Г.А. Мачтет – певец сибирской деревни открыли читателям далекие Урал и Сибирь. Вас. Иванович Немирович-Данченко, К.К. Случевский писали о русском Севере. Средняя Азия, эта terra incognita, нашла также целый ряд своих бытописателей, среди которых первое место, несомненно, принадлежало Н.Н. Каразину. По его рисункам, картинам и рассказам не одно поколение изучало загадочный Восток. Его карандаш и перо первыми сблизили «русское общество с неведомой ... богатой страной».

Родился Н.Н. Каразин в ноябре 1842 года в слободе Ново-Борисоглебской Богодуховского уезда Харьковской губернии. Родился он в тот самый день, когда на юге России, в городе Николаеве, умер его знаменитый дед – Василий Назарович Каразин – передовой общественный и государственный деятель конца XVIII – первой половины XIX вв., учредитель в России министерства народного просвещения, многогранный ученый и изобретатель, основатель украинского филотехнического общества, Харьковского университета первого на Украине и второго в России, друг А.Н. Радищева и В.А. Жуковского. «Неутомимая деятельность Каразина и глубокое, научное образование его были поразительны: он был астроном и химик, агроном, статистик, не ритор, как Карамзин, не доктринер, как Сперанский, а живой человек, вносящий во всякий вопрос совершенно новый взгляд и совершенно верные требования», – говорил об этом человеке А.И. Герцен.

Еще в 90-х годах XVIII века, более чем за 70 лет до отмены крепостного права в России, В.Н. Каразин «дал своим крестьянам неотъемлемую собственность и оградил их личность от произвола помещичьего».

В.Н. Каразин оставил следы своей деятельности почти во всех областях человеческой деятельности своей эпохи. Его же-

² Написано в семидесятых годах прошлого, XX века.

ной была А.В. Мухина, писательница-переводчица, внучка И.И. Голикова — известного русского историка, имевшего уникальную в России библиотеку. После его смерти «драгоценная библиотека» эта перешла к В.Н. Каразину, но в 1836 году почти полностью сгорела при пожаре в имении последнего.

В июне 1971 года в Москве скончалась Юлия Ивановна Каразина — внучатая племянница В.Н. Каразина. После нее остался архив, который она собирала в течение многих лет. В архиве находятся многие интересные сведения о жизни и деятельности В.Н. Каразина. Быть может, в будущем на основе этого материала будет написана хорошая книга.

Многие черты характера своего неугомонного деда унаследовал и Н.Н. Каразин.

Детские годы он провел в имении бабки в селе Анашкино Звенигородского уезда Московской губернии. Отец его — отставной штабс-ротмистр — занимал должность участкового мирового судьи. Мать его, простая, добрая женщина, всячески поощряла проявлявшееся в сыне с ранних лет незаурядное художественное дарование.

Образование Н.Н. Каразин получил во 2-м Московском кадетском корпусе, из которого в 1862 году был выпущен офицером в Казанский драгунский полк.

Но военная карьера не привлекла Н.Н. Каразина. В 1865 году он выходит в отставку с чином штабс-капитана и подает прошение о зачислении его в императорскую академию художеств в Петербурге. 6 октября 1865 года он был принят в число вольноприходящих учеников академии.

Прочувившись всего год под руководством известного баталиста Б.П. Виллевальде, Н.Н. Каразин после конфликта с ректором академии был исключен из нее. Впоследствии он часто рассказывал об этом эпизоде. До нас он дошел в воспоминаниях Александры Петровны Шнейдер — художницы, с которой Каразина связывала многолетняя дружба. Этот рассказ весьма интересен, и имеет смысл привести его полностью.

«На их курсе была задана тема из Библии: «Посещение Авраама тремя ангелами». Каразин трактовал ее реально: нарисовал палатку, трех странников, сидящих у стола, Сарру прислуживающую и Авраама, беседующего с ними. За такую трактовку темы он получил от жюри следующее замечание, написанное на самом рисунке (он уже издали увидел эту надпись, проходя по выставке к своему рисунку): «Отчего Вы

лишили ангелов подобающего им украшения — крыльев?». Каразин немедленно схватил карандаш и написал: «Потому, что считал Авраама догадливее академиков, и что, если бы он увидел ангелов с крыльями, то тотчас же догадался бы, кто они такие». За что и был немедленно в 24 часа исключен из академии. Маленький набросок этой картины долго у нас сохранялся...»

Расставшись с Академией художеств, Н.Н. Каразин вновь определяется в армию поручиком и отправляется в далекий Туркестан.

«Этот совершенно неизвестный тогда мир и его изучение было постоянной моей мечтой, и вот эта мечта осуществилась», — писал он в своих воспоминаниях.

Командуя ротой в пятом Туркестанском линейном батальоне, он участвовал во многих сражениях с регулярными войсками правителей Хивы, Бухары и Коканда. Он был солдатом, воспитывался солдатом и честно исполнял свой долг. Следует особо отметить, что, участвуя в присоединении Туркестана к России — этой колониальной экспедиции царизма — Каразин не запятнал себя ни единым расистским высказыванием или жестокостью. Ему была свойственна общая черта передовых людей того времени: уважение к другим народам, их культуре, нравам и обычаям, даже если приходилось встречаться с этими народами на полях сражений. Оружием в многотрудных военных походах были у Н.Н. Каразина по большей части перо и карандаш, с которыми он не расставался никогда. Трофеи его умецались в альбомах и многочисленных записных книжках.

Русским географическим обществом была составлена и передана в действующие войска специальная инструкция по организации научной работы в крае. В эту инструкцию были, кроме вопросов географических, этнографических и т.п., включены и вопросы изучения культурного наследия Востока, отыскания и сохранения древних рукописей и трудов великих мыслителей Средней Азии. Во многих научных мероприятиях этих лет принимал деятельное участие и Н.Н. Каразин.

Он много путешествовал, делал зарисовки, участвовал в топографических съемках по всему Семиречью. Каразин бывал в Верном (с 1921 г. Алма-Ата), посещал все его окрестности, проводил целые годы в диких, мало еще известных горах, окружающих озеро Иссык-Куль...

В 1870 году, почувствовав ухудшение здоровья после нескольких ранений, одно из

которых затронуло легкое, Н.Н. Каразин вышел в отставку в чине капитана и поселился в Петербурге. Вместе с боевыми наградами привез он в столицу множество рисунков, записок, впечатлений богатый материал, послуживший основой всей его дальнейшей творческой деятельности.

Н.Н. Каразин впервые выступил как художник и писатель в 1871 году.

«Я в совершенно одинаковой степени люблю как то, так и другое (т.е. литературу и живопись), — писал он позднее, — ни малейшей разницы, ни малейшего предпочтения».

Его первые работы появились почти одновременно: в конце 1871 года в журналах «Всемирная иллюстрация» и «Нива», где были помещены его первые рисунки, и в сентябрьской книжке «Дела» за 1872 год, где он выступил в качестве литератора, были помещены первые двенадцать глав романа «На далеких окраинах».

Рисунки Н.Н. Каразина сразу привлекли к себе внимание публики. Да это и не удивительно. Не было, наверное, такого уголка в России, где не выписывали бы «Ниву». И вот на ее страницах — среди амуров, психей, детских головок, цветов и эротических сценок — появились вдруг эффектные и необычные по сюжету и названиям картинки. Они поначалу как-то даже не вязались с тихим патриархальным укладом журнала.

«Охота на тигра», «Защита Самаркандской цитадели», «Защитники Зеравшанских гор», «Лазаретный верблюд», «Катастрофа на Кастекском перевале» — эти первые рисунки, не всегда еще достаточно квалифицированно выполненные, все же сразу сделали имя их автора известным. День ото дня совершенствовалось мастерство художника, вырабатывался его стиль, который позднее назовут «каразинским».

В это же самое время во «Всемирной иллюстрации» он помещает целую серию рисунков, многие из которых живо переключаются по своим мотивам и идейной направленности с работами В.В. Верещагина. Эти рисунки, объединенные общим названием «Туркестанские виды и типы», позволяют судить о современном ему Востоку, участии местных бедняков и бедных русских переселенцев.

«Караван плотничьей артели в степи, направляющейся в Ташкент» — название рисунка говорит само за себя. Гонимые нуждой и надеждой, из глубины России потянулись на Восток рабочие артели со своими семьями и немудреным хозяйством — попытать счастья в незнакомой стороне.

Медленно движутся по песчаной дороге впряженные в русские повозки верблюды, непривычные к конской упряжи. Многие беды и лишения ждут переселенцев на «скорбном пути» — как тогда называли дорогу в Среднюю Азию. «Найдут ли они на чужбине тот кусок хлеба, ради которого покинули свою родную землю».

Откровенным протестом художника, возмущением против принижения человеческого достоинства является небольшой рисунок Каразина «Казнь преступников в Бухаре».

Жестокие последствия Зарабулакского сражения изобразил художник на рисунке «Колодцы Кара-Кудук после Зарабулакского сражения».

Несколько дней по безводной пустыне пробирались к ним измученные жаждой, бежавшие с поля боя воины эмира Музафара. Вот и колодцы, но на дне их ничего нет, «кроме клейкой, зеленовато-черной густой грязи»...

«Пастухи говорили, — пишет Каразин, — что у колодцев погибло больше, чем на поле боя».

Эти ранние рисунки Каразина, в которых явно прослеживается их гуманистическая направленность, явились первой — и довольно успешной — пробой сил перед долгой и трудной дорогой служения искусству.

И все же в начальный период своей деятельности Н.Н. Каразин был более известен как писатель.

Он сразу же сумел приобрести себе на этом поприще известность: у него появился обширный круг читателей. В первые же годы своей литературной деятельности он смог выделиться из безликой массы беллетристов-ремесленников того времени и обнаружить свою собственную индивидуальность в такой мере, что его произведения легко узнавались читателем.

«Он может теперь хоть не подписывать своих произведений, и мы все-таки их узнаем», — писали журналы того времени.

Он начал с того, что отказался от общепринятых правил и излюбленных тем тогдашней беллетристики. Он стал писать о жизни — неизвестной и экзотичной для петербуржцев, о том, что он видел в своих долгих странствиях по горячим пескам Туркестана, о необозримых камышовых зарослях в дельте Амударьи, о нравах и быте местных жителей. Из его первых романов и повестей мы узнаем о жизни приехавших «осваивать» Туркестанский край любителей легкой наживы, аферистов, продажных чиновников и представителей администрации

— целая галерея подобных «цивилизаторов» предстает перед нами со страниц его книг. Подобно стае голодных воронов, слетелись они на новые места — явление почти неизбежное при обживании новых краев. Все эти типы «списаны с натуры», поэтому-то они для нас и интересны теперь, так как дают представление о некоторых чертах жизни «на далеких окраинах».

Годы военной службы дали возможность Н.Н. Каразину близко познакомиться с бытом русского солдата — этой «безответной, все выносящей серой шинели», прозванного в Туркестане «белой рубахой». Участие в походах позволило Каразину хорошо изучить специфику будней воинской службы. Как в своих литературных трудах, так и во множестве живописных произведений Н.Н. Каразин, изображая солдатские массы, показывает их безграничную выносливость, стойкость, неодолимую силу духа и вместе с тем глубокую человечность...

Современники говорили: Н.Н. Каразин «пишет картинно, так же как и рисует, и дает понятие о тамошнем крае и быте совершенно верное».

Не случайно X том «Живописной России», посвященный Средней Азии (издан в 1885 году), почти полностью иллюстрирован Каразиным. Его рисунки прекрасно дополняют содержание книги. В данном случае, по видимому, важнее оказалась историческая сторона вопроса.

Его романы, повести, рассказы не были банальными или тенденциозными — это предопределило их успех. Они не отличались особой глубиной психологического анализа, да это и не обязательно для произведений такого жанра.

«...Романов г.Каразина нельзя, разумеется, причислить к так называемой *идейной* беллетристике; но они все-таки своеобразны и составляют целую специальность, которой не было ни в 60-х, ни в 40-х годах. Они принадлежат к декоративной повествовательной литературе и действуют на читателя внешне, не заставляя его думать или серьезно уходить своим сочувствием в душевную жизнь героев. На них следует смотреть как на известный род произведений, находящий себе читателей и в той публике, для которой издаются у нас журналы с передовым направлением», — это, пожалуй, наиболее верная характеристика литературного творчества Каразина, данная современной ему критикой.

Характеры его героев не примитивны, но отличаются некоторой односложностью. Определяющими в них являются лишь те

черты, которые в данной натуре проявляются особенно ярко, бросаясь в глаза, заслоняя все остальное. Это или звериная страсть к наживе, или фанатическое стремление к свободе, или что-то другое — все остальное гасится этой доминирующей чертой. В этой односложности внутреннего мира героев — слабая сторона каразинской беллетристики. Зато зарисовки его отличаются наблюдательностью, реалистичны, живописны и документальны. Он живо передавал пером и карандашом наиболее характерные черты окружающей действительности.

«Сущность его таланта в том именно и состоит, что он умеет схватывать и запоминать внешние черты предмета и создавать из них *картину*», — писала пресса тех лет. Интерес, с которым читаются произведения Каразина, в значительной степени обязан неиссякаемой творческой фантазии автора, умению его облечь рассказ в занимательную фабулу. Среди лучших и наиболее известных литературных работ Н.Н. Каразина можно отметить романы «На далеких окраинах», «Погоня за наживой», «Двуногий волк», «С севера на юг», «Наль», повести «В камышах», «Актомак», сборники очерков и рассказов «В огне», «У костра», «Недавнее былое», «В песках», замечательные сказки для детей. Многие из своих литературных произведений Каразин сам иллюстрировал. Дважды издававшееся двадцатитомное собрание сочинений и масса не вошедших в него газетных и журнальных статей, очерков, рассказов — таково литературное наследие Н.Н. Каразина.

В НИЗОВЬЯХ АМУ

Я видел воды нескольких морей,
и только к водам Аральского могу вполне
применить эпитет «изумрудные»
Н.Н. Каразин

«Аму-Дарья — река легенд и преданий, река, имеющая первостепенное значение для жизни целого обширного края, река, тем не менее, едва намеченная в изысканиях ученых путешественников», — писал когда-то Н.Н. Каразин. И лишь в 70-х годах прошлого столетия началось ее систематическое исследование. В начале 1874 года Русское географическое общество организовало специальную комиссию для разработки программы исследования района дельты Амударьи. Было получено разрешение на снаряжение Амударьинской научной экспе-

диции. В состав ее вошли видные русские ученые. Руководить экспедицией было поручено полковнику Н.Г. Столетову.

Уроженец города Владимира, старший брат физика А.Г. Столетова, Николай Григорьевич окончил физический факультет Московского университета. В 1853-1856 годах он добровольцем участвовал в Крымской войне. Будучи участником Туркестанских походов, в 1869 году он основал город Красноводск. В 1874 году в чине полковника руководит Амударьинской научной экспедицией.

Начальником этнографо-статистического отдела экспедиции был полковник Л.Н. Соболев, уже знаменитый своими статистическими исследованиями Туркестана, автор большой работы по географии и статистике Зарафшанского округа.

В состав отдела экспедиции, руководимого Л.Н. Соболевым, входили: Риза-Кули-Мирза, помогавший всем членам экспедиции знанием восточных языков, преподаватель персидского языка оренбургской военной прогимназии Александров и художник Н.Н. Каразин.

В третий раз в 1874 году пришлось Н.Н. Каразину «промерить знакомое расстояние от Петербурга через Москву, Самару, Оренбург, Орск и Казалинск до его старых, хорошо знакомых Кара-Кумов».

Орско-казалинский почтовый тракт — дорога длиной около 900 верст — был в то время единственным путем, соединявшим Россию со Средней Азией.

На почтовых тройках члены экспедиции по бесконечной ленте степной дороги покатались на юг. Изредка по пути попадались одинокие кочевья. В стороне от дороги проплывали, оживляя пейзаж, небольшие мечети, у которых «всегда виднелось десятка два оседланных лошадей и мелькали красные верха киргизских малахаев».

Форт Карабутак — «первое административное гнездо на пути в степь». Заспанный офицер-комендант да пара вечно пьяненьких писарей, два десятка солдат и татарин-маркитант составляли всю администрацию. Жизнь здесь текла уныло и однообразно, оживляясь лишь проезжающими через поселок почтовыми тройками, останавливавшимися здесь для перепряжки. Неустроенность и запустение царили всюду.

«Ни одного прутика, ни одного деревца не торчит во всем форте и его крохотной слободке, — записывал Н.Н. Каразин в своем дневнике, — а в канаве у почтовой конюшни я видел бог весть откуда и кем завезенную и брошенную за негодностью та-

ловую жердь, и эта жердь густо обросла зелеными отпрысками — немой, но красноречивым укором беспечному варварству человека».

Поздно вечером путешественники прибыли в Казалинск.

Здесь экспедиция погрузилась на один из лучших пароходов аральской флотилии — «Самарканд» с паровой машиной мощностью в 75 лошадиных сил. «Шайтанкаик» — «чертова лодка» — это название, данное местным населением пароходам, как нельзя красноречивее характеризовало отчаянно дымящую плоскодонную посудину с огромными колесами, издающую по временам громкий свист. «Самарканду» предстояло доставить путешественников Аральским морем в дельту Амударьи — «предмет исследования и изучения экспедиции».

Плавание по Сырдарье от Казалинска до устья реки было сопряжено с определенными трудностями. Фарватер реки часто менялся из-за так называемых блуждающих мелей, намываемых то здесь, то там. Плоскодонный пароход, попадая в сильное течение, плохо слушался руля и уподоблялся в своем движении «щепке, плывущей по водосточной канавке», наталкиваясь иногда то носом, то кормой на мягкие глинистые берега. Проплыла по левому борту «старинная крепостица Чингала» с полуразрушенными зубчатыми стенами. Пройдя левым протоком через сплошной коридор камышей, «Самарканд» вышел в устье Сырдарьи и стал у причалов острова Кос-Арал, расположенного близ выхода в Аральское море. Здесь пароход должен был загрузиться саксаулом — единственным местным топливом, «громданые кучи которого, заготовленные для потребности пароходов, поднимались на берегу словно горы».

На острове постоянно жило несколько рыбацких хозяйств, промышлявших в основном шипа — аральского осетра, — отдельные экземпляры которого достигали полутора метров и более. Продукция рыбаков находила сбыт на казалинском рынке.

С рассветом следующего дня «Самарканд» развел пары и стал готовиться к отплытию. Вместе с «Самаркандом» на Амударью отправлялся рейсовый пароход «Перовск» с баржами на буксире. Из-за свежего ветра оба судна не решились тотчас выйти в море и лишь к полудню покинули место стоянки.

Вскоре остров Кос-Арал исчез в призрачной туманной дали.

«Я видел воды нескольких морей, и толь-

ко к водам Аральского моря вполне применить эпитет «изумрудные», — писал Н.Н. Каразин. — Тут положительно нет поэтического преувеличения. Вода действительно прелестного изумрудного цвета и необыкновенно прозрачна. Эффект еще более усиливается от ярко-голубых рефлексов теневых сторон волн и ослепительной белизны пены под колесами. Глаз не выдерживает этого блеска, и если вы хотя пять минут безостановочно смотрели на воду, вам долго после этого все остальное кажется, словно задернутым зеленым вуалем.

Курс парохода пролегал напрямик через середину Аральского моря. Справа по борту осталась туманная полоска острова Барса-Кельмес, страшную легенду о котором Каразин неоднократно слышал от местных жителей.

«Барса-Кельмес значит: туда пойдешь — назад не вернешься. Легенда говорит, что лет сорок тому назад несколько прибрежных аулов, испугавшись степных смут и разбоев, решились воспользоваться суровой зимой, сковавшей льдом море, и переселились на этот остров. Переселенцы очень хорошо знали, что постоянно жить на песчаннике, лишенных растительности мелях — невозможно, а поэтому запаслись на год всем необходимым, рассчитывая следующей зимой по льду же вернуться на континент. К тому времени, полагали они, в степи станет спокойнее, что-нибудь возьмет же верх..., а тогда, во всяком случае, кончатся все военные ужасы. Но, увы! В степях действительно успокоилось, зато следующая зима оказалась менее суровой — море не замерзло, и несчастным пришлось провести на острове еще один год. К половине этого рокового года уже ни одного живого существа не было на острове. Голодная смерть покончила со всеми, и много лет спустя русские суда, экскурсирующие Аральское море и его острова, нашли только множество человеческих скелетов, разбросанных поблизости обветшалых, полуразнесенных ветром, растрепанных кибиток. Остров этот получил другое какое-то официальное название, кажется остров Бековича, но это новое название осталось только на картах и никому не известно: народное же название Барса-Кельмес известно каждому прибрежному кочевнику».

Вскоре, пройдя резкую границу морской воды и пресной амударьинской, пароход приблизился к устью реки, вход в которое указывала вежа — «длинная жердь с пучком хвороста на верхушке, подпертая со всех сторон для устойчивости». Пароходы вошли

ли в рукав Кичкене-Дарья — один из многих протоков, образующих дельту.

На берегах показались аулы и кочевья каракалпаков. Здесь было больше, нежели на Сырдарье, признаков перехода населения к оседлому образу жизни. К полудню пароходы вошли в Улькун-Дарью и, пройдя мимо небольшой хивинской крепости Аккала, стали на ночевку.

К вечеру следующего дня впереди показались острова, сплошь поросшие густым камышом, а берега стали расходиться в стороны, теряясь вдали. Пароходы подошли к двум большим озерам Кара-Куль и Сары-Куль — через которые проходила Улькун-Дарья. Взяв на борт лоцмана, «Самарканд», пыхтя и посвистывая, тронулся в путь, ломая прибрежные камыши своими колесами.

«Мы плыли по настоящему лабиринту гигантских, чудовищных камышей — отметил Каразин в дневнике. — Все озеро заросло ими. Над поверхностью воды камыш достигал до двенадцати аршин высоты (около 8,5 метра); бросили лот — он показал глубину от семи до восьми аршин и даже более местами... А камыш ведь этот растет на дне, над водою мы видим только верхнюю его половину!».

Было чему удивляться русским, видевшим у себя под Петербургом разве чахлую осоку да хиденый камыш, не выше человеческого роста.

Целое лето проводят в этих зарослях рыбаки-каракалпаки. Они создали себе даже оригинальные и довольно удобные жилища на воде, простота устройства которых обратила на себя внимание путешественников.

«Камыш срезают на четверть аршина над поверхностью воды и, связав в пучки срезанное, настилают его прямо на оставшиеся комли, таким образом получается свайная постройка; только сваи эти каждая в палец и немного более толщиной, и гнутся как волос; но зато много, целая сплошная густая щетка, и взаимная упругость их сдерживает довольно значительную тяжесть. Мы видели такие помосты, на которых гнездились по три, по четыре человека. Рыбаки ухитрились даже раскладывать огонь, насыпав предварительно слой песка или земли, привезенной издалека, с твердых берегов, для этой именно цели.

Над помостами на легких шестах устраиваются навесы все из того же камыша...».

Добравшись до русского лагеря у подножья небольшого горного кряжа Кушканетау, «Самарканд» бросил якорь. Началась раз-

грузка судна: водное путешествие окончилось.

Проведя в лагере всего одну ночь, члены экспедиции с рассветом верхом выехали в Чимбай.

По сторонам дороги тут и там виднелись кибитки каракалпаков, среди полей, засеянных хлопком и джугарой, струились серебристые арыки, вода в которые подавалась с помощью чигирей.

Каразин подробно описывает это оригинальное приспособление, сохранившееся в Средней Азии без особых изменений с незапамятных времен. Еще жители древнего Египта пользовались похожими сооружениями, которые назывались у них шадфами. «Чигири — это водокачальный прибор следующего незатейливого устройства: на простом горизонтальном приводе в виде шестерни, очень грубо сделанной, устанавливается вертикальное колесо, обод которого увязан совершенно одинаковой величины и формы глиняными кувшинами с широким отверстием. Эти сосуды укреплены все по одному направлению, наискось к ободу в сторону вращения колеса; лошади или бык ворочают привод, и колесо черпает воду внизу, а поднимая вверх, выливает ее в подставленные желоба. Таким образом, высота подъема воды зависит от величины диаметра колеса, и несколько чигирей, расставленных по известной системе, могут поднять воду на довольно значительную возвышенность».

В собрании Челябинской областной картинной галереи хранится акварель Н.Н. Каразина «Подъем воды чигирем», прекрасно иллюстрирующая приведенное выше описание.

Миновав орошаемые участки местности, дорога пошла через мертвые пески, лишенные какой бы то ни было растительности.

«Стало душно и тяжело дышать... Стихает на минуту легкий ветер, и неподвижный, раскаленный воздух давит на вас, словно накладывает на ваше тело свинцовые латы; пахнет этот ветер — еще того хуже выходит: он обжигает вам лицо, обжигает руки, шею — все, неприкрытое платьем...».

В Чимбае членов экспедиции захватил жестокий ураган. Городишко этот представлял собой просто огороженный глинобитной оградой участок. Домов внутри ограды почти не было. Жители города летом кочуют в кибитках близ своих полей и пастбищ и лишь на зиму собираются в эту ограду, «доходя числом до сорока тысяч кибиток», — из боязни набегов и грабежей.

Из Чимбая до Нукуса путешественникам

пришлось добираться вверх против течения протоком Кигейли с помощью амударьинских бурлаков — «каикчи». В результате разлива реки все дороги оказались под водой, и это был единственный способ продолжать путь. Проток Кигейли на всем протяжении (около 100 верст) был судоходным, и лишь узость берегов не давала пароходам возможности проходить его.

«Бурлачество — явление, вымирающее у нас на Волге, — писал Каразин, — здесь, на Аму, живет еще полной жизнью. Полуголые фигуры в одних рубашках, подобранных к поясу, босоногие, в рваных шапках, совсем черные от загара и грязи, сидели неподвижно, скорчившись на берегу и держа в руках лямочные петли, терпеливо ожидая, пока мы погрузимся и устроимся в своем кайке. Два каракалпака с длинными шестами в руках стали один на корме, другой на носу лодки, крикнули что-то по своему кайкам; те не спеша поднялись, потянулись, запряглись в лямки, согнулись, словно в землю кому-то собирались поклониться, и пошли. Они шагали мерно, нога в ногу, словно машины какие-то, а не живые существа. След в след ступали они по узкой дорожке, протоптанной их же собственными ногами по самому краю обрывистого берега...

Меня, знакомого уже с азиатской выносливостью, положительно удивляла эта неутомимость наших лямочников, тем более, что бечевник был крайне неудобен и трудно проходим в этих густых сплошных чащах, по берегу легко подымающемуся, отваливающемуся на наших глазах целыми пластами.

Несколько раз наши бурлаки принимались запевать, и их кадансированный напев весьма близко подходил к нашей поволжской «дубинушке». Сходная работа, сходная жизнь родили и сходные звуки...»

Проток Кигейли перешел в широкую Куван-Джарму, на берегах которой вновь стали попадаться бедные малочисленные аулы каракалпаков. Скоро вдали показались мутно-желтые воды Амударьи.

Экспедиция прибыла в Нукус — укрепленный городок, устроенный в том месте могучей Амударьи, где ее русло начинает дробиться на бесчисленные рукава и протоки дельты. Впрочем, городок — это для того времени звучало слишком громко. Нукус представлял собой небольшой кишлак, рядом с которым раскинулся лагерь с запасами материалов и продовольствия, с небольшим гарнизоном русских солдат, занимавшихся в основном строительством до-

мов и укреплений. Солдаты жили в бараках, «разбитых правильными рядами, с улицами и переулками». В лагере образовался даже свой базар, где торговали местные жители. Были и кабаки, которые влачили жалкое существование: «солдаты пьют чай и почти забыли про водку, офицерство — тоже записалось в общество трезвости».

В Нукусе предполагалось построить первую метеостанцию и начать регулярные метеорологические наблюдения. По этой причине метеоролог экспедиции остался в Нукусе для организации этого дела.

Три дня пробыли здесь члены амударьинской экспедиции и затем выехали в Шурахан.

Путь лежал через оазис Бий-базар и городишко Шабас-Вали.

В Шабас-Вали путешественники осмотрели руины древней крепости (...).

Каразин долго «любовался этими оригинальными, угловатыми линиями желтых развалин, так отчетливо рисующимися на темной синеве южного неба». Он сделал несколько рисунков, в частности, зарисовал остатки древнего минарета — «высокой башни в виде длинного усеченного конуса; снизу эта башня подмыта дождевой водой; одна сторона совсем обрушилась до такой степени, что страшно даже глядеть на нее: так и кажется, что вот-вот рухнет этот колосс и засыплет дорогу своими обломками».

В тот же день вечером путники добрались до Шурахана. На месте этого полувымершего кишлака был основан городишко, названный Петро-Александровском. Теперь этот город переименован в Турткуль. Это конечный пункт следования экспедиции. Здесь предстояло провести ряд работ и исследований и потом напрямик, песками Кызыл-Кумов, вернуться в Казалинск.

В декабре 1874 года Русское географическое общество организовало выставку рисунков Н.Н. Каразина, сделанных им во время Амударьинской экспедиции. В большинстве своем отклики прессы были доброжелательными. Отмечались новизна тематики, дарование художника, выражавшееся, по мнению критики, «в чувстве живописности при составлении целого картинного эффекта, в умении распоряжаться красками так, чтобы соблюсти гармонию в тонах и пятнах».

Отмечалось и то, что «в акварелях г. Каразина проявляется иногда поэтическое чувство».

«Одна из самых прискорбных сторон рус-

ского путешественника, — справедливо писал журнал «Пчела», — даже самого образованного, заключается в том, что он, не умея рисовать или литературно выражать свои впечатления, — делает свое путешествие бесследным, бесполезным для публики». Н.Н. Миклухо-Маклай, исследователь Африки В.В. Юнкер, знаменитый В.В. Верещагин, живописец А.А. Борисов и Н.Н. Каразин — вот те немногие люди, чьи путешествия не легли только научными отчетами на полки архивов, но стали широко известны массам.

Экспозиция выставки рисунков Н.Н. Каразина состояла из трех разделов: Аральское море и его побережье, дельта Амударьи и сцены из Хивинской экспедиции. К выставке был приурочен небольшой каталог. Представленные работы были выполнены пером и акварелью. «Флора Дельты», «Рыбачьи стоянки в камышах озера Сары-Куль», «Почтовый киргиз», «Минарет близ Шабас-Вали», «Амударьинские бурлаки-каикчи», — вот названия некоторых акварелей, представленных на выставке.

Каразинская выставка 1874 года — его творческий отчет об участии в Амударьинской экспедиции — была тепло принята публикой, а на выставках в Париже и Лондоне в 1880 году работы художника были награждены золотыми медалями и почетными дипломами Парижского и Лондонского географических обществ.

В начале 1874 года «первое в Европе по количеству и тщательности исполнения выпускаемых им картин» печатное заведение «Винкельман и Штейнбок» в Берлине предприняло издание альбома рисунков Н.Н. Каразина, посвященных Хиве.

В начале 1875 года альбом вышел в свет.

Это явилось большим событием в художественной жизни России. Ни одно, пожалуй, периодическое издание тех дней не обошло молчанием появление этого альбома.

«Первостепенные хромофотографы в Германии дивились таланту и мастерству Каразина при исполнении его произведений на камне для альбома...», — писали газеты.

Альбом состоит из двенадцати рисунков: 4 маленьких, 4 в пол-листа и 4 больших в полный лист (45X29 см). Акварели, выполненные с большим приближением к оригиналам, знакомят нас с трудностями походной жизни, с отдельными боевыми эпизодами и природой Средней Азии, ее архитектурой. На четырех рисунках представлены ночные пейзажи и события.

Интересны акварели «Переход через

Мертвые пески Адам-Крылган» и «Ночной бой под Чандыром». Обе акварели явились прообразами одноименных полотен, выполненных художником в 1888 и 1891 годах. Первая из работ неоднократно репродуцировалась при жизни художника и в наше время. На ней изображен труднейший момент... По раскаленным пескам в слепающем солнечном мареве движется измученный, истомленный жаждой отряд. На переднем плане несколько павших животных – верблюдов и лошадей, с которых снимают вьюки.

Адам-Кылган – гибель человека – так звучит в переводе название этой местности. «Корабли пустыни» – верблюды не выдерживают тяжести пути, но люди идут. Огромное напряжение сил чувствуется в изображенном художником моменте...

Альбом был издан в красивой папке с объяснительными подписями на русском, немецком и английском языках: листы хромолитографий переложены папиросной бумагой.

САМАРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

*«Если путь твой к познанию мира ведет, –
как бы ни был он долог и труден – вперед!»*
Фирдоуси

В 1877 году Русским географическим обществом была организована научная экспедиция для исследования бассейна реки Амударья и возможной трассы Среднеазиатской железной дороги. Экспедиция эта более известна под названием Самарской по той причине, что в Самаре в то время постоянно находились ее сборный пункт и резиденция ее начальника.

Разнообразной и обширной была программа экспедиции. В состав ее вошли полковник Н.Я. Ростовцев – астроном и топограф, гидрограф капитан-лейтенант Н.Н. Зубов, профессор ботаники Н.В. Сорокин, профессор геологии И.В. Мушкетов, зоолог А.Пельцам, инженеры-путейцы Ляпунов, Соколовский, Яковлев, этнограф Н.А. Маев, фотограф Бухгольц, художники – действительный член географического общества Н.Н. Каразин (бытовая живопись) и Н.Е. Симаков (археология и история искусства).

Работы экспедиции, начавшись в 1877 году, продолжались в течение трех лет.

Первые два года проводились изыскания различных путей через приаральские Каракумы от Оренбурга до Кара-Тургая.

Большой интерес представляет участие

в этой экспедиции известных тогда художников Н.Н. Каразина и Н.Е. Симакова, талантливых мастеров и добросовестных исследователей.

Жизнь и творчество Н.Е. Симакова – тема отдельного повествования. Многое в его биографии пока неизвестно: предстоит кропотливая работа по исследованию его творчества. Друг и помощник Д.В. Григоровича, он внес заметный вклад в историю искусства нашей родины.

Н.Н. Каразин хорошо знал Н.Е. Симакова. Они встречались в Петербурге в Обществе поощрения художеств. Н.Е. Симаков был желанным гостем на «воскресениях» у Н.Н. Каразина, где собирались многие известные представители петербургского общества. Возможно, увлекательные рассказы Каразина, на которые последний был большим мастер, о годах, проведенных им в Средней Азии, повлияли на решение Н.Е. Симакова участвовать в Самарской экспедиции.

Н.Н. Каразин начал свое путешествие из Самарканда, где в последних числах июля 1879 года собрались участники экспедиции. На него было возложено «изучение бытовой стороны жизни народонаселения тех мест, которые посетит экспедиция». Кроме того, ему же было поручено и ведение путевого журнала экспедиции – задание, с которым он справился блестяще.

Уставшие от невзгод путевой жизни, капризов климата и утомительной каждодневной работы, спутники Николая Николаевича с большим интересом слушали по вечерам у бивачного костра записки своего «историографа». Каразин, по его словам, регулярно «набрасывал в альбоме все, что видел вокруг себя, и заносил в путевой журнал впечатления дня». Вот один из таких набросков – великолепное описание восточного базара в Карши:

«Базарная улица была запружена народом. Справа и слева тянулся ряд всевозможных лавок, расположенных группами по своим специальностям: сначала лавки мясников, распространяющие острый, бьющий в нос запах крови и ободранного мяса, далее – груды дынь, арбузов и всяких фруктов, затем лавки с красными товарами, задрапированные ради вывески кусками красного кумача, потом – седельные и шорные магазины, входы в которые были обвешаны всевозможной сбруей, седлами, чепраками и прочим; за шорниками следовали ювелиры и медники – красиво чеканенные, изящной легкой формы кумганы, медные умывальные тазы, блюда, подносы, калья-

ны – все это сверкало и золотилось на солнце, особенно когда сквозь дыря базарного навеса проскользнет его яркий луч и разыграется, рассыплется на этих грудях металлической посуды. «Чай-хане» расположились на каждом перекрестке, на каждом повороте – там кипели в облаках пара колоссальные самовары тульской работы, там суетились мальчики в красных долгополых рубашках, разнося угощение седобородым чалмоносным посетителям этих азиатских кафе-ресторанов. Из боковых щелей переулков, куда едва мог бы протиснуться одинокий всадник, доносился чадный запах горелого кунжутного масла, там варился плов и готовились «зембузи» и пельмени; оттуда выбегали разносчики с подносами горячих, только что вынутых из печи лепешек... В воздухе стоял целый хаос звуков. Говор, крик, перебранки, рев верблюда, озлобленное ржание лежащегося жеребца, крики ослов, завывание (...) странствующего факира-дувана – юродивого... А наверху, над головами – воркованье и хлопанье крыльев тысяч голубей, приютившихся на жердях и перекладинах базарных навесов...».

12 августа в 9 часов утра отряд снова вышел в путь на Гузар-Дербент.

Дорога лежала через перевал Термиз-Дерваз (Железные ворота). По легенде, записанной Каразиным в Карши и Бухаре, здесь в теснинах отвесных скал, подпирающих вершинами небо, самим Темуром будто бы были повешены настоящие железные ворота, ключи от которых находились под особой охраной.

На полпути по ущелью, тянущемуся две с половиной версты, Н.Н. Каразин сделал рисунок, опубликованный позднее в журнале «Всемирная иллюстрация».

Позади остался древний Дербент, насчитывающий всего около двух тысяч жителей, в том числе двадцать мулл. В Кум-Кургане отряд встретился с первой партией экспедиции. После двухсуточной стоянки путешественники по берегу Сурхана (Сурхандарья), через руины города Миа спустились в Термез, величественные развалины которого видели легионы Искандера – Александра Македонского...

«Легенды говорят о его миллионном населении, необычайном богатстве и славе», – отметил в записках Каразин.

Здесь снова были образованы две партии, и низовый отряд 24 августа двумя группами – на каике по Амударье и берегом – покинул Термез.

Береговую группу возглавлял Каразин.

Пробираться пришлось по сплошному зе-

леному лабиринту зарослей камыша. Походная карта – «сорок верст в дюйме» – часто не соответствовала действительности, и путешественникам приходилось почти ежедневно вносить в нее поправки – иногда весьма существенные. В районе Келифа партия попала в землетрясение. Лошади отнеслись к нему равнодушно, но зато среди собак и верблюдов подземные толчки наделали много паники. Вскоре каик с ботаником Сорокиным, заболевшим лихорадкой, несмотря на ежедневный прием всеми членами экспедиции хинина, почти одновременно с береговым отрядом прибыл в Керки.

Путь от Керки до Чарджая (Чарджоу) Н.Н. Каразин проделал уже на борту каика.

Утром 7 сентября, погрузившись на два больших вновь нанятых каика, весь отряд продолжал путь по Амударье к Аральскому морю. По реке, обгоняя каики, бесшумно, словно тени, скользили саллы – плоты, сделанные из камыша, на которых вниз по реке путешествуют местные жители. Близ урочища Китменчи отряд подвергся нападению. К счастью, все обошлось без жертв. И через несколько дней путешественники благополучно добрались до Петро-Александровска. Здесь их ожидали прибывшие сюда прямо из Самарканда экспедиционные тарантасы и почта.

Отсюда отряд вышел напрямик через Кызылкумы на Казалинск. Была еще и окольная – более удобная и легкая дорога. Но, «ради лучшего ознакомления с характером песков, их геологическим типом, флорой и фауной пустыни», выбрали маршрут через пески.

Два больших тарантаса «превосходной работы знаменитых казанских каретников», впряженные в пятерку верблюдов каждый, тронулись в опасный путь.

Каразин обосновался в одном тарантасе с ботаником Сорокиным. Отряд передвигался старыми караванными тропами, отмеченными белеющими скелетами верблюдов и редкими колодцами. Колодцы – это сама история пустыни, ее невидимые маяки, вокруг которых кое-как теплилась жизнь. Заботились о колодцах большей частью сами путешественники. Хотя были и специалисты по этой части – «кудукчи» – колодезные мастера. Всю жизнь бродят они по пустыне от колодца к колодцу, поправляя ветхие и отрывая новые, живя «исключительно на счет проходящих караванов».

«Жалкие, одичавшие труженики пустыни», – писал Н.Н. Каразин в своих дневниках, – грязные, оборванные, они как тени бро-

дят по пескам или неподвижно по целым суткам сидят поблизости колодцев в ожидании каравана или одинокого путешественника; они гибнут в степи и их гибель никто не замечает...».

Позднее, в рассказе «Наурус и Джюра – братья кудукчи», Н.Н. Каразин расскажет о тяжелой судьбе скитальцев пустыни.

Медленно двигался отряд по сыпучим барханам. Тяжелые тарантасы часто застревали в песке по самые оси, и их приходилось вытаскивать «всем миром». Во время одной такой «операции» профессору Мушкетову колесом переехало ногу, к счастью кости остались целы. Вскоре сбежал один верблюд, еще более усугубив положение людей, оставшихся наедине с пустыней. Чуть было не сбежали погонщики – лаучи, но их удалось вернуть. Нестерпимый зной днем и леденящий холод ночью, когда «земля покрывалась сплошным покровом морозного инея», чрезмерный физический труд и лишения сопровождали отряд на всем пути через пески. Несмотря на все это, путники не теряли самообладания, о чем красноречиво говорят полные здорового юмора записи в путевом дневнике.

«С нами был живой запас кур в клетке, привязанной за тарантасом, – писал Каразин. – Этот запас уже истощился, хотя мы резали только по одной курице в день. Остался только петух, весело певший по утрам, а иногда и днем, один, по-видимому, не терявший бодрости и доброго расположения духа. Петуху этому дарована была жизнь, и мы порешили не соблазняться его мясом, как бы плохо нам не приходилось, и довести его до Казалинска живого...»

Живо и увлекательно, образным языком написан дневник экспедиции.

Десятки рисунков из путевых альбомов художника были напечатаны в журналах «Всемирная иллюстрация» и «Нива». Аquareли, сделанные им во время Самарской экспедиции, находятся в Государственном художественном музее Латвии в Риге («Знатная дама», «Сарт», «Сафар-бей»), в Челябинской картинной галерее («Туркмен чадорчи» и др.), в Государственном музее искусств Узбекистана в Ташкенте («Перевозочный каяк на Амударье»).

Работы художника отличаются наблюдательностью, хорошим знакомством с местной жизнью.

Его бойкий карандаш верно схватывал характерные стороны быта, подмечал черты национального в одежде и утвари. С особым мастерством запечатлевал Н.Н. Каразин картины восточной природы, сочетая в

своих пейзажах документальность наблюдателя и лиризм художника.

Богатейший материал, собранный во время Самарской экспедиции, послужил Каразину для создания многочисленных рисунков, акварелей и литературных произведений на восточные темы в последующие годы.

Одним «из самых выдающихся явлений в отношении к исследованию Средней Азии» названа Самарская экспедиция в докладах Российского географического общества. И не только научные результаты – рабочие дневники, отчеты и коллекции – хранят память о ней. Двое русских художников – Каразин и Симаков – своим участием в ней вписали несколько интересных страниц в историю нашей страны, нашего искусства.

1885 год был знаменательным для Н.Н. Каразина: в августе этого года «за известность и труды на художественном поприще» совет Академии художеств присвоил ему звание «почетного вольного общника».

В том же году Н.Н. Каразин получил заказ на исполнение восьми картин для Военной галереи Зимнего дворца.

Н.Н. Каразин всегда стремился к тому, чтобы его произведения «возможно ближе подходили к природе»: в этом он был продолжателем реалистических традиций русской батальной живописи. Общеизвестны также старание и добросовестность художника, с которыми он выполнял все свои работы – и большие, и маленькие.

Для сбора материалов Каразин весной 1885 года совершил поездку в Среднюю Азию, чтобы сделать натурные зарисовки местностей, этюды типов и аксессуаров для картин. Художнику были выданы документы на право беспрепятственного передвижения по всему Туркестанскому краю.

Впечатления об этой поездке Каразин изложил в путевом очерке «От Оренбурга до Ташкента», напечатанном в приложении к журналу «Всемирная иллюстрация». Очерк прекрасно дополняют семь отдельных листов иллюстрации и 22 рисунка в тексте. В этом своеобразном отчете о своей творческой командировке художник с большим мастерством передал своеобразие и колорит увиденных им мест на всем протяжении долгого пути.

Летом 1885 года Н.Н. Каразин начал работу над заказом.

История создания картин этого цикла – тема отдельного интересного рассказа. Работа продолжалась до 1891 года. Художник написал восемь полотен, размером около 1м

80 см X 3 м 20 см. Три картины находятся сейчас в Русском музее, три другие – в фондах Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Ленинграде. Первую картину из этой серии в 1970 году удалось обнаружить в запасниках художественного музея Таллина, где она хранится снятой с подрамника и намотанной на барабан. Местонахождение последней из восьми картин пока не установлено.

Еще в 1880 году была начата постройка Закаспийской железной дороги. Проложили всего четыре сотни верст пути от гавани Узун-Ада на Каспии до Кзыл-Арвата. Весь строительный материал для железнодорожного полотна и других сооружений, все оборудование, от локомотивов до последнего гвоздя, изготовлялось в России и доставлялось в Астрахань. Затем морем груз перевозился в Узун-Ада и по уже отстроенному участку дороги доставлялся к месту работ.

Начальником «морской части» этого сложного мероприятия был назначен С.О. Макаров – будущий знаменитый адмирал. Его энергия и организаторский талант во многом способствовали успеху дела. В распоряжении С.О. Макарова находились «ужасающие посудины», которые, возможно, еще помнили об удачных походах Стеньки Разина. Порты не имели ни причалов, ни оборудования для погрузки и выгрузки. Но и в таких условиях молодой флигель-адъютант ухитрился доставлять в Узун-Ада не только рельсы и шпалы, но даже многотонные локомотивы.

После перерыва постройка дороги продолжалась в 1885 году по маршрутам: Геок-Тепе – Теджен – Мерв (Мары) – Чарджоу – Бухара – Катта-Курган – Самарканд, – всего 1943 версты по горячим, безводным, безлюдным пескам.

15 мая 1888 года в Самарканде состоялось торжественное открытие последнего участка дороги. Вся линия была выстроена менее чем за три года – с невиданной для того времени быстротой.

43 миллиона рублей составила стоимость работ: каждая верста дороги обошлась казне в 32.000 золотых рублей. Однако это было весьма дешево, если учесть громадную трудность перевозок и строительства в пустыне.

Н.Н. Каразин ездил в качестве гостя на открытие Закаспийской железной дороги и проехал ее из конца в конец.

Художник составил большой альбом рисунков, который был издан в Париже фирмой Буассонад. На этот альбом было ас-

сигновано 100000 франков. Альбом состоял из двадцати листов большого формата. На каждом листе помещено по несколько прекрасно выполненных литографий, изображающих местности, бытовые сцены, железнодорожные постройки, различные моменты строительства дороги и т.д. Эти рисунки являются для нас теперь интереснейшей живописной летописью трудовой героической эпопеи тех дней. Некоторые из рисунков были помещены в журнале «Всемирная иллюстрация» за 1888 год.

В художественном музее города Лебедин Сумской области находится акварель Н.Н. Каразина из этого цикла под названием «Постройка Закаспийской железной дороги».

Все рисунки для альбома художник исполнил акварелью. Они были изданы в точных хромоиллюстрационных копиях. Этот альбом был, пожалуй, из последних литографированных художественных изданий того времени, посвященных Средней Азии. А поездка эта была и последней поездкой Н.Н. Каразина в Среднюю Азию.

ИМЯ, ДОСТОЙНОЕ ЖИТЬ

*Дан музе Вашей путь большой.
и вот она живет меж нами –
девойной пленяя красотой:
Востока жгучими очами
и нежной русскою душой!*

*Из экспромпта В.Величко
на юбилей Н.Н. Каразина, 1896 г.*

Несмотря на то, что Средняя Азия всегда была главной темой творчества Н.Н. Каразина, среднеазиатские сюжеты далеко не исчерпывали всей его деятельности как художника. Он рисовал Петербург и Сибирь, Молдавию и Украину, Кавказ и Памир, Египет и Индию, Японию и Дальний Восток, Финляндию и суровый Север.

Художественная деятельность его была столь обширной, что потребуется, по-видимому, еще немало времени, чтобы разыскать, разобрать и изучить его богатое творческое наследие.

Трудную и интересную жизнь прожил Николай Николаевич Каразин. У него были обширные творческие планы и по части литературной, и по части художественной.

Тяжелый недуг, в течение многих лет подтачивавший его здоровье, не дал ему возможности осуществить эти планы. Последствия военных ранений и многотрудных лет, проведенных в Средней Азии, рано стали давать знать о себе.

Летом 1898 года Каразин перенес жесточайшее двустороннее воспаление легких. С каждым годом организм Николая Николаевича слабел. Стала исчезать его необыкновенная трудоспособность, и это он переносил особенно тяжело. Постепенно развилась болезнь сердца.

«После яркого пятого года наступила смутная эпоха: все чего-то искали, оживленно спорили, волновались, а за всем этим чувствовалась усталость, разуверенность, пустота», — писал Н.Рерих. Давно распалась дружная когда-то семья художников — членов одного российского художественного цеха.

«Никогда не было в русском искусстве такого количества направлений, группировок, объединений, ассоциаций, как в начале XX века. Они выдвигали свои «платформы», свои теоретические программы. Они отрицали предшественников...» — пишет Д.Сарабьянов.

Все это не мог не видеть Н.Н. Каразин, «представитель старой живописи», как он сам называл себя в это время. На глазах рушились его идеалы. И это еще более усугубляло его положение.

Весной 1907 года по совету врачей он переехал из Петербурга в Гатчину, славившуюся тогда чистотой воздуха и питьевой

воды. Из-за финансовых трудностей большая часть имущества, коллекций, рисунков Каразина была распродана с молотка. После переезда состояние больного поначалу улучшилось, но затем снова начались рецидивы болезни. Летом 1908 года участились сердечные приступы.

Николай Николаевич умер 6 декабря 1908 года.

За год до смерти, в конце 1907 года, на заседании совета Академии художеств по предложению Е.Е. Волкова, К.Я. Крыжицкого и А.И. Куинджи «за известность на художественном поприще» Н.Н. Каразину было присвоено почетное звание академика...

Более чем в сорока музеях и галереях бывшего Советского Союза хранятся произведения Н.Н. Каразина. Огромно число его книжных и журнальных иллюстраций.

Актуально звучат слова Н.Н. Каразина, взятые эпиграфом ко всему здесь написанному:

«Надо, чтобы славные и добрые дела глубоко врезались в душу современников, передавались такими же глубокими, неизгладимыми чертами в сердца потомства и из поколения в поколение, без напоминающей помощи колопсальных, а все-таки не вечных монументов, хранили вечную славу о добрых и мудрых своих предшественниках...»

ИНДЕКС

Для физических лиц – 831.

Для юридических лиц – 832.

Журнал зарегистрирован
Агентством печати и информации
Республики Узбекистан.
Рег. # 0296.

Адрес редакции:
700027. Ташкент, ул. Узбекистанская, д.16А (пятый этаж).

Электронная версия журнала: www.zvezdavostoka.uz

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Перепечатка без соглашения с редакцией не допускается.
Ссылка на журнал «Звезда Востока» обязательна.

Редакция журнала уведомляет авторов о том,
что к рассмотрению принимаются рукописи,
выполненные в компьютерном наборе
(набор текста в любом формате с приложением дискеты и распечаткой).

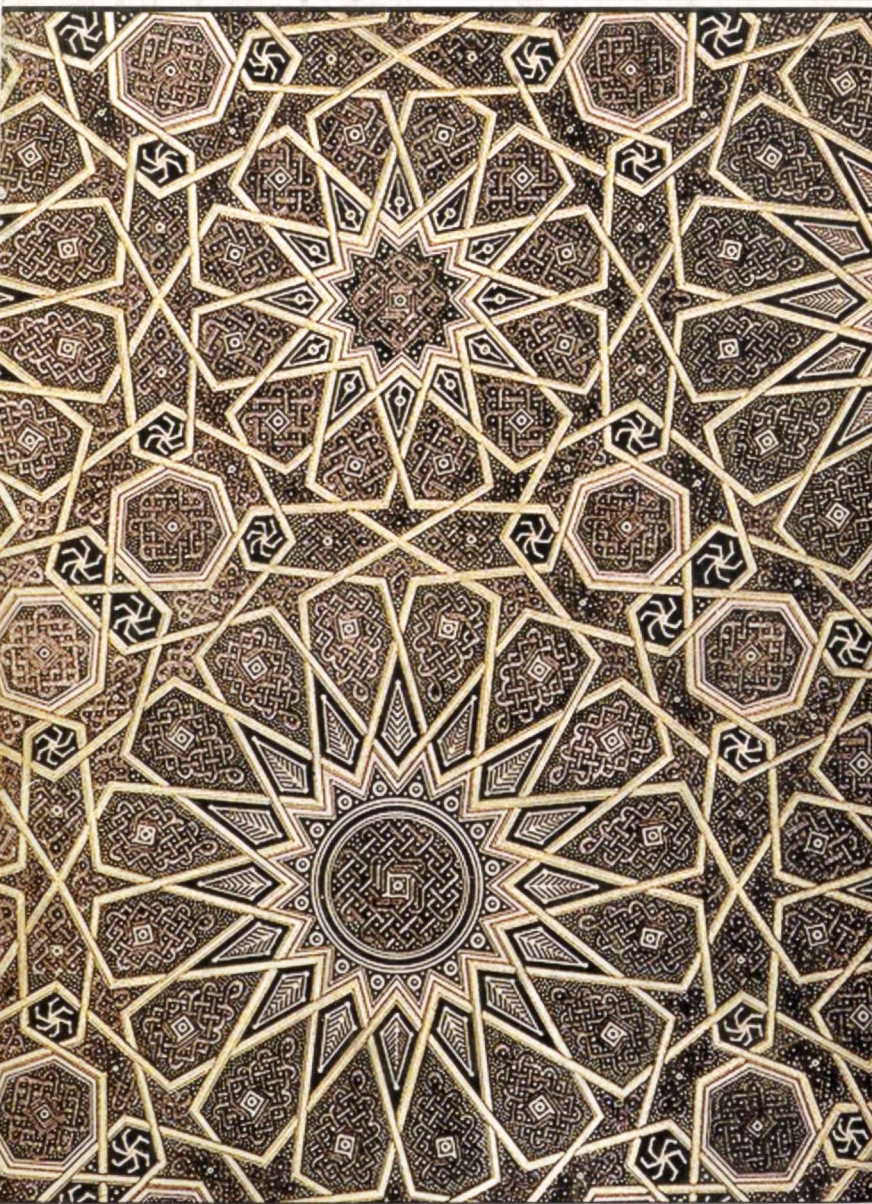
Подписано в печать 20.06.09.
Формат 70 x 108 1/16. Офсетная печать.
Усл. п.л. 12,60. Уч. изд. л. 14,86.
Тираж 600 экз. Заказ №
Цена договорная.

Отпечатано в ДП «Poli-Press».

110

3260

ЗВЕЗДА ВОСТОКА # 5-6 2008



ЛИТЕРАТУРА ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИЯ КРИТИКА
ПУБЛИЦИСТИКА АРХИВЫ